

И ПРОСНУТЬСЯ НЕ ЗАТЕМНО, А НА РАССВЕТЕ

У ФЕРРИСА БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ.
EVENING STANDARD

ДЖОШУА ФЕРРИС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

И проснуться не затемно, а на рассвете

Джошуа Феррис

Аннотация
Джошуа Феррис. И проснуться не затемно, а на рассвете
Сын незнакомца
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая

Эрзац-Израиль
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Эпилог

Аннотация

Эту книгу сравнивают с романами Джозефа Хеллера и Курта Воннегута, отмечая талант автора смешивать иронию, абсурд, тоску и одиночество в таких пропорциях, чтобы создать повествование, которое трогает, увлекает, дает пищу для размышлений.

Главный герой, Пол О'Рурк, прекрасный стоматолог, рьяный атеист, фанат бейсбольной команды «Ред Сокс», мизантроп и циник, в один прекрасный день обнаруживает сайт собственной стоматологической клиники. Он никогда ничего подобного не создавал – хотя бы потому, что с Интернетом у него непростые отношения. Дальше – больше. От его имени в Сети появляются разнообразные комментарии религиозного характера о некоем древнем и почти вымершем народе с богатым духовным наследием – ульмах. Что это – над ним смеются? Пытаются вывести его из себя? А может, дарят шанс обрести душевное равновесие?

Джошуа Феррис
И проснуться не затемно, а на рассвете

© Романова Е., перевод на русский язык, 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Ха! Ха![1]

Книга Иова, 39:25

[1] Примечания: 1

В синодальном переводе Библии эта цитата выглядит иначе: «Гу, гу!» — *Здесь и далее прим. перев.*

Сын незнакомца

Глава первая

Рот человека — странное место. Он расположен не внутри, но и не снаружи, это и не кожный покров, и не орган, а нечто среднее: темное, влажное, открывающее доступ к тем местам, на которые люди предпочитают не смотреть — где начинается рак, где разбивается сердце, где живет (или нет) душа.

Я всегда настоятельно советую пациентам пользоваться зубной нитью. Увы, к моему совету редко прислушиваются. А зря. Чистка зубов нитью помогает бороться с заболеваниями десен и может продлить жизнь человека на семь лет. При этом она отнимает кучу времени, и вообще — кому охота возиться? Это я сейчас не как стоматолог говорю. А как обычный парень, который пришел домой с вечеринки, его то и дело пробивает на «ха-ха», в животе бултыхается пяток коктейлей, и вот он берет в руки зубную нить… и говорит себе: «А зачем?» Рано или поздно сердце остановится, клетки умрут, нейроны погаснут, бактерии сожрут поджелудочную, в мышцах заведутся опарыши, жуки прогрызут сухожилия и связки, кожа превратит-

ся в творог, кости растают, и зубы унесет отливом. Я это все понимаю. Но вот ко мне в очередной раз приходит пациент, который за всю жизнь ни разу не чистил зубы нитью, да что там — палец о палец не ударил, чтобы не доводить себя до ненужных мучений — гнилые зубы, распухшие десны, — и в груди у меня вновь рождается надежда, отвага, прямо-таки духовный протест. Еще пару дней я хожу и твержу всем своим пациентам: «Пожалуйста, пользуйтесь зубной нитью, зубная нить — это спасение, зубная нить избавит вас от многих бед».

Стоматолог — врач лишь наполовину. О своем внутреннем патологоанатоме он предпочитает помалкивать. Да, он возвращает здоровье тому, что болит. Но то, что погибло, он лишь приводит в презентабельный вид. Сверлит дырку, вычищает гниль, заваливает яму, замуровывает вход. Дергает гнилые зубы, отливает искусственные, прилаживает их на место, красит под цвет остальных. Открытые кариозные полости — как глазницы черепов, моляры торчат из десен подобно надгробным плитам.

Мы называем это «практикой», и никогда — бизнесом, но успешная стоматологическая практика — это самый натуральный бизнес.

Я начинал с небольшого стоматологического кабинета в Челси: два кресла, ни единого окна. В конце концов я открыл собственную клинику рядом с Парк-авеню, занимавшую половину этажа в многоквартирном комплексе под названием «Афтергуд армс». В восточном крыле размещалась бухгалтерская контора «Бишоп и Бишоп» — в то время ее как раз уличили в нарушении правил бухгалтерского учета.

Парк-авеню — самая цивилизованная улица в мире. Швейцары, по-прежнему одетые в фуражки и перчатки, как в 40-х, почтительно распахивают двери перед знатными пожилыми дамами и их собаками. Навесы и козырьки зданий доходят до самых бордюров, чтобы в дождливые дни никто не промок, садясь в такси, и прямо на асфальте лежат ковровые дорожки — обычно зеленые, иногда красные. Стоит дать волю фантазии, как перед глазами невольно встают времена лошадей и экипажей, когда разбогатевшие в Индии европейцы месили ногами здешнюю грязь, стараясь не запачкать трости и юбки. Остальной Манхэттен постоянно терпит какие-то потрясения, районы меняются местами, город преображается, пока его жители спят. Но Парк-авеню, хорошо это или плохо, остается

Парк-авеню — респектабельной и многолюдной квинтэссенцией Нью-Йорка.

Чтобы как следует отремонтировать новое помещение, я влез в серьезные долги. И дабы поскорее с ними расплатиться, я плюнул на советы строителей, на возражения миссис Конвой, собственные желания, общепринятые нормы для стоматологических клиник… и отказался от личного кабинета. На его месте я установил пятое кресло и следующие десять лет провел в забое: мне приходилось ежедневно обслуживать пять кресел, без конца сетовать на полное отсутствие личного пространства и купаться в деньгах.

Человек всегда чем-то недоволен. Конечно, я не имел права жаловаться. Честное слово, мне самому было противно. В конце концов, что может быть лучше, чем работать в хорошей клинике, которая к тому же принадлежит тебе самому? Рабочий день у меня был не длиннее вашего, только вот четверги… По четвергам мы иногда засиживались на работе до десяти вечера. Зато ночью с четверга на пятницу я почти хорошо спал, и снотворное казалось почти излишней мерой. (Первое, от чего избавляешься благодаря снотворному, — это сны. Во всем есть свои плю-

сы, говорил я себе, теперь после пробуждения тебя не мучает отчаянное желание поведать кому-нибудь о ярких образах твоего богатого внутреннего мира.)

Да, человек всегда недоволен, но ведь моя жизнь, в сущности, была не настолько прекрасна. Успешная карьера — еще не все. Довольные и здоровые пациенты, полуденный мокаччино и пицца по пятницам — еще не всё. Банджо — к сожалению, тоже не всё. Смотреть прямо по телевизору любые фильмы… сначала, когда такая возможность только появилась, я был на седьмом небе от счастья, но любые чудеса быстро приедаются. «Ред Сокс» долгое время были для меня всем, однако и они в конце концов подвели. Величайшее разочарование жизни постигло меня в 2004-м, когда «Ред Сокс» свергли с трона «Янкиз» и одержали победу в Мировой серии.

В какой-то момент — на целых два месяца — всем стал для меня гольф. Я уж было подумал, что до конца дней буду посвящать ему все свободное время, все силы, всю страсть… так оно и было. Целых два месяца. Пока я не понял, что могу посвящать гольфу все свободное время, все силы, всю страсть — до конца дней. Это вогнало меня

в жуткую депрессию. Последний мячик, который я закатил, перед падением покружил вокруг лунки; траектория его движения намертво отпечаталась в моем сознании — а с ним и чувство, что вся моя ничтожная жизнь уходит в сточную трубу.

Словом, работа, развлечения, полная самоотдача какому-то большому и важному делу — той же работе, гольфу, любимой бейсбольной команде — это еще далеко не все, даже если каждое из этих занятий помогает достойно скоротать час. Я буду похож на человека, пытающегося рассказать свой сон, если начну перечислять маленькие радости моей работы. Вы не представляете, какое это удовольствие — вставить искусственный зуб вместо сгнившего, чтобы пациент снова мог улыбаться. Я сотни раз помогал людям заново обрести человеческое достоинство — а это чего-то стоит. И пицца по пятницам тоже дорогого стоит. И несчастный мокаччино в полдень. И в тот вечер в 2004-м, когда хоум-ран Дэвида Ортиса помог Бостону одержать историческую победу в серии против «Янкиз», я тоже был самым счастливым человеком на свете.

Я был бы рад поверить в Бога. Вот это хобби — лучше не придумаешь. Вера подарила бы

мне душевный покой, гармонию и радость жизни. Наконец-то можно забыть о страхах! В моем распоряжении — целая вечность! Моя душа бессмертна! Я наслаждался бы громовыми раскатами органа и искал глубокий смысл в пространных речах англиканских епископов. Надо только отринуть сомнения и поверить всей душой, сделать шаг в эту манящую пропасть… Но, оказываясь на ее краю, я всякий раз рывком возвращал себя в безопасное уныние. «Мысли здраво! — кричал я. — Держи себя в руках! Жизнь и так — сплошное удовольствие, а ты еще хочешь полностью положиться на волю Господа — не жирно будет?» Таков был ход моих мыслей — разумный, упертый, скептический ход моих мыслей. У Бога, как вы понимаете, не было шансов.

«Non serviam!» — заявил Люцифер. Не буду служить! Он вовсе не хотел объедать лица младенцам, он просто не пожелал служить. А если бы пожелал, остался бы самым обыкновенным ангелом, чье имя сегодня вспомнил бы далеко не каждый верующий.

Я пытался прочесть Библию. Никак не могу продраться дальше разговоров о тверди. Твердь — это такая штука, которая отделяет воду

от воды. Здесь, стало быть, у нас твердь. А рядом с твердью — вода. Если долго плыть по воде, рано или поздно врежешься в другой участок тверди. Точнее сказать не могу: при первом упоминании тверди я начинаю заливаться слезами невыносимой скуки. Пальцы сами листают страницы. В общем, Библия устроена примерно так: твердь, супердлинная середина, Иисус Христос. Можно полжизни читать про неплодных жен, гнев Господень и прочая, и прочая, да так и не добраться до самого главного — того места, где написано про «во всем поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами». А может, это и не самое главное. Может, самое главное спрятано где-нибудь во Второй книге Царей. А как через Первую-то продраться?! Думаете, просто? И вот что меня поражает больше всего. В метро рядом со мной почти всегда сидит человек, читающий Библию. Она у него обязательно раскрыта прямо посередине, на тысячапятидесятой странице, и каждое предложение подчеркнуто или выделено цветным маркером. Я, конечно, думаю, что этот татуированный латиноамериканец один разворот так подробно разукрасил, чтобы в метро выпендриваться, но потом он листает дальше и… чтоб тебя, опять все разукрашено!

Да еще разными цветами! А на полях красуются заметки священника! И парень-то не просто одну страницу перевернул, а триста или четыреста — полез за каким-то разъяснением, — но и там все сплошь расцвечено маркерами. Ей-богу, не перевелись на свете люди, которые всю свою жизнь посвящают изучению Библии. Обычно это или старушки-негритянки, или чернокожие мужики среднего возраста, или латиносы в шейных платках, или здоровущие белые лбины — странно, что белые. Тысячи часов кряду они читают и подчеркивают строчки из Библии, пока я сплю, смотрю бейсбол или занимаюсь самоудовлетворением в кресле перед телевизором. Иногда мне кажется, что я прожил свою жизнь впустую. Конечно, я прожил ее впустую! Разве у меня был выбор? Был: двадцать лет читать по вечерам Библию. Но кто мне скажет, что даже при таком раскладе моя жизнь — благочестивая в каждом своем проявлении, правильная, разложенная по полочкам, по-монашески аскетическая и открытая Господу каждой мыслишкой и душевным порывом — оказалась бы лучше и значительнее этой, с ее пьяными вечерами, осоловелыми рассветами и ромом «Сент-Джеймс»? В этом суть великого «пари Паскаля»: что предпочесть — по-

тенциально вечную жизнь или короткий заезд на карусели?

Помню время, когда я принимал участие в городских пешеходных экскурсиях. Смысл пешеходной экскурсии заключается в том, чтобы показать, сколько всего вокруг изменилось, меняется прямо сейчас и изменится к определенному времени в будущем, когда вас давно уже не будет в живых. Эти экскурсии вгоняли меня в такую тоску, что вскоре я предпочел им уроки испанского. Но кое-что я успел усвоить: по мере того как меняются иммиграционные процессы, одна этническая группа приходит на смену другой, молитвенные дома, некогда жизненно важные для района, теряют свое значение. Особенно это было заметно в Нижнем Ист-Сайде, где множество синагог, предназначавшихся для первых евреев-иммигрантов, превратились в храмы для вновь прибывших христиан. Архитектуру зданий изменить было нельзя, как и вид фасадов. Поэтому в городе немало церквей, на крыше которых установлены распятия или мраморные статуи Богородицы, а на фронтонах высечена звезда Давида, менора или письмена на древнееврейском.

«Мысли здраво!» — кричал я себе. Помни,

как легко и быстро молитвенные дома одной религии перепрофилируются в молитвенные дома прямо противоположной религии… Или же рискни собственной душой, невзирая на демографические перемены и способность человека к бесконечной переориентации.

Последний раз я был в церкви, когда мы с Конни путешествовали по Европе. За двенадцать дней нашего отпуска мы повидали восемь или девять сотен всевозможных храмов. Но Конни скажет, что максимум четыре. Четыре церкви за двенадцать дней! Ну-ну! Да я только и делал, что снимал и надевал свою бейсболку «Ред Сокс» по случаю входа или выхода из какой-нибудь церкви. Причем церковь обязательно была знаменитая, «непревзойденный шедевр архитектуры». По мне, так они все на одно лицо. При входе в очередной храм — независимо от времени дня и количества выпитого эспрессо — меня одолевала неудержимая зевота. Конни вечно шипела, что необязательно зевать так громко. Она сравнивала издаваемые мной звуки с работой газонокосилки или деревообрабатывающего станка — того и гляди, опилки изо рта полетят. Присаживаясь на скамью, я регулярно ловил на себе ее взбешенные взгляды. Было бы с чего

беситься — я всего лишь зевал! Не показывал неприличных жестов, не устраивал демонических плясок. Один раз, правда, пошутил, что с радостью стал бы жертвой минета на темном заднем дворе, возле мусорных контейнеров. Разумеется, это была шутка! Какие еще мусорные контейнеры на церковном дворе, мы же не в продуктовом магазине. У меня, признаться, есть болезненная страсть к минетам на задних дворах магазинов. На Манхэттене получить такое удовольствие непросто. Проще всего это сделать в Нью-Джерси, где закон на стороне влюбленных. Я считаю, Конни отнеслась к Европе слишком серьезно. Она с умным видом рассматривала фрески и читала подписи мелким шрифтом. Поэты вообще зануды (Конни — поэт). И ханжи. Дома их в церковь не затащить, но стоит им оказаться в Европе — и они прямо с летного поля несутся в какой-нибудь храм, словно там их поджидает сам Господь, настоящий Бог Данте и чиароскуро, парящих контрфорсов и Баха. Какой душевный трепет, какой религиозный восторг охватывает поэта в европейской церкви! А ведь Конни — еврейка! На третий день отпуска я стал называть Европу «Европопой» и прекратил, только когда мы приземлились в Ньюарке,

штат Нью-Джерси. Там я сразу предложил Конни зайти в продуктовый магазин, но к тому времени ей осточертело мое общество.

Церковь для меня — это место, где можно вволю поскучать. Говорю это со всем уважением к верующим. Нет, правда, меня тоже манят их сплоченные ряды. Я бы и сам с удовольствием участвовал в их душеспасительных собраниях, держался бы за руки да горланил гимны. Но будь я проклят, буквально — проклят, если тот Бог, в которого я теоретически мог бы поверить, станет ждать от меня слепого следования инструкциям. Да он первый посмеется над облаткой. От вина животик надорвет. И, вероятно, испытает бесконечную жалость к нелепым суррогатам, выдуманным простыми смертными. Тьфу… да что я могу знать? Только одно: в церкви меня охватывает не пассивная скука, а весьма активное, гложущее изнутри беспокойство. Для кого-то это место, где душа обретает покой, для меня — тупик, конечная остановка в ночи. Войти в церковь — значит отказаться от всего, что делает посещение церкви радостным и осмысленным поступком.

Меня зовут Пол О’Рурк. Я живу в Нью-Йорке, в бруклинской двухэтажной квартире, окна

которой выходят на Променад. Я — стоматолог и протезист, тружусь шесть дней в неделю, по четвергам у меня продленный рабочий день.

Нет на свете города прекрасней, чем Нью-Йорк. Здесь лучшие музеи, театры, ночные клубы, варьете, кабаре и концертные залы. Здесь представлены все кухни мира во всем их великолепии. Здесь такие винные погреба, что Римская империя покажется занюханным кабаком. Красоты и чудеса Нью-Йорка неисчислимы. Но кому они нужны, если мы круглые сутки рвем задницу, пытаясь сохранить свою платежеспособность? После трудовых подвигов сил ни на что не остается. Гордый уроженец Мейна, я приехал в этот город двенадцать лет назад — и с тех пор десяток раз сходил в кино на арт-хаусные премьеры, дважды побывал на бродвейских мюзиклах, один раз поднялся на Эмпайр-стейт-билдинг и посетил один джазовый концерт, запомнившийся мне только тщетными попытками не уснуть во время соло на ударных. В музее «Метрополитен» — этом колоссальном вместилище продуктов человеческого труда, расположенном в шаговой доступности от моей клиники, — я не был ни разу. Большую часть свободного времени я провожу у витрин риелторских агентств, вместе с осталь-

ными малоимущими мечтателями разглядывая списки выставленной на продажу недвижимости и воображая просторные комнаты и прекрасные виды, которые скрасили бы мне будние вечера.

Когда я встречался с Конни, три или четыре раза в неделю мы ходили ужинать в хорошие рестораны. Хороший ресторан в Нью-Йорке — это такой, где еду готовит знаменитый шеф-повар, обладатель нескольких мишленовских звезд, ведущий собственную телепередачу и выросший на берегу Роны. В действительности этот знаменитый шеф редко появляется на кухне, населенной исключительно латиноамериканцами весьма сомнительного происхождения. В меню, однако, преобладают блюда из свежайших сезонных овощей и фруктов, поштучно отбираемых на фермерских рынках или ежедневно экспортируемых из заморских стран. Сами залы либо шикарные и располагающие к тихим задушевным беседам, либо шумные, яркие и битком набитые привилегированной публикой. И в те, и в другие невозможно попасть. Нам это удавалось лишь путем настойчивых звонков, оказания всевозможных «добрых услуг», взяточничества и вранья. Однажды Конни призналась администратору, что умирает от рака желудка и хочет

насладиться последним ужином в их ресторане. Мы садились за столики взбудораженные, но усталые, внимательно изучали меню с баснословно дорогими блюдами, заказывали вино, которое нам рекомендовал сомелье, а потом расплачивались и шли домой, опустошенные и вялые, и утром первым делом начинали гадать, куда пойдем ужинать в следующий раз.

После расставания с Конни я начал играть в одну игру. Она называлась «Все могло быть гораздо хуже». «Все могло быть гораздо хуже, я мог оказаться на месте вот этого бедолаги», — говорил я себе. «Или вот этого», — говорил я себе уже через минуту. На улицах Манхэттена полным-полно бедолаг — убогих, нищих, безобразных, плачущих на ходу, шрамированных, обозленных на всех и вся… Да, могло быть и хуже. А потом мимо проходила женщина, каких в Нью-Йорке миллион, на длинных жеребячьих ногах, в сапогах с высоченными голенищами, одна или с подругами, невыразимо прекрасная, и самое страшное в этой красоте — то, что она никому не желает зла, и, подыхая от влечения и страшных мук, я говорил себе: «Все могло быть гораздо лучше».

«Все могло быть гораздо хуже» и «Все могло быть гораздо лучше» — эти игры стали моими по-

стоянными спутниками на улицах Манхэттена. Я играл в них не хуже и не лучше других недотеп, которые просто пытались выжить.

По-настоящему моя жизнь началась за несколько месяцев до судьбоносного лета 2011 года. Однажды в январе ко мне подошла миссис Конвой и сообщила, что в кабинете № 3 творится что-то очень странное. Я заглянул. Лицо пациента показалось знакомым — раньше он был нашим постоянным клиентом, но потом куда-то пропал. А тут вдруг явился с острыми болями. Требовалось провести несколько сложных процедур, так что от страха он, пожалуй, снова на время станет нашим завсегдатаем, после чего опять сгинет. В тот день он пришел удалять зуб. Выяснилось, что ему плохо пролечили кариес (лечил не я), в результате чего воспалился нерв. Невзирая на мои рекомендации, он долго тянул с удалением нерва, и вот сильная зубная боль наконец загнала его в клинику. Однако страдалец не стонал и не плакал, а что-то тихо бубнил себе под нос. Лицо обхватил ладонями, соединив средние и большие пальцы, и нараспев произносил что-то вроде: «А-рам… а-рам…»

Я сел рядом. Мы пожали друг другу руки, и я спросил, что он такое делает. Мой пациент,

как выяснилось, проходил обучение в тибетском монастыре, думал стать монахом, и хотя эта пора его жизни давно закончилась, некоторые медитативные приемы он использует до сих пор. Сегодня он решил удалить зуб без какой-либо анестезии. Его гуру, видите ли, в совершенстве владел искусством уничтожения боли.

— Я почти полностью погрузился в пустоту, — сообщил он мне. — Тут важно помнить: у тебя больше нет тела, однако ты все еще жив.

Его клык давно умер и приобрел цвет слабого чая, но корневой канал все еще сообщался с активными нервами. Никакому нормальному стоматологу не пришло бы в голову дергать такой зуб, не вколов хотя бы местное обезболивающее. Я так и сказал; в конце концов пациент согласился на укол. Он вернулся в свою медитативную позу, я вколол ему анестетик и принялся с усердием раскачивать больной клык. Через две секунды пациент застонал. Я решил, что таким образом он погружается в пустоту, но стоны становились все громче: заполнив кабинет, они начали выплескиваться в приемную. Я взглянул на Эбби, мою ассистентку, сидевшую по другую сторону кресла. Розовая маска закрывала ей пол-лица. Эбби ничего не сказала. Тогда я достал

щипцы изо рта пациента и спросил, как он себя чувствует.

— Прекрасно. А что?

— Вы шумите.

— Правда? Не знал. Видите ли, в физическом смысле я нахожусь не здесь.

— Судя по звукам, в физическом смысле вы как раз здесь.

— Прошу прощения. Постараюсь больше не шуметь. Продолжайте, будьте так любезны.

Стоны возобновились практически сразу и быстро перешли в довольно громкий вой — неоформленный и первобытный, как у недоношенного новорожденного. Я остановился. В его налитых кровью глазах стояли слезы.

— Вот опять.

— Опять что?

— Вы стонете. Даже воете. Укол-то действует?

— Я уже в будущем, в трех-четырех неделях от этой боли, — ответил пациент. — Уже четыре-шесть недель я от нее избавлен.

— Боли вообще не должно быть, — сказал я. — Мы заморозили зуб.

— Да мне совсем не больно! — воскликнул пациент. — Продолжайте, я больше не произнесу ни звука.

Я снова принялся за работу. Он остановил меня почти в ту же секунду.

— Сделайте общий наркоз, пожалуйста.

Я выполнил его просьбу, после чего спокойно удалил зуб и поставил на его место временную коронку. Когда пациент приходил в себя, мы с Эбби уже занимались другим пациентом. Конни вошла в кабинет и сказала, что перед уходом он хочет со мной попрощаться.

Мне следовало уволить Конни сразу после нашего расставания. Я мог ее уволить, но жалел. Из-за любви к поэзии она и так жила впроголодь. Знаете, какие у нее были служебные обязанности? Писать имя пациента на карточке, где указаны дата и время следующего визита. Это она и делала восемь часов в день, по четвергам — чуть дольше. Ну, и немного помогала миссис Конвой с составлением графика. Иногда занималась счетами. Для счетов мне все равно приходилось привлекать специальную контору, потому что Конни не справлялась с объемами. Ну, еще она отвечала на звонки. Восемь часов в день, по четвергам дольше, Конни заполняла карточки, вписывала имена в готовый график, изредка занималась счетами и отвечала на звонки. Все остальное время она проводила в компании

я-машинки.

— Где он?

— Там.

Я вошел в кабинет, и мой пациент встал.

— Я только хотел… отблагодарить! Спасибо вам за все! Вы меня больше не увидите. Я улетаю в Израиль!

Язык у него слегка заплетался, и я понял, что газ выветрился еще не до конца.

— Может, посидите пару минут?

— Нет-нет, я не прямо сейчас в самолет. Сперва проедусь на метро. Я просто хотел сказать, что буду очень по вам скучать. По всем. Вы такие чудесные. Вон та леди — просто прелесть. Такая милая. И красивая. Прямо как… а, к черту! Я бы ее трахнул.

Он показал на Конни, которая смотрела прямо на него. Остальные присутствующие тоже.

— Так, вам совершенно точно надо посидеть и отдохнуть. Идите за мной.

— Не могу! — вскричал он, пожимая плечами. — Опаздываю!

— Тогда до встречи.

— Нет, нет! Я же говорил, я улетаю в Израиль. Насовсем!

Я повел пациента к выходу. Конни подала мне

его куртку.

— Но не подумайте, что я лечу туда, потому что я — еврей. Вы ведь так подумали?

— Правую руку в рукав, пожалуйста…

— Ошибаетесь!

Я открыл дверь. Он встал ко мне вплотную и зашептал на ухо, обдавая меня кислым постнаркозным духом:

— Я — ульм. Поэтому и еду в Израиль. Я — ульм, и вы тоже!

Я похлопал его по спине и слегка подтолкнул к двери.

— С чем вас и поздравляю. Удачи!

— И вам удачи!

Под газом люди порой несут полную ахинею. Поэтому я не придал его словам никакого значения.

Глава вторая

Минуло полгода. Была пятница, 15 июля 2011 года, и утро прошло без каких-либо эксцессов. Косметические консультации, гингивопластика и один омерзительный черный язык. В колонках четыре раза играла песня «битлов» «Человек из ниоткуда» — я прослушал ее в четырех кабинетах, а позже поймал себя на том, что напеваю ее сам во время подгонки коронки. Пучок Конни медленно просыхал, заполняя кабинеты запахом ее волос. Миссис Конвой предложила новое решение проблемы избыточного документооборота. Эбби молчала.

Быть хорошим ассистентом врача-стоматолога — не такая уж трудная задача. Запомни названия всех инструментов да знай себе угадывай, какой именно мне может понадобиться в тот или иной момент. Это вам не сердечно-сосудистая хирургия. Но и не хиханьки да хаханьки. Пациенты у меня самые разные: жертвы автомобильных аварий и пьяных драк, например. Эбби приходилось не только подавать мне нужные инструменты, но и с профессиональным спокойствием взирать на их изувеченные рты. Поверьте

на слово: в автомобильные аварии лучше не попадать. Конечно, частично я решу проблему, вы снова сможете есть и пить, но участь ваша незавидна. Считайте, вы исчерпали свой запас удачи. С этого момента ваша жизнь превратится в сплошной компромисс, и до самой смерти вам придется слушать фразы вроде «Мы сделаем все, что в наших силах» и «На большее мы не способны».

Ассистенты также полощут, осушают и отсасывают. Они подготавливают лотки, помогают составлять анамнез, снимать оттиски, примерять коронки, надевать и убирать резиновые прокладки. Словом, без хорошего ассистента врач ничего толком не сделает. И Эбби была очень хорошим ассистентом. Даже держала пациентов за руку. Однако с руководством отношения у нее не ладились. Со всеми жалобами, предложениями и даже просьбами о выходных она обращалась не напрямую ко мне, а к Конни или миссис Конвой. Якобы боялась лишний раз меня побеспокоить. Боялась побеспокоить?! Мы целыми днями напролет сидели друг напротив друга! Наверное, она предпочла бы сидеть напротив другого врача — из тех, что любят людей и без конца хохмят. Я и сам не прочь быть таким врачом. Мне очень

хотелось, чтобы Эбби перестала укоризненно молчать. Может, она меня и не осуждала. Может, я просто неверно читал ее взгляд, ведь остальные черты ее лица скрывались за розовой маской. Может, она просто ждала момента, чтобы быстро и профессионально подать мне нужный инструмент. Но попробуйте-ка сами весь день посидеть напротив ассистента: посмотрим, кем вы себя будете чувствовать в те моменты, когда вам не захочется хохмить и веселиться.

«Все кабинеты готовы?» — этими словами я встречаю Эбби в начале каждого дня.

Мне бы и самому хотелось первым делом говорить всем «Доброе утро!». «Доброе утро» поднимает боевой дух сотрудников: «Жизнь прекрасна! Мы снова вместе, наши головы ясны, подмышки благоухают, какие же чудесные сюрпризы приготовил нам новый день?» Но по утрам я на такое не способен. В моей клинике работали всего четыре сотрудника, включая меня самого, — выходит, от меня требовалось три раза повторить «доброе утро». Много? Нет. И все же я не удосуживался сделать даже такую малость. Игнорируя печальный факт, что каждому из нас отпущено лишь одно-два «добрых утра» в сутки, я лишал своих коллег этого удовольствия. А то и вовсе

на голубом глазу забывал, сколь ужасающе мы ограничены в возможностях пожелать доброго утра ближним, — просто забывал, и все! Или произносил эти слова с иронией, скепсисом, злобой, сухостью, деспотизмом в голосе. Я мог сказать «доброе утро» Эбби и Бетси, но обделить Конни. А мог весело поприветствовать Бетси, но не Эбби и/или Конни. Еще я мог сказать «доброе утро» Эбби в присутствии Бетси или Бетси в присутствии Конни, но не самой Конни. Да что хорошего в этом предсказуемом событии — наступлении так называемого «нового дня»? Обычно ему предшествует долгая битва с организмом за короткий сон, которую многие люди именуют «ночью». Мне всегда казалось, что этого недостаточно для новой порции ритуальных приветствий. Поэтому я просто говорил: «Где расписание?» Эти слова предназначались Конни, сидевшей за письменным столом. Или я спрашивал Эбби: «Все кабинеты готовы?» — как в то самое утро, о котором пойдет речь. Или я обращался к Бетси: «Вы сегодня работаете одни», имея в виду, что помощника (я иногда приглашал временного гигиениста) не будет. Тогда она отвечала: «Кто-то сегодня не в духе». Настроение у меня было не такое уж скверное, несмотря на тщетные попытки

выспаться и слишком скорую встречу с теми же тремя сотрудниками, которых я имел честь видеть вчера. Однако от слов Бетси про «не в духе» я моментально падал духом и проводил остаток дня в чернейшей тоске.

И все же «Доброе утро! Доброе утро всем и вся!» — говорил я своим пациентам, потому что был худшим из ханжей. Из всех ханжей, из всех жестоких и насквозь фальшивых притворщиков, я был самым худшим.

Среди моих пациентов в то пятничное утро был человек, которого я назову Телефонная Книга. Он пришел на косметическую процедуру. Почему-то в последние годы народ валом валил на косметические процедуры. Одни хотели отбелить зубы, другие — выпрямить, третьи надеялись скорректировать «десневую» улыбку, четвертые — изменить положение губ, пятые — полностью перестроить прикус, зуб за зубом, миллиметр за миллиметром, чтобы раз и навсегда избавиться от страшных детских воспоминаний. Люди мечтали об улыбке Джорджа Клуни, Ким Кардашьян и еще об этой мясистой вальгусной улыбке Тома Круза. Многие приносили вырезанные из журналов фотографии менее популярных звезд, улыбками которых хотели обладать, что-

бы улыбаться, как звезда, ходить по улицам, как звезда, и жить до скончания века в ослепительном звездном сиянии. Разумеется, то были состоятельные пациенты, которые вполне могли побаловать себя: адвокаты, управляющие хеджевых фондов и их жены, потерявшие страсть к очаровательным изъянам, светские львицы, которые на вернисажах собирали на себе свет всех фотовспышек. Но за «косметикой» ко мне приходили и другие люди. Не имея страховки, они, заглотив полбутылки «Джим Бима» и вооружившись плоскогубцами, сами выдирали себе сгнившие зубы — а потом сталкивались с последствиями. Растущую зубную боль они глушили аспирином, виски и любыми обезболивающими, какие удавалось раздобыть. Некоторых я отправлял прямиком на госпитализацию. Обычно таких людей недолюбливали за скверный нрав и замкнутость, ведь они никогда не улыбались — но они не улыбались по совсем другой причине. Они стеснялись желтых никотиновых пятен, серого налета, черных пробоин на месте выпавших зубов. Промучившись несколько лет и наконец скопив нужную сумму, они приходили ко мне, садились в кресло… и их прорывало, что женщин, что мужчин: я узнавал все про их страшные

прозвища, разбитые сердца, упущенные возможности и никчемные жизни. Столько горя — из-за зубов! Порой я считал себя исключительно непригодным к профессии врача-стоматолога, вынуждавшей меня ежедневно закрывать глаза на заведомо известное будущее, не видеть могилы в каждом открытом рте. Я тратил все силы на нечто преходящее, на полумеры и паллиативы, отчего мне было трудновато убедить в необходимости регулярных походов к стоматологу даже самого себя. Но когда мне доводилось поработать с такими вот пациентами — после снятия швов они приходили благодарить меня за вновь обретенную радость жизни, нет, за новую жизнь, — я гордился собой, и пошло оно к черту, это заведомо известное будущее.

Итак, я наращивал Телефонной Книге новые передние зубы, когда он выудил из кармана я-машинку и принялся что-то искать в телефонной книге. Конечно, я не операцию на головном мозге ему делал, всего лишь наращивал зубы. Однако же и эта элементарная процедура требует сосредоточения и некоторого минимального участия со стороны пациента. Я глубоко убежден: если бы операции на головном мозге не требовали общего наркоза, пациенты умудрялись бы

рыться в телефоне и прямо на операционном столе. Я не устаю поражаться, сколь многие действия кажутся людям вполне уместными во время лечения зубов. Миссис Конвой как-то рассказывала, что одна ее пациентка прямо во время чистки открыла флакончик с лаком и принялась красить ногти. За это ей пришлось выслушать страстную тираду о падении нравов в современном обществе — бедняжка не могла ни сбежать, ни выдвинуть какие-либо контраргументы, ведь во рту у нее был скейлер миссис Конвой.

Я попросил пациента, испытавшего острую необходимость порыться в телефонной книге во время лечения, убрать свой телефон подальше: он выполнил мою просьбу лишь после того, как отправил кому-то эсэмэс. Этот случай заставил меня вспомнить один любопытный период в своей жизни. Когда антидепрессант перестал действовать, а уроки испанского осточертели, я записался в тренажерный зал. На это меня сподвиг друг Макгоуэн. Вместе мы поднимали и опускали тяжести — и на целых полтора месяца я полностью отдался этому занятию, привлеченный сиянием блестящих грузов и обещаниями недюжинной половой удали. Впрочем,

мне быстро надоел тусклый свет, и я переключился на лакросс. Помню, однажды я рассказал Макгоуэну, что весь вечер изучал свою телефонную книгу, и мне вдруг пришло в голову, что почти все эти люди мне — никто. Я решил удалить из я-машинки десяток-другой контактов, пусть некоторых из них я знал всю жизнь. Макговану мое решение не понравилось. «Это же твои знакомые», — сказал он. «Ну да. И что?» — «Тебя не парят твои знакомые?» — «А они должны меня парить?» — «Не понимаю, зачем ты вытворяешь такие вещи. Лучше не надо. Это меня угнетает». Я не понял, почему это его угнетает. Я же не его телефонную книгу чистить собрался. Через некоторое время мне позвонили с неизвестного номера. «Алло», — сказал я. «Как жизнь?» — поинтересовались на другом конце провода. «А кто спрашивает?» — спросил я. Это был Макгоуэн. С тех пор мы не общаемся.

Оторвавшись от зубов Телефонной Книги, я увидел на пороге своего кабинета миссис Конвой. Большую часть времени миссис Конвой была похожа на несчастную экскурсоводиху. Глядя на нее, вы представляли, что явились в некий музей на некую познавательную экскурсию, и за это вас теперь ждет страшная кара. Отчасти

виной тому была ее водолазка цвета сырого мяса, заправленная в брюки и плотно облегающая расплющенную предпенсионную грудь. Отчасти — серебристый «ежик» и бледный пушок на лице и шее, который стоял торчком, словно притягивая воздушные шарики. Но сегодня миссис Конвой лучезарно улыбалась.

— Что такое? — спросил я.

— Вы молодец!

— Не понял?

— Я думала, вы против, а оказалось — нет.

— Бетси, о чем вы?

— Да о сайте же!

— О каком сайте?

— О сайте нашей клиники, — ответила она.

Я резко крутнулся на стуле и щелчком стянул резиновые перчатки.

— Нет у нас никакого сайта.

Оказалось, меня ждал большой сюрприз.

Бетси Конвой много лет была моим главным гигиенистом и завзятой католичкой. Если бы однажды я захотел стать добрым христианином — никогда не хотел, но если бы, — из меня получился бы неплохой католик вроде миссис Конвой. Она посещала мессы в церкви Святой Жанны д'Арк в Джексон-хайтс, где подкрепляла

свою веру всевозможными телодвижениями, жестами, коленопреклонениями, декламациями, литургиями, пожертвованиями, исповедями, свечами, празднованиями дней святых и несколькими различными антифонами. Католики, подобно бейсболистам, общаются посредством шифрованного языка жестов. Безусловно, Римско-католическая церковь — позор человечества и бельмо на глазу Господа. Но надо отдать им должное: в их распоряжении — сложнейшие мессы, великолепнейшие святыни, старейшие гимны, самая впечатляющая архитектура и целый набор действий, обязательных для исполнения перед входом в храм. Все вместе это как нельзя лучше способствует единению с ближним.

Допустим, я вхожу с улицы и направляюсь прямиком к раковине, чтобы вымыть руки. Неважно, к какой раковине, миссис Конвой обязательно меня найдет. Выследит по запаху, как охотничий пес. И тут же спросит: «Ну, и чем это вы занимались?» Я отвечу, она скажет: «Почему вы все время мне врете?» Я отвечу, а она скажет: «Критика еще никого не убивала. Убивает курение. Какой пример вы подаете своим пациентам, тайком бегая на перекуры?» Я отвечу, она скажет: «Им вовсе не хочется слышать

о «бренности бытия» от своего стоматолога. Когда это вы снова пристрастились к сигаретам?» Я отвечу, она скажет: «Силы небесные! Так что же вы всем говорите, будто бросили?» Я отвечу, она скажет: «Не понимаю, как моя забота о здоровье начальника может «душить на корню все доброе и вечное». Я лишь хочу, чтобы вы полностью реализовали свой потенциал. Самоконтроль еще никому не повредил». Я отвечу, она скажет: «Вот еще! Да ни за что на свете! Дались мне ваши раковые палочки! Что вы делаете? Ну-ка потушите сигарету!» Я попытаюсь сменить тему, отпустив ненавязчивый комментарий, а она скажет: «Смертные муки вам несу не я, а вредные привычки. Неужели вы хотите испортить легкие и умереть молодым?» Я отвечу, она скажет: «Вы уже в аду? Ну-ну! Рассказать вам, какой ад на самом деле?» Я отвечу, она скажет: «Да, раз уж вы сами заметили, любую беседу можно свести к разговору о спасении души. Жаль, это не происходит чаще. Зачем вы открыли окно?» Я отвечу, она скажет: «Мы на первом этаже. В худшем случае вы вывихнете себе лодыжку».

Или, допустим, я выхожу из туалета, и миссис Конвой поджидает меня в коридоре. «Я всюду вас ищу! — скажет она. — Где вы были?!» Я предложу

очевидный ответ, она скажет: «Почему вы все время называете это Громоящиком?» Я подробно отвечу, а она помрачнеет и скажет: «Пожалуйста, не называйте свои достижения в уборной «струей папы Римского». Я прекрасно знаю, что папа для вас — только повод похохмить, да и вся Католическая церковь — не более чем точильный камень для вашего остроумия. Но я, так уж вышло, очень высокого мнения о церкви, и пусть вы сами понять это не в силах, проявите уважение ко мне и не оскорбляйте папу Римского». Я извинюсь, но она пропустит мои слова мимо ушей. «Честное слово, иногда я начинаю сомневаться, что вам вообще есть дело до чувств окружающих людей!» С этими словами она уйдет. А я так и не узнаю, зачем она караулила меня под дверью Громоящика, если не с единственной целью — испортить настроение нам обоим.

Позже, дав мне немного поизводиться, миссис Конвой спросит: «Ну, так скажите: вам есть дело до чувств других людей? Вы хоть немножко меня уважаете?»

Разумеется, я ее уважал. Допустим, все записанные пациенты явились вовремя, и на чистку пришли разом пять человек. Чтобы минимизировать время ожидания и максимизировать

выручку, я бы пригласил трех-четырех гигиенистов. Но ведь в моем распоряжении была сама Бетси Конвой! Бетси Конвой при помощи одного или двух временных сотрудников успевала делать снимки, писать анамнезы, счищать зубной камень, полировать, рассказывать пациентам о важности профилактических мер, оставлять подробные заметки для последующего осмотра врачом-стоматологом (то есть мной) и при всем этом еще курировать подчиненных и следить за составлением расписания. Стоматологи мне не поверят. Просто потому что не у всякого стоматолога есть такой замечательный гигиенист, как миссис Конвой.

«Ну? Отвечайте!» — будет донимать меня она.

Однако, случись ей умирать, я бы вряд ли бросился на помощь. Скорее, весело бы наблюдал за происходящим. Пусть лучше она умрет, думал я, чем всегда будет крутиться рядом. Я бы никогда не нашел ей достойную замену, но изо дня в день находиться рядом с Бетси Конвой — это испытание почище любых крестных мук. Бедная Бетси… Именно ей мы были обязаны высокой производительностью труда, профессионализмом и изрядной долей ежемесячной выручки. Ее полное принятие католицизма

со всеми его несуразностями и врожденными изъянами как нельзя лучше подходило для работы в стоматологической клинике: зачастую, чтобы смотивировать массы на ежедневный уход за зубами, мы давим именно на чувство вины. Вручая босяку зубную щетку, Бетси Конвой говорила: «Вера познается в мелочах». Ну, кто еще на такое способен? А потом я вдруг представлял, как огромный мускулистый негр ставит ее раком на стоматологическое кресло и трахает до полного умопомешательства.

— Конечно, я вас уважаю, Бетси! Что бы мы без вас делали?

Позже, в баре, я окажусь последним посетителем. Она — предпоследним. Она спросит: «Может, вам уже хватит?» Я отвечу, она скажет: «Как вы доберетесь до дома?» Я отвечу, она скажет: «Конни давно уехала, лапочка. Два часа назад. Ну все, давайте я вам помогу». Она посадит меня в такси и скажет: «Дальше сами?» Я отвечу, а она скажет — уже таксисту: «Он живет в Бруклине». А потом — не знаю что.

Или вот, допустим, мы отправимся с благотворительной миссией к черту на кулички. Я буду биться, биться, не соглашаться, но в итоге все равно окажусь на борту самолета. Однажды

мы побывали прямо-таки в невероятном захолустье: из аэропорта Кеннеди прилетели в Нью-Дели, из Нью-Дели — в Биху Патнайк, а оттуда еще пятьдесят километров ехали на поезде. Потом мы брели сквозь убийственный зной по засранным улицам, а за нами с тихими наставлениями и увещеваниями ковыляли безногие и безрукие нищие. Клиника оказалась не клиникой, а двумя обычными креслами под пляжным зонтом. Рядом стояла палатка для больных с заячьей губой. Я просто увидел их за работой — и мне, знаете ли, хватило.

Допустим, в некой похожей ситуации я обращусь к миссис Конвой: «Как я только позволил вам затащить меня в эту богом забытую страну?» Она велит мне не произносить Божье имя всуе. Я скажу: «Не самое лучше время требовать от меня уважения к Господу. Хорошо ваш Господь уважил этих детей, ничего не скажешь». Некрозы пульпы, поражения языка, огромные раздутые зобы на почве абсцессов… Могу продолжать до бесконечности. Нет, я продолжу: почерневшие зубы, сломанные зубы, омертвелые зубы, смещенные зубы, зубы, растущие в разные стороны, прямо из нёба, язвы, открытые раны, сочащиеся гноем десны, сухие лунки, язвенно-некротиче-

ские стоматиты, неизлечимые кариесы, голод, вызванный невозможностью пережевывать и глотать пищу… У этих нежных детских ртов просто не было шансов. Нормальный человек не остается в таком месте, надеясь сделать мир лучше. Нормальный человек первым же рейсом летит домой. Я оставался только из-за налогов. Мне сулило изрядное списание. И еще баранина, жаренная на вертеле, — это нечто. На Манхэттене такой не найдешь, хоть в лепешку расшибись.

Миссис Конвой скажет: «Мы приехали, чтобы делать Божье дело». «Лично я приехал за бараниной, — отвечу я. — Что же до Божьих дел — сдается, мы разгребаем последствия». Она не согласится. «Именно для этого мы и родились на свет Божий». — «Пессимизм, скептицизм, нытье и гнев — вот для чего мы родились на свет, — отвечу я. — А у местных и вовсе одна цель в жизни — страдания».

Законченные биографии нравились миссис Конвой больше, чем живые люди. Все важные люди в ее жизни давно умерли: Иисус Христос, папа Римский Иоанн Павел II и доктор Бертрам Конвой, тоже стоматолог при жизни. Бетси было всего шестьдесят, но вдовствовала она уже девятнадцать лет. Мне-то всегда казалось,

что она живет одна и страдает от хронического одиночества. Но ей никогда не было одиноко. Отец, Сын и Святой Дух не покидали ее ни на минуту, не говоря уж о пречистом присутствии Богородицы. Она была заодно со святыми и мучениками, с папой Римским, глубоко чтила епископа, исповедовалась священнику и дружила со всеми прихожанами своей церкви. Пусть Католическая церковь за свои грехи подвергалась бесконечным нападкам, связи внутри церкви были сильны, как никогда, и Бетси Конвой в своем вдовстве, одиночестве и бездетности не нуждалась ни в чьем сочувствии. Я-то считал ее бессмертной, но если бы однажды она все-таки умерла, сразу после скромных похорон ее душа отправилась бы в лучший мир, к родным, близким и миллионам любящих единоверцев.

Или вот, допустим, она купит и притащит на работу книгу. Под названием «Легкий способ составлять графики», «Идеальный офис» или «Стоматолог на миллион долларов». Последнюю, кстати, написал некий Барри Хэллоу. Даже не настоящий стоматолог — простой врач-консультант. Только-только вылупился из бизнес-школы, отчаянно ищет собственную нишу и вдруг узнаёт, что любая стоматологическая

клиника страдает рядом хронических недугов. Бинго! Он тут же превращается в эксперта. Сидит у себя в Финиксе, штат Аризона, и кропает книжонку. Его доказанные методы преобразят вашу профессиональную деятельность, увеличат доход и даже продолжительность жизни. Но прежде всего, пишет он, вы наконец-то обретете счастье. Действительно, кто же от такого откажется? Успешные и жизнерадостные люди достойны только абсолютного счастья, все остальное — для полных неудачников, депрессирующих нытиков, подслеповатых стариков и детей-актеров, из которых вырастают очень странные типы. Нет, это не про вас, ведь вы вовремя обратились за помощью к суперэксперту.

— Мы неэффективно расписываем рабочие дни, неэффективно лечим и неэффективно ведем бухгалтерию, — в заключение процитирует она Барри Хэллоу.

Я возражу, что лечим мы вполне пристойно.

— Да, но мы недостаточно времени уделяем просветительской деятельности, — парировала Бетси. — Мы должны подробней рассказывать пациентам о профилактических мерах, которые помогают укреплять здоровье зубов и десен.

— Профилактические меры на хлеб не на-

мажешь, — отвечу я. — У нас тут клиника, а не школа.

— Я знаю, что у нас не…

— И вообще, по сравнению с другими клиниками мы уделяем целую кучу времени рассказам о профилактических мерах. Но вспомните, Бетси, с кем нам приходится иметь дело. С людьми. С ленивыми ограниченными идиотами, которых даже под дулом пистолета не заставишь чистить зубы после четырех бокалов «мерло». И все ваши старания коту под хвост, сколько бы вы ни рассказывали о профилактике этим бездельникам, что с трудом удосуживаются вспомнить про запись к врачу и притащиться сюда, точно их мама отправила собирать игрушки. Все коту под хвост!

— Вы слишком плохого мнения о человечестве.

Пропустив ее слова мимо ушей, я продолжу:

— А ведь мы просим о такой малости! Руки почти не требуют никакого ухода, ноги тоже. Нос время от времени нуждается в небольшом внимании, как и сфинктер, — и это все! Неужели так трудно следить за собственным ртом — в обмен на хорошее самочувствие и настроение? Даже карликовые шимпанзе ловят друг у дру-

га блох и вшей. Неужели нельзя быть хотя бы как карликовые шимпанзе?

— Ох, опять вы завелись. Да послушайте же, что вам говорят! Методы Барри Хэллоу — доказанные. Если следовать предложенной им программе из двенадцати шагов, у нас… Так, минуточку, я куда-то записала.

— Не утруждайтесь. Я знаю. Зубы будут сиять здоровьем и белизной, а пациенты начнут сами расписываться в нужном месте. Красота! Да этот клоун — даже не стоматолог.

— Я прошу разрешения использовать некоторые его методы в работе нашей клиники, — скажет миссис Конвой.

— От нас что-то потребуется?

— От некоторых — да. Совсем немного.

— В числе этих некоторых есть я?

— Возможно.

— Тогда ни в коем случае.

Я сознательно держался подальше от социальных сетей. У меня не было своего сайта, не было аккаунта в Фейсбуке. Впрочем, иногда я гуглил самого себя и всякий раз натыкался на одни и те же три отзыва: один разместил я сам, один выпросил у Конни, а третий написал аноним. Конечно, я прекрасно знал, кто этот аноним.

Он долгое время отказывался платить за оказанные ему услуги, и в итоге — дав ему множество последних шансов — я обратился в коллекторское агентство. Вообще-то я, как и вы, терпеть не могу коллекторов. Тактика у них простая: в открытую и исподволь обращаться с тобой как с полным неудачником, пока, окончательно деморализованный снисхождением и замученный хулиганскими выходками, ты не заключишь сделку, чтобы, не дай бог, тебя опять не вытурили из «Мэйсиз». Подумайте-ка: вы когда-нибудь встречали живого коллектора в неформальной обстановке? Нет, конечно. На вечеринках они все превращаются в колл-менеджеров и оценщиков страховых убытков. Так что я, поверьте, разделяю вашу нелюбовь. Но этот гад задолжал мне восемь тысяч долларов. Я честно сделал свою работу, благодаря мне — вы только послушайте, — благодаря мне эта сволочь снова смогла жевать пищу! Уж хотя бы за материалы мог бы заплатить! А он что? Сделал такой график платежей, чтобы выплачивать мне по двадцать баксов в месяц, а затем тут же вылил на меня ведро грязи — якобы из благородных побуждений, дабы предостеречь добрых людей от обращения к бракоделу и вору. Мало того, этот аноним утверждает, что у меня

козявки в носу! Нет у меня никаких козявок. Я нарочно перед каждым приемом иду в туалет и изучаю свои ноздри в зеркале. Это профессиональная этика, если хотите знать. Но теперь мир убежден, что у меня в носу есть козявки. Если кто-нибудь перед походом к новому врачу решит почитать отзывы в Интернете, как думаете, выберет ли такой человек клинику, где стоматолог сдирает с пациентов три шкуры за плохую работу и вдобавок посыпает их своими козявками? Нет. Однако на свете нет такой организации, к которой я мог бы обратиться с требованием удалить лживый отзыв. Поэтому примерно каждый месяц я гуглил самого себя, неизбежно натыкался на отзыв анонима и громко бранился, чувствуя себя оклеветанным, а миссис Конвой говорила: «Хватит гуглить самого себя!»

Порой она спрашивала: «Что вы имеете против людей?» Допустим, я сидел за столом на ресепшене и заполнял бумаги — за этим столом у нас несколько крутящихся офисных кресел. Подняв голову, я отвечал: «Что я имею против людей? Я ничего не имею против людей». Тогда она говорила: «Вы сознательно избегаете общества окружающих». Я поворачивался к ней на стуле, смотрел на нее внимательно и спрашивал:

«Кто это избегает общества окружающих?» — «У вас нет сайта, — говорила она. — И даже странички на Фейсбуке. Никакого присутствия в Интернете. Барри Хэллоу пишет…» — «И за это вы обвиняете меня в нелюдимости? Потому что у меня нет аккаунта на Фейсбуке?» — «Я лишь пытаюсь сказать, что Барри Хэллоу советует любому малому бизнесу иметь присутствие в Интернете. Это увеличивает приток клиентов. Доказано. Больше я ничего не пытаюсь сказать». — «Нет, пытаетесь, Бетси. Если бы не пытались, то не стали бы попрекать меня отсутствием аккаунта на Фейсбуке». «Вы неправильно истолковали мои намерения, — отвечала она. — Причем сознательно». — «Я ничего не имею против людей, Бетси. *Понимаю* ли я людей? Нет. Большинство людей я не понимаю. Их поступки и дела вводят меня в ступор. Они сейчас там, за стенами этого дома, играют в футбол на зеленом поле, катаются на яхтах и так далее. Молодцы! Пусть катаются. Знаете что, Бетси? Я бы рад покататься вместе с ними! Да! Поехали кататься на яхте! Будем все вместе есть креветок!» — «Святые Мария и Иосиф, — отвечала Бетси, — при чем тут креветки? Зачем я только подняла эту тему, никогда себя не прощу…» — «Нет, не уходите,

Бетси, давайте уж все проясним. По-вашему, я не могу вот так запросто отправиться на морскую прогулку?» — «Да кто говорил о морских прогулках?!» — «Думаете, я могу легко и беззаботно бросить все и отправиться загорать на пляж, покорять горные вершины, собирать яблоки, покупать коврики для ванны, заказывать салаты и каждый вечер складывать мелочь из кармана в одно и то же место? Стирать постельное белье, слушать «U2» и пить шабли?» — «Да что вы такое несете?! — отвечала она. — Я просто хотела, чтобы вы завели сайт или хотя бы страничку на Фейсбуке. Это увеличит нашу прибыль!» — «Понятия не имею, почему все это мне недоступно, — говорил я. — Однако же недоступно. Я бы хотел так жить, хотел бы изо дня в день получать удовольствие от простых мелочей. Ездить в отпуск. Отдыхать». — «Пожалуйста, хватит передергивать». — «Вы не представляете, как я люблю что-нибудь подергать. А вообще — мне и самому страшно хочется прийти в бар и посмотреть там бейсбол. И чтобы целая толпа народу за стойкой приветственно кричала мне «Йоу!», «Здорово, кореш!», «Проставляйся!» и все в таком духе». — «Мне пора к пациенту, — перебивала меня Бетси. — Продолжим эту беседу в другой

раз». — «Да, Бетси, мне бы очень хотелось смеяться и орать вместе с закадычными приятелями. Это было бы чудесно. Но вы хоть представляете, сколько внимания и сил требуется для просмотра матча «Ред Сокс»? Даже во время регулярного сезона?» — «Я решила остаться и выслушать вашу тираду до конца, — отвечала она, — потому что я, кажется, наступила на больную мозоль». — «Но не думайте, что моя неспособность иметь постоянных собутыльников меня не тревожит. Очень даже тревожит, прямо-таки неотступно преследует. Я регулярно думаю о том, сколько я в жизни упустил такого, чего бы упускать не хотел. Эта мысль гложет меня изнутри, Бетси. Думаете, я нелюдим? Конечно, я нелюдим! Только это и помогает мне не думать каждую секунду о своей нелюдимости. Но это не значит, что я имею что-то против людей. Завидую им? Разумеется. Восхищаюсь ими? Постоянно. Тайком изучаю их повадки? Каждый день. Я просто не пытаюсь их понять. Любить что-то непостижимое, постоянно чувствовать свою непричастность и мечтать о причастности — кому можно такого пожелать, Бетси? Кому?» — «Вы закончили? — спрашивала она. — Это самый долгий и мучительный разговор в моей жизни». — «Но знаете, что остается

для меня еще более непостижимым, чем морские прогулки и солнечные ванны? *Чтение о морских прогулках и солнечных ваннах!* До появления Интернета я и так был отрезан от общества. Вы хотите, чтобы между мной и обществом появилась еще одна преграда? Чтобы я тратил время, которое не трачу на морские прогулки и солнечные ванны, — чтобы я тратил это время на *чтение* о том, как другие люди катаются на яхтах и принимают солнечные ванны? Просматривал их фотографии и видео, оставлял восхищенные комментарии, лайкал, заценивал, репостил, твиттил и чувствовал себя еще более одиноким и покинутым? Откуда вообще взялось это утверждение, будто социальные сети связывают людей? Я себя чувствую как никогда отвязанным и одиноким. Наверное, тут то же самое, что с богатыми и бедными. Богатые богатеют, бедные беднеют. Люди общительные становятся все более общительными, а нелюдимы — еще более нелюдимыми. Нет, спасибо, мне этого не надо. Жизнь слишком сложна и без Фейсбука». — «Забираю назад свои слова о том, что вы что-то имеете против людей. И больше никогда не попрошу вас о сайте или о страничке на Фейсбуке».

Я считал себя стоматологом, а не сайтом. Чело-

веком, а не брендом и — тем более — не анкетой. Они хотели свести мою личность и весь жизненный опыт к набору покупок и предпочтений, прописанных лекарств и предсказуемых поступков. Но тогда разве остался бы я человеком? Я был бы просто зверь в клетке.

Бетси спрашивала: «Когда вы последний раз были в церкви?» Я отвечал, она говорила: «Врете. Каждый хоть раз бывал в церкви. Попробуйте ответить честно». Я отвечал, она говорила: «Ох, силы небесные! Никто не поклоняется маленьким голубым лепреконам. Во-первых, лепреконы зеленые. Во-вторых, вы не хуже меня знаете, что лепреконы не создавали землю и небо. Я не вижу ни единой причины верить в лепреконов, зато могу перечислить множество причин верить в Бога. Я вижу его в небе и прямо на улицах города. Неужели вы сами не чувствуете, что весь мир был создан Божьей рукой?» Я отвечал, она говорила: «Большой Взрыв почувствовать невозможно. И потом, вера в Господа делает людей хорошими. Разве вы не хотите быть хорошим человеком?» Я отвечал, она говорила: «Метафизический шантаж! Ах вы моя лапочка. Нет уж, признавайтесь: вы считаете себя хорошим человеком?» Я отвечал, что да, в целом я

считаю себя хорошим человеком. И тогда она говорила — подумав немного, она клала руку мне на плечо и говорила: «Но хорошо ли вам живется? А?»

Мы с миссис Конвой подошли к компьютерному столу на ресепшене. Естественно, Конни уже открыла веб-сайт «Стоматологии доктора О'Рурка». Я решил, что где-то на белом свете есть вторая стоматология с таким же названием, а миссис Конвой просто что-то напутала, и ее ждет разочарование. Но потом Конни кликнула на раздел «О клинике», и на экране появились все мы: Эбби Боуэр, ассистент врача-стоматолога, Бетси Конвой, главный гигиенист, Конни Плотц, офис-менеджер, и я, доктор Пол О'Рурк, врач-стоматолог. Это была *наша* клиника, *моя* «Стоматология доктора О'Рурка».

— Кто это сделал? — вопросил я.

— Не я, — ответила Конни.

— И не я, — ответила миссис Конвой.

— Эбби? — спросила Конни.

Эбби, по неизвестной причине до сих пор скрывавшаяся за розовой маской, быстро помотала головой.

— Кто-то же должен был сделать этот сайт!

Все посмотрели на меня.

— Я тут ни при чем, уж поверьте.

— Как так? Посмотрите, тут же мы все!

Мы снова посмотрели на экран. Да, там по-прежнему были мы все. Никуда не делись.

Фотография миссис Конвой была взята из ее школьного альбома за 1969 год — выпускной год. Черно-белый снимок она, по всей видимости, сочла весьма удачным, поскольку до сих пор не высказала ни единого возражения. Несмотря на пышную высокую прическу, каких в 1969-м уже никто не носил, на этой фотографии миссис Конвой была весьма юной и почти хорошенькой. Бой-баба с серебристым «ежиком», стоявшая рядом со мной за компьютерным столом, не имела с ней абсолютно ничего общего. Фотография Эбби была сделана в профессиональной студии, отретуширована и отполирована до блеска. Но почему? Разве Эбби — актриса или какая-нибудь модель? Откуда мне знать, она со мной не разговаривала. На снимке она выглядела потрясающе эффектно — опять-таки, ничего общего с действительностью. Конни осталась без фотографии и страшно расстроилась по этому поводу. Сочла это подтверждением того факта, что офис-менеджера всякий может обидеть. Я не стал говорить, что офис-менеджером ее

никто никогда раньше не называл. Мой снимок был сделан камерой слежения — я спускался в метро на пересечении Восемьдесятой шестой с Лексингтон-авеню и выглядел как террорист, разыскиваемый ФБР.

— Кто это сделал? — повторил я свой вопрос.

Все трое моих подчиненных молча уставились на меня.

— Это неприемлемо.

— А по-моему, очень мило, — высказалась миссис Конвой.

— Я хочу, чтобы сайт убрали.

— Что? Почему? Ведь нам как раз такой сайт и нужен! Его создатель отлично поработал.

— Его создатель сделал это без моего разрешения и по совершенно неясным для меня причинам. Кто и зачем мог такое устроить? Я обеспокоен. Мы все должны быть обеспокоены.

— Вы, наверное, сами это сделали — да и запамятовали. Или победили в какой-нибудь лотерее. Может, ваше имя вытянули из лототрона! Ну да!

— Очень сомневаюсь, Бетси. Узнай, кто это сделал, — велел я Конни.

— Как?!

Я понятия не имел.

— Что, никому нельзя позвонить?

— Кому?

— Это возмутительно.

В самом низу страницы было название конторы, разработавшей сайт: «СеирДизайн». Я вбил это название в Гугл и нашел практически пустой сайт с кратким описанием предоставляемых услуг и единственным контактным адресом: info@seirdesign.com. Я тут же написал им письмо.

«Здравствуйте, «СеирДизайн», — написал я.

Меня зовут Пол К. О'Рурк. Я — владелец и сотрудник "Стоматологии доктора О'Рурка", расположенной на Манхэттене по адресу Парк-авеню, 969. Пишу вам с просьбой удалить (или снести, или как там это называется) веб-сайт моей клиники, созданный без моего ведома и согласия.

Интересно, часто вы такое практикуете — создаете сайты для людей, которые этого не просят? Или кто-то обратился к вам от моего имени? Если так, я хочу знать все об этом самозванце. Я — настоящий Пол О'Рурк, и мне не нужен никакой сайт. Вы должны понимать, насколько я встревожен внезапным и непрошеным появлением в Интернете сайта моей собственной клиники.

Надеюсь на скорый ответ».

Я чувствовал себя уязвленным, беспомощным и остаток дня без конца проверял почту, но ответа так и не получил.

Я ежегодно обновлял подписку на канал DIRECTTV, по которому транслировали бейсбольные матчи, и каждую игру «Ред Сокс» записывал на видеокассеты. У меня есть все игры «Ред Сокс» с 1984 года, за исключением тех, что пришлись на отключение электричества. Я извел уже семь видеомагнитофонов, и на тот случай, что их перестанут производить, в кладовке у меня стоит еще семь новеньких. Перед каждой игрой я обязательно съедал тарелку курицы с рисом и не строил никаких планов на бейсбольные вечера. А еще — никогда не смотрел шестой иннинг.

— Почему именно шестой? — однажды спросила Конни.

— Это суеверие.

— Но почему не пятый или не седьмой?

— В самом деле, почему не четвертый и не восьмой? — ответил я.

— Зачем тебе вообще нужны суеверия?

— Потому что не верить в них — плохая примета.

Если «Ред Сокс» начинали отставать от «Янкиз» на девять игр и больше, я бросал все, ехал

в Нью-Джерси по тоннелю Холланда, брал номер в гостинице «Говард Джонсон» в Норт-Бергене и смотрел следующую игру за пределами города, надеясь таким образом прервать полосу неудач.

— Если ты так ненавидишь «Янкиз», — однажды спросила Конни, — зачем переехал в Нью-Йорк?

— Чтобы посмотреть, какой город мог породить чудовище под названием “фанат Янкиз”».

Хотя в 2004-м положение дел резко изменилось, я по-прежнему смотрел все игры «Ред Сокс». Я смотрел их так долго, что уже не мог от этого отказаться. Иначе бы я просто весь вечер напролет стоял посреди гостиной и не знал, чем заняться. О да, занятий на самом деле масса. В наши времена человек может найти больше достойных способов скоротать вечер, чем когда-либо в истории мира. А уж в Нью-Йорке интересного досуга больше, чем в любом другом городе. Я мог бы поесть пиццы. Или суши. Я мог бы заказать тарелку овечьего сыра в винотеке и пить «Пино-нуар» до тех пор, пока богемианизм и Билли Холидей не пропитают насквозь мою душу и я не напьюсь вдрызг, вдрызг, вдрызг. Я мог бы отправиться в «Бруклин инн» и выпить хорошего стаута. А по пути туда заглянуть еще в дюжину неплохих

баров. Вокруг было множество бакалейных лавок и корейских магазинчиков, где я мог купить свежих фруктов и овощей. Или я мог сесть за барную стойку нового итальянского ресторанчика, заказать фрикаделек и выпить целую бутылку вина. Или пинту бочкового пива — тогда все сходили с ума по бочковому пиву. А то и вовсе выкинуть что-нибудь неожиданное: вернуться на Тридцать четвертую и подняться на смотровую площадку Эмпайр-стейт-билдинга… нет, Эмпайр-стейт вечером закрыт. Многие заведения закрыты в это время суток: музеи, арт-галереи, книжные магазины. Но разве это повод торчать дома? Можно забуриться в «Старбакс». Или съесть бублик. Или сэндвич с фалафелем. Мне вновь пришло в голову, что большая часть досуга в Нью-Йорке так или иначе связана с едой и напитками. Неужели мы родились на свет только для того, чтобы есть и пить? Может, мне следовало избавить всех и самого себя от лишних хлопот и по возвращении домой просто начать есть и пить все подряд — фалафель закусить сосисками, заполировать все это дело курицей карри, щедро залить пивом и множеством стаканчиков виски «на сон грядущий», а потом вырубиться по дороге в туалет и заснуть прямо в инвалидном

кресле с электроприводом? Казалось, так дела и обстоят. Но нет. Всегда нужно помнить, сколько интересного может предложить этот город человеку, пытающемуся небездарно провести вечер. Например? Например, кино. В Нью-Йорк привозят все лучшие ленты. А еще лучше — сходить на бродвейский мюзикл. Сделать это можно только в Нью-Йорке. Но постойте, ведь сегодня пятница! Сколько народу, по-вашему, пытается чем-нибудь себя занять в пятничный вечер? Не говоря уж о туристах, которые хотят за неделю испытать все, что только можно испытать в Нью-Йорке? Билеты на лучшие спектакли давно распроданы. Да и чтобы попасть на сам Бродвей, надо несколько недель морально к этому готовиться — знаете, какие на Тайм-сквер толпы? Наконец вы попали к театру, у входа тоже страшная толпа, вы проталкиваетесь внутрь, высиживаете бесконечный первый акт… и тут наступает антракт. Свет загорается, зрители вскакивают со своих мест, потягиваются, обсуждают увиденное и гадают, почему ты торчишь тут один-одинешенек в пятницу вечером. Нет уж, не хочу я проводить пятничный вечер под пристальными взглядами незнакомцев. В этом смысле четверги никогда не доставляли

мне никаких хлопот. А вот пятницы, субботы, воскресенья, понедельники, вторники и среды — регулярно. В эти вечера я превращался в машину для потребления пищи. Ничего другого город мне предложить не мог, а раз даже этот город не может ничего предложить, представьте, как обстоят дела в городах поменьше, или в пригородах, или в деревнях, где половина жителей — продавцы, половина — фермеры? Неудивительно, что мы превратились в нацию разжиревших алкоголиков и врачей, которые их лечат. Мы неспешно шагаем по улицам, едва передвигая ноги. Складки жира потихоньку превращаются в новые органы, названий которым еще не придумали. Мы потребляем себя заживо, и гротекскные наросты на наших телах увеличиваются прямо пропорционально дефициту федерального бюджета и количеству дисконтных оружейных магазинов. Всей стране нечем заняться, кроме как есть, пить и стрелять, а если уж власти города ограничили твою деятельность только потреблением еды и напитков, почему бы заодно не посмотреть бейсбол по телевизору? Этим я и занялся. Как обычно — взял навынос курицу с рисом и посмотрел бейсбол. Не самый плохой расклад, между прочим. Я на время от-

влекся от мыслей о сайте, созданном против моей воли, и почти забыл о своей беспомощности перед веб-мастерами «СеирДизайна». В тот вечер мы играли против «Тампа бей рейс», и я изо всех сил пытался сосредоточиться на игре. Самое трудное было выбросить из головы все другие увлекательные занятия, каким я мог бы предаться, если б сегодня решил не смотреть бейсбол. Занятия, предполагающие непосредственное участие других людей и меня. Чуть ли не каждый вечер меня звали на какие-нибудь профессиональные сборища — часто неформальные. Но неужели кто-то хочет провести пятничный вечер на профессиональном сборище? «Меньше всего мне хочется тусоваться в компании очкастых стоматологов», — думал я, получая очередное такое приглашение и тут же отвечая отказом. Но потом наступал вечер этого сборища, я вновь обнаруживал себя дома, в полном одиночестве, еда заказана, и делать совершенно нечего — только смотреть бейсбол. Тут-то я вспоминал о встрече: она представала уже в совсем ином свете. В отличие от меня, у очкастых стоматологов есть занятие поинтересней, чем просмотр игры регулярного чемпионата. В отличие от меня, эти стоматологи сейчас увле-

ченно болтают друг с другом, или знакомятся с незнакомками, или просто узнают о какой-нибудь новой методике, позволяющей облегчить участь пациентов. Уже одно это наполнило бы мой вечер смыслом.

Все вышесказанное выдавало во мне замкнутого, ограниченного и зашоренного человека. Всякий раз, получая приглашение на встречу стоматологов, я тут же отвечал отказом, если в этот вечер должны были играть «Ред Сокс». Я никогда ничего не планировал на такие вечера, хотя всегда мог пересмотреть записанную игру позже. Но нет, эти вечера были для меня священными, а если бы я предал одну святую вещь, то что мне стоило предать все остальные принципы — и кем бы я тогда стал? Любое искреннее увлечение — это болезнь. И если б моя преданность бостонской команде дрогнула после их исторической победы в чемпионате 2004 года, по-настоящему исторической и практически невозможной, ведь сначала они успели проиграть три матча, но потом все-таки победили — и кого! «Нью-Йорк Янкиз»! Самую непроходимо тупую и часто поносимую команду в истории спорта, с этим их омерзительным логотипом из переплетающихся букв «N» и «Y»,

красующимся на развалах с майками и бейсболками по всему миру, символом столь узнаваемым и режущим глаза, что сравниться с ним может только свастика (при этом «Янкиз» по-прежнему воспринимается некоторыми как нечто безобидное, заслуживающее восторга и даже поклонения, что, несомненно, наглядно демонстрирует склонность человечества к массовым заблуждениям) — если б моя преданность «Ред Сокс» дрогнула после оглушительной победы над «Янкиз», прервавшей восьмидесятишестилетний период засухи, значит, мое тридцатилетнее увлечение бостонской командой яйца выеденного не стоило и никогда не было истинным самопожертвованием, граничащим с болезнью и даже неотличимым от нее. Поэтому, разумеется, я ответил отказом на приглашение и вновь уселся в кожаное кресло, прихватив со стола бутылку пива и тарелку с курицей карри. Мы играли против «Рейз». Это была игра регулярного чемпионата, да к тому же против «Рейз» — самой низкопробной и заурядной из команд. Исход игры не имел абсолютно никакого значения (если бы, конечно, не случилось что-то из ряда вон). Словом, самый обыкновенный бейсбольный матч, один из тысяч, просмотренных мною

за много лет, не заслуживающий никаких финансовых и эмоциональных вложений. Спросите любого человека, который не фанатеет по бейсболу, что значит для него обыкновенная игра регулярного сезона, и он ответит: ничего. Ничегошеньки. Стоило мне в пятницу вечером только подумать о количестве людей с богатым досугом, не фанатеющих по бейсболу, как огромный мир парализовывал меня своим многообразием и заманчивыми возможностями. Я недвижно сидел в кресле, парализованный, а перед глазами неспешно, один за другим, сменяли друг друга скучные иннинги. Но потом на поле что-нибудь происходило — да хоть простой дабл-плэй, — и в груди вновь вспыхивал былой огонь, вновь начинал бить непостижимый фонтан восторга, совсем как в детстве, когда я пяти-шестилетним мальчиком наблюдал за отцом: тот не сводил глаз с черно-белого телеэкрана, а все краски передавали комментаторы по бакелитовому радио. Сидел он в мягком удобном кресле, однако пристраивался на самом краешке, словно наблюдая за сложной посадкой космического корабля. Меня он называл «Поли». «Поли, сбегай-ка на кухню, принеси мне пива». «Поли, не спи, шестой иннинг начался! Смотри и рассказывай мне,

что происходит на поле!» «Мы проиграли, Поли, очередное поражение, мать его, вот так всегда с этими говнюками, они берут и подводят, берут и проигрывают, сволочи!» В начале игры я всегда сидел у него на коленях, но уже к концу первого иннинга он начисто забывал о моем существовании. Я же, напротив, тонко чувствовал каждое движение его души и тела, каждый визг пружин его драгоценного кресла. Пружины эти были замученные и несчастные, как старые побитые клячи, но по-прежнему безотказные: снова и снова они воспевали гимн его невыносимому напряжению, его невыносимому отчаянию. Все происходящее он записывал на специальную карточку, которая лежала на плоском подлокотнике кресла. Пот стекал по пивной банке на дешевый ковер. Отец как будто сам был на поле, столько физических сил он вкладывал в просмотр игры. Встал, сел, встал, сел, меряет шагами комнату: противоестественно выкрутил кисть и грызет большой палец; стоит неподвижно и сыплет грязной бранью (от этого я всегда вжимал голову в плечи); упал на колени и уставился в телевизор. Я украдкой наблюдал за отцом, копировал выражения его лица, старался подогнать собственный отклик под его настроение и степень душевного накала,

когда какое-нибудь событие поднимало на ноги весь стадион. Его неукротимая энергия обволакивала меня с головой. Что такое «Бостон ред сокс»? Что такое мир? Каждая подача — дело жизни и смерти, каждый замах — шанс исполнить мечту. А мы тут с вами о чем? Обыкновенная игра регулярного сезона… которая ничего, ничегошеньки не значит. Как я любил этого страшного человека. Он был для меня воплощением всего удивительного и хорошего, что есть в мире, пока однажды не вышиб себе мозги в ванной, предусмотрительно запахнувшись шторкой.

В тот вечер мы проигрывали. В общем зачете на данный момент «Ред Сокс» занимали первое место, опережая «Янкиз» на полторы игры, но сегодня мы проигрывали второсортным «Рейз». С одной стороны — плохо, а с другой — так и должно было быть. Это давало нам возможность неожиданно рвануть вперед и надрать всем задницу — только такие победы меня и радовали. Однако победы не случилось. 15 июля 2011 года мы продули со счетом 5:6 каким-то несчастным «Рейз». Я с отвращением вырубил телик. Нажал «стоп» на видаке, перемотал кассету, вытащил ее, подписал и убрал в шкаф. Затем лег в постель.

Проснулся я без четверти три. Невероятно! Почти четыре часа непрерывного сна! Ну, если быть точнее, три с небольшим, но цифра «четыре» мне нравилась больше. Такого долгого непрерывного сна у меня не было уже… три или четыре недели? Я лежал в кровати счастливый и почти отдохнувший. Но потом мне пришлось решать: встать или снова пытаться уснуть? Раз в три-четыре недели мне удается заставить себя уснуть еще на часок-другой, что в сумме дает четыре-пять часов сна. Четыре-пять часов! Как мало! Но я предпочитал думать об этом иначе. Я приходил на работу и всем говорил: «Доброе утро, Эбби. Доброе утро, Бетси. Доброе утро, Конни!» Поэтому теперь я лежал в кровати, пытаясь уснуть, а в голову лезли всякие неприятные мысли: сначала об унизительном проигрыше дурацким «Рейз», затем о том, как бездарно я провел вечер. Отверг все приглашения, пренебрег всеми бесконечными вариантами и возможностями — только чтобы посмотреть очередную игру регулярного сезона. А теперь на часах без четверти три, и рыпаться уже поздно. За окном стояла тьма, и я начал думать о том, как похожа будет эта ночь на последнюю ночь моей жизни, когда в моем распоряжении не останется никаких

вариантов. Ведь каждая моя ночь, в сущности, это ночь упущенных возможностей, закрытых дверей к новому и неведомому, к риску, к надежде, к жизни. Вот такие мысли крутились в моем мозгу, пока я тщетно пытался уснуть. В голове у меня разгорались войны, скрывались под водой долины, вспыхивали леса, разливались океаны, и буря уносила все сущее на дно моря; лишь считаные дни или недели оставались до того момента, когда весь мир, все милое, прекрасное и удивительное, что мы с ним сделали, канет в бездну и сольется с чернотой Вселенной. Разумеется, уснуть я не смог. Я вылез из постели. Проверил почту: от «СейрДизайна» ни ответа ни привета. Пожарил себе яйца и сварил кофе. Сидя на кухне, я снова ел и пил, ел и пил, чтобы набраться сил еще на несколько часов; вечно я ем и пью, чтобы набраться и сил, ем и пью, чтобы отвлечься от мыслей об абсолютной бесполезности всякого поддержания сил. Пусть я не один во всем городе бодрствовал в столь поздний час, я уж точно был один, кто отрубился сразу после бейсбольного матча и теперь не мог уснуть. Может быть, каким-то чудом в эту ночь тысячи других страдающих бессонницей людей обрели-таки сон, и теперь я бодрствовал один-одинешенек,

сидя за кухонным столом за несколько часов до рассвета и гадая, куда себя деть. Я подумывал позвонить Конни, но для этого надо было взглянуть на я-машинку и увидеть, что от Конни нет ни пропущенных вызовов, ни сообщений, и тогда я начал бы гадать, чем она занята, когда не пишет мне эсэмэс и не пытается дозвониться. Я невольно пришел бы к выводу, что она не только не хочет выходить со мной на связь, но и, скорей всего, вообще не думает о моей персоне. То, что Конни в такой час почти наверняка спит, не имело никакого значения. Да и вообще, даже если бы я позвонил, что я мог ей сказать? Ничего. Все, что можно было сказать, уже давно сказано. Так что звонить Конни нельзя. Я все равно позвонил, но она не взяла трубку. Конечно, ночь ведь на дворе. Она наверняка спит. Я повесил трубку. Потом взял из шкафа кассету с последней игрой, вставил ее в магнитофон и до самого рассвета смотрел бейсбол, перематывая всякий мусор и вновь гадая, как мы умудрились проиграть дурацким «Рейз».

Глава третья

В понедельник я подсел к Конни. Почти всегда, когда я подсаживался к Конни, она начинала мазать руки увлажняющим кремом. Я внимательно наблюдал, как она растирает руки — они были похожи на двух смазанных маслом зверей в брачном танце. У Конни было много единомышленников: чуть ли не в каждом офисе люди держали на рабочих столах баночки и тюбики с кремом, чуть ли не в каждом офисе тем утром люди начинали мазать руки. Я же никак не мог просечь фишку. Не сечь фишки — это невыносимо, однако я категорически ее не сек. Примкни я к рядам любителей увлажнения кожи, быть может, в моей жизни появилось бы множество маленьких незаметных радостей, и я бы наконец перестал быть несчастным циником-изгоем? Но нет. Я не мог просечь фишку, сколько ни бился. Ненавижу это ощущение влаги на руках, даже когда весь крем давно впитался в кожу. У меня нет никакого желания предаваться этому полезному или бессмысленному, но в любом случае неприятному занятию. По-моему, это отвратительно. Крошечная капля крема на кончике доза-

тора — отвратительна. Но в том-то и вся фишка. Почему я вечно смотрю на других со стороны, почему я всегда аутсайдер? Как я уже сказал, у Конни было множество единомышленников. Сотрудники медицинских клиник, юридических контор и рекламных агентств, промышленных предприятий, верфей и капитолиев штата, даже лесничеств и военных частей — все они мазали руки кремом. Они хранили некую общую тайну, я был в этом уверен. Они хорошо спали по ночам. Играли в софтбол. Они гуляли в мягких сумерках и рассказывали друг другу о событиях минувшего дня, а рядом бежала собака. Это приводило меня в ужас. Их беспечная праздность приводила меня в ужас. Такая непринужденная, такая естественная. И всякий раз я спрашивал себя: откуда эта мания, это неудержимое желание мазаться кремом в течение рабочего дня? Руки Конни танцевали и спаривались, распределяя тонкую пленку влажного лосьона по поверхности кожи. В самом деле, это выглядело так гротескно и непристойно, что заниматься этим следовало лишь наедине с собой, хотя бы в уборной. Да и зачем? У Конни прекрасные руки. Стариковские руки требуют крема, это видно даже невооруженным глазом. Они покрыты печеночными пятна-

ми, они костлявые, кожа на них истончилась, ссохлась и натянулась, они умирают. Однажды, сидя напротив Эбби у стоматологического кресла, я показал ей пальцем на руку пациентки (глаза у нее были закрыты, а рот разинут) и спросил: «Конни с этим пытается бороться?» Эбби есть Эбби, у нее не может быть мнения на такой счет. А если и может, со мной она ни за что не поделится. Порой мне кажется, что Эбби только и ждет, когда меня хватит удар. Тогда она наконец выговорится. Мои закатывающиеся глаза, перекошенная физиономия и стекающая изо рта слюна придадут ей уверенности, и, валяясь на полу, я услышу о себе всю правду без прикрас и купюр. Не переставая сверлить зуб пациентке, я спросил Эбби: «Вы увлажняете кожу, Эбби?» Она молча посмотрела на меня, словно бы говоря: «Увлажняю ли я кожу?!» «По всей видимости, это очень важно — регулярно смазывать руки кремом. И не только руки». И не только руки!!! Ох, какая чушь собачья срывается порой с моих губ! Идиотская невинная чушь, которую так легко неверно истолковать! Эбби никогда бы мне этого не сказала, но, разумеется, именно так она и подумала, мы оба подумали, да и старая карга в кресле тоже.

На каком-то этапе увлажнения руки Конни переключались на более низкую передачу. Лихорадочная возня сменялась нежными и плавными, осознанными движениями. Она достигала того момента, когда крем впитывался в кожу, переставал быть мерзкой жижей и теперь не способствовал скольжению, а замедлял его. Конни уже не просто размазывала крем, она тщательно напитывала им кожу, обрабатывая каждый палец и каждую бледную перепонку между ними. Она складывала ладони вместе, точно в некой сладострастной молитве, а затем разъединяла, чтобы пройтись вокруг большого пальца, — все это она делала внимательно и терпеливо, как бейсболист, обрабатывающий маслом новую перчатку. В завершение Конни почти неосознанно производила несколько ритуальных, бесшумных рукопожатий: одна рука стискивала вторую, затем вторая — первую, затем наверху снова оказывалась первая и так далее, и тому подобное. Любой свидетель этого ритуала ощущал неизъяснимую удовлетворенность от хорошо сделанного дела. Говорю без доли преувеличения: от этого зрелища у меня слезы на глаза наворачивались. Ну да, признаю, я не испытывал бы такого трепета, будь на месте Конни

Большой Рейнджер Джим. Именно Конни была причиной моих слез: глядя на нее, я жалел, что не могу на более интуитивном и глубоком уровне проникнуться маленькими слабостями окружающих меня людей, слабостями, которые так легко отвергнуть, сочтя глупыми и тщетными ритуалами самоутешения.

— Опять ты за свое, — сказала Конни, не глядя на меня.

— В смысле?

— Пялишься на меня. Объективируешь.

— Я тебя не объективирую.

— Ты всегда меня объективируешь. И идеализируешь. А потом разочаровываешься, когда понимаешь, что я — не совершенство. Не богиня. В этом, по-твоему, моя вина. Знаешь, как это бесит?

— Поверь мне, уж кто-кто, а я отдаю себе отчет, что ты — не совершенство.

— А зачем тогда разглядываешь? Как под микроскопом! Тебе самому не надоело? Особенно после заявления о том, сколь далека я от совершенства?

— Раньше я считал тебя совершенством, но те времена давно остались в прошлом.

— Тогда перестань пялиться, пожалуйста!

— Я хотел, чтобы ты рассказала мне про увлажняющие крема.

— Про увлажняющие крема?!

— Да, зачем ими мазаться.

— Это очевидно. Намазал руки — и сразу почувствовал себя лучше.

— А я не чувствую. Руки становятся липкими и мерзкими.

— Просто крем надо втирать. Долго и тщательно. После этого сразу становится хорошо. Рукам. Ты их увлажняешь.

— Но зачем? Все равно рано или поздно кожа истончится, усохнет и покроется печеночными пятнами!

— Главное — что ты делаешь с ними до тех пор. — Конни наконец развернулась и шлепнула меня ладошкой по лбу. Затем снова крутнулась к столу, обратила взор к Господу и вознесла руки в отчаянной мольбе — это выглядело почти комично, если б не тянулось так долго. — Выдави немного крема, хорошенько вотри и увидишь — твоим рукам сразу станет лучше.

— Лучше не буду.

— Конечно, не будешь. А вдруг понравится? Не дай бог тебе понравится такое глупое занятие, ведь рано или поздно руки все равно покроются

пятнами и усохнут! Лучше вообще никогда не получать удовольствия, чем радоваться всю жизнь, а в конце все потерять.

Я встал и ушел. Но потом вернулся.

— Ты мне не перезвонила.

— Пол, перестань звонить мне по ночам.

— Такое уж время суток. Я не в своем уме.

— Время суток — лишь часть проблемы.

— Я попытаюсь писать сообщения.

— Да я ни разу в жизни не получала от тебя сообщений!

— Потому что эсэмэски — для детей, ненавижу набирать эсэмэски, у меня от этого пальцы болят. Но я стараюсь, честное слово.

— Какая разница, звонки или сообщения? Пол, в три часа ночи и те, и другие могут означать лишь одно.

— Я звонил не для того, чтобы тебя вернуть. Ты же сказала, что мы останемся друзьями. Друзья иногда созваниваются.

— Мы больше никогда не будем вместе. Никогда.

— И вовсе не для этого я тебе звонил.

— А для чего?

— Бессонница. Опять.

Она посмотрела на меня во второй раз.

— Это больше не мои проблемы.

Словечко «подкаблучник», наверное, подходит. Оно вызывает соответствующие образы. Сразу представляешь себе эдакого размазню и тряпку, который на ночь снимает яйца, кладет их в тумбочку, словно зубные протезы, а сам укладывается под бок царице Нефертити — смотреть «Неспящие в Сиэттле». Если это про вас — прекрасно, благослови вас Бог. Обязательные спутники моих романтических увлечений: кровь, пот, лихорадка и перспектива оказаться за решеткой. Нет, я — не подкаблучник. Я — бабораб. В очередной раз попадая в рабство, я могу лишь надеяться, что выберусь живым. Как говорится, что меня не убивает, делает меня сильнее, — чтобы со свежими силами встретить очередной сокрушительный удар каблуком по яйцам, который наконец-то меня угандошит.

Быть баборабом — значит приходить без звонка. Или звонить в любое время суток. Признаваться в любви куда раньше, чем следовало — примерно на втором свидании, — и в дальнейшем повторять эти слова чересчур часто. А если объект обожания настораживается, удваивать ставку: посылать ей цветы и фрукты. Быть баборабом — значит верить, что ты наконец-то получил все,

чего тебе не хватало в жизни. Они заполняют собой огромную брешь, эти женщины, в которых я влюбляюсь, и я готов отдать им всю свою жизнь, всего себя — при условии, что они будут заполнять ее вечно. Страх утраты провоцирует меня на отчаянные поступки, после которых любая нормальная женщина опрометью бросается к двери. По-настоящему я попадал в рабство лишь четыре раза (и еще дюжину раз — не полностью или ненадолго): в пять лет, в двенадцать, в девятнадцать и, наконец, в тридцать шесть, когда в клинику устроилась двадцатисемилетняя Конни. Всякий раз — за исключением, пожалуй, самого первого, когда я был еще столь юн, что почти ничего об этом не помню, кроме ее имени (Элисон), беготни за ручку и безутешных рыданий под заваленными мусором трибунами, — мне никогда не удавалось остаться самим собой, сохранить свою суть. Что делало меня — мной? Учеба, «Ред Сокс», сознательный и решительный атеизм. Все это бесследно исчезало, оставляя за собой… что? Человек-то там был? Лично я его не видел. Я видел только одно сплошное беспредельное влечение. Девочка или женщина — сперва Элисон, затем Хитер Билайл, затем Сэм Сантакроче и, наконец, Конни, — поглощала

меня целиком и полностью, так что в итоге я мог сказать о себе только одно: я — Пол-который-любит-Элисон или Пол-который-любит-Конни. Поначалу это им льстило, разумеется, но все хорошее быстро умирало под градом идиотских поступков, за которыми стояла нужда, ревность, безотчетное неукротимое восхищение и одержимость, пугавшая родителей и друзей. Все, что я высоко ценил до встречи с объектом страсти, куда-то отваливалось, и я — докучливый одержимый маньяк — становился не мил не то что девушке, но и самому себе. Ясное дело, отношения заканчивались довольно быстро. Про Элисон вы уже все знаете — больше я ничего не помню. Вскоре после смерти отца я влюбился в Хитер. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что полюбил не столько Хитер, сколько ее папу, тренера школьной бейсбольной команды, который ездил на пикапе и всем демонстрировал бугристые вены на могучих руках. И, конечно, я полюбил Хитер за удивительное, неведомое прежде удовольствие — влажный девичий язык. (Я не мог представить, чтобы папа Хитер сидел часами в сухой ванне, глядя на желтеющую затирку между плитками, а потом мчался с ней в торговый центр и покупал десять пар кроссовок, которые

закапывал в яму во дворе многоквартирного дома, пряча их от миссис Билайл.) Помню выходные по случаю Президентского дня, которые я провел в гостях у Хитер: мы целовались у нее в гараже, а во время обедов и ужинов я любовался венами на руках мистера Билайла, крутившего ручку переносного радиоприемника. Все закончилось очень быстро: в самом начале учебного года Хитер ушла от меня к мальчику с дурацкой стрижкой. Лишенный ее языка — первого языка, который мне довелось попробовать, открывшего мне чудеса и прелести человеческого рта и отчасти повинного в моем выборе профессии, — я был потрясен, огорошен, раздавлен и зол, что сперва моего отца, а теперь и мистера Билайла отняла у меня некая непредсказуемая и непримиримая сила. Я поступил так, как на моем месте поступил бы любой: прошел пешком дюжину миль до торгового центра, сел на заднее сиденье незапертой машины Билайлов, проехал с ничего не подозревающей дуэньей еще дюжину миль, долго ждал в гараже подходящего момента, затем вошел в ее дом, нашел кладовку, помастурбировал там, уснул, а утром вышел прямо к семейному завтраку.

Саманта Сантакроче захватила меня в куда

более изощренное рабство, закончившееся моим уходом из университета Мэна в Форт-Кенте и судебным запретом появляться на территории кампуса. Наш роман продлился одиннадцать недель, в ходе которых мы оба поняли, что наши души наконец очнулись от забытья, а сердца впервые застучали в полную силу. Мы мгновенно слились в одно целое, и даже дорогу до аудиторий выбирали из того расчета, чтобы как можно меньше времени проводить в разлуке. Мы вместе ели, учились и спали, а ночью переговаривались шепотом, чтобы не разбудить ее соседок по комнате. Мы пили из одной чашки и соломинки, чистили зубы одной щеткой. Ели дыню друг у дружки прямо изо рта. Смотрели кино и футбол, укрывшись одним одеялом, сидели вместе в студенческом клубе, время от времени отрываясь от домашних заданий, чтобы непристойно глазеть друг на друга. Сэмми постоянно сосала леденцы на палочке. Больше всего на свете я любил этот постук карамельного шарика о ее крепкие белые зубы. Палочка в ее губах становилась мокрой и блестящей, и в один прекрасный миг Сэм сжимала крошечный шарик коренными зубами, раздавливая его на сотни сладких осколков, которые потом крутила во рту до полного исчезновения.

Палочка отправлялась в пустую банку из-под диетической колы (где уже лежали фантики и комочки жвачки), и Сэм проводила кончиком языка по внутренней поверхности зубов, проверяя, не затерялся ли где-нибудь случайный осколок леденца. Если осколок обнаруживался, она вытаскивала его из укрытия и разгрызала клыками, после чего слизывала с губ сахарную пленку: сперва с верхней, пухлой и двуверхой, затем с нижней, расположенной прямо над безупречным вертикальным отвесом — ямочкой на подбородке. О характере и истинной сущности Саманты Сантакроче я не знал ровным счетом ничего. Я лишь хотел вечно жить на вершине ее блестящей красной нижней губки, этого алого мыса: зимой согреваться сахарным дыханием, а летом купаться в лучах того же солнца, от которого по ее щекам рассыпались веснушки.

Одно я знал про Саманту Сантакроче (потому что это знание она впечатывала в мой мозг на каждом шагу): она неистово и горячо любила своих родителей, что никак не укладывалось у меня в голове, ведь сам я то и дело порывался спрятать любые сведения о своих предках за плотную завесу стыда. Сэмми говорила о своих родителях так, словно по собственному желанию

планировала провести с ними остаток вечности, и учеба в университете была для нее не столько порой мятежа и самопознания, сколько вынужденной разлукой с любимыми. Я почти ревновал ее к родителям. Отец Сэм, Боб Сантакроче, белокурый верзила, успешно торговал мебелью и утром любил помахать клюшкой на поле для гольфа. Барбара воспитывала Саманту (и младшего Ника), а в свободное время занималась теннисом и благотворительностью. Еще до встречи с ними я успел узнать о них очень много: в первые же дни нашего знакомства с Сэм я возвел их в ранг героев, а через неделю превратил в небожителей. Ко Дню благодарения, когда мы наконец встретились (я планировал объявить им о скорой помолвке. «Чего-чего?! — вопросила Сэм, узнав о моих планах. — Какая еще помолвка?»), я был напуган до потери пульса, восхищен и влюблен в них не меньше, чем в саму Саманту. Сантакроче представлялись мне идеальной католической семьей с безукоризненным домом, опрятным гаражиком, тенистыми дубами во дворе и семейными портретами на стенах. Они отпустили бы мне все грехи и отменили бы мое несчастливое детство. Как чувства к Хитер Билайл, так и чувства к Сэм Сантакроче отличались этим допол-

нительным оттенком, не имеющим никакого отношения к нашему совместному увлечению собаками и «Лед зеппелин», а также к ее белокурой короткой стрижке «под пажа» и вкусу ее алых губ. В семье Сантакроче не могло быть похорон, на которые не явился никто из родственников, равно как и поисков четвертака под задним сиденьем, сдачи макулатуры и алюминиевых банок, визитов к бесплатному психологу и суицидов. Я любил Сэмми и хотел жениться на ней, но еще я очень любил мистера и миссис Сантакроче и хотел стать их сыном и жить до конца дней под благословенной сенью их семейного счастья. Я принял бы Бога в свое сердце, стал бы католиком, проклял аборты, пил бы мартини, восславлял доллар, помогал бедным и не зря бы коптил небо — словом, делал бы все, что столь выгодно отличало Сантакроче от О'Рурков.

Но Сэм решила иначе. Мы бежали рука об руку к пропасти вечной любви, когда она вдруг остановилась, а я побежал дальше один, по инерции, и завис на секунду над пропастью, как в дурацком мультфильме, и рухнул вниз. Я не видел очевидного — или сознательно закрывал глаза? — хотя мои многословные и страстные признания в любви давно уже не находили столь же

страстного отклика со стороны Саманты, а вскоре и вовсе начали оставаться без ответа. Я пытался понять, что случилось, чем я провинился. А вина моя была лишь в том, что я продолжал заниматься тем же, чем мы с Сэм занимались одиннадцать недель подряд, — то есть безраздельно посвящать себя другому. Она внезапно остановилась, а я не смог, что само по себе уверило ее в оправданности расставания. У меня больше не было своего «я», кроме того, что изнемогало от любви к Саманте, а такие «я», как всем известно, чаще становятся объектами ненависти, нежели любви.

Догадываюсь, что мое поведение начало ее пугать. Я ничего такого не делал, всего лишь сидел часами под ее дверью и плакал, а когда она наконец меня впускала, пытался взять себя в руки и побороть слезы, которые в ее присутствии становились менее истеричными, но не исчезали. Пару раз ее соседки и она сама обнаруживали меня непосредственно в квартире. Я безобидно лежал на кровати Сэм и рыдал в ее нестираные наволочки. Никого не трогал. И все же такие сюрпризы им не нравились. В первый раз я поклялся никогда больше этого не делать и отдал ключи. Но, разумеется, у меня была копия,

и вскоре я повторил подвиг, ибо не умел жить без Самантиных наволочек, и мысль, что Сэм существует сама по себе, без меня, будила во мне тошноту. Я не мог просто проникнуть в комнату, надышаться ее бельем, потрогать вещи, понюхать крема, посмотреть семейные фотоальбомы и мирно уйти, потому что уйти я не мог. Комната Сэм стала единственным местом на всем белом свете, где я хотел быть, с ней или без нее. А поскольку Сэм больше не желала быть со мной, я приходил в эту комнату один. Во второй раз Сэм вызвала университетскую полицию. За мной приехала мама. Она испугалась за меня, они все испугались, потому что я был никто, я был Пол-который-любил-Сэм, верней, Пол-который-любил-Сэм-без-самой-Сэм, то есть даже хуже, чем никто. Я видел Бога, но Бог ушел.

Некоторое время спустя, когда я более-менее пришел в себя и окончил два семестра в другом филиале университета Мэна, Сэм нашла меня и сообщила, что жалеет о случившемся. Она жалеет, что мы расстались, потому что ни один мужчина — ни до, ни после меня — не любил ее столь беззаветно и искренне. Она наконец поняла, как это важно, и умоляла дать ей второй шанс. Она спросила, люблю ли я ее, и я ответил,

что люблю. Полгода спустя мы жили вместе — без благословения ее родителей, но мне было все равно, да и ей тоже. Нет, на сей раз я не попал в рабство, просто влюбился. А главное, я был потрясен: потрясен, что Сэм Сантакроче вернулась ко мне и любит меня даже сильнее, чем прежде. Какой неожиданный поворот судьбы!

Наши отношения продлились около года, и за этот год мы несколько раз ездили в гости к ее родителям. Я изо всех сил пытался увидеть их прежними глазами. Но в тот первый раз я все испортил и уже ничем не мог заслужить прощения. Они меня не одобряли, а раз они не одобряли меня, повзрослевшего и образумившегося, значит, они не одобряли весь мир. Так оно и было. Они осуждали и порицали всех без разбора. Сантакроче занимались благотворительностью и раздавали еду бедным, но самих бедных они презирали. Они обвиняли гомосексуалистов в развращении Америки, афроамериканцев и работающих женщин, подозреваю, тоже. Старик Сантакроче, дедушка Сэм, питал какую-то сверхъестественную ненависть к Рузвельту, а ведь его считают одним из величайших президентов США. Да и умер он давно. Когда по телевизору показывали Билла Клинтона, мама Сэм уходила

из комнаты, так он ей был противен. Я этого не понимал, и вскоре мое истинное «я» вновь заявило о себе. Неужели когда-то я хотел стать католиком ради этих троглодитов? В отместку я заставлял Сэм выслушивать длинные тирады о лицемерии католиков и бесполезности христианства в целом. А однажды вечером за семейным ужином я заявил, что не верю в Бога. Все Сантакроче с ужасом воззрились на меня. Сэм выбежала из столовой вслед за матерью, которая громко проклинала меня из соседней комнаты и называла Сатаной. Двери их дома навсегда для меня закрылись. Нельзя сказать, что я очень расстроился. Вскоре наш с Сэм роман подошел к концу. Родители велели ей выбирать — я или они, — а бросить людей, которые воспитывали ее и любили больше жизни, она не могла. Конечно, мне было грустно расставаться с Сэм, хоть мы были и не пара, но зато я радовался, что после отмены рабства все же могу вернуться к своему прежнему «я», что оно вообще у меня есть, пусть размытое и склонное к исчезновениям.

Сначала Конни устроилась в «Стоматологию доктора О'Рурка» на временной основе. В первый же ее рабочий день я почуял неладное.

В конце второго предложил уйти из агентства по временному трудоустройству и взять полный рабочий день. За это она получит прекрасную заработную плату, соцпакет и бесплатное лечение зубов в одной из лучших клиник города. Я предложил ей куда более высокую зарплату, чем получают секретари и администраторы где бы то ни было. Да, мое «я» меркло очень быстро. Но в последний миг я чудом вспомнил об ошибках прошлого, вспомнил о самоуважении и на сей раз вошел на орбиту прекрасной незнакомки куда медленней, с достоинством и осторожностью. И с осознанием, что это — невиданный успех. Когда Конни устроилась в клинику на постоянной основе, я сознательно завалил себя работой, ведь во многом мое истинное «я» состояло из стоматолога, который каждый день и весь день напролет (а по четвергам — и того дольше) лечил пациентов и который нес ответственность за собственное дело, своих подчиненных и ежемесячный доход в размере сорока тысяч долларов. Глуп. Поэтому, хоть я и угодил в рабство, на сей раз я попробовал новую тактику. Я молчал. Изо всех сил изображал равнодушие. Я вел себя сдержанно и хладнокровно — ну хорошо, не хладнокровно, просто сдержанно.

По утрам я появлялся в клинике, окутанный аурой таинственности и страдания, а вечерами уходил домой спокойный и печальный. Я ловко использовал все свои козыри: вернул пиццу по пятницам, почтительно обращался с миссис Конвой и держал все замечания и жалобы при себе, словно монах, в любой миг прибегающий к помощи молитвы. Конечно, это был спектакль, а вы что подумали? Любовь делает мужчину благородным. Подумаешь, что благородство это мы проявляем по отношению к самим себе. Подумаешь, что после неизбежного угасания чувств мы возвращаемся, подобно заядлым игрокам и алкоголикам, к своим первоначальным «я»!

Целых полгода мне удавалось скрывать свои чувства от Конни, шесть долгих и мучительных месяцев. А потом, после очередных посиделок в баре («пирушка за счет клиники»), мы оба не выдержали: из нас полились похотливые признания. Так мы стали парой.

Тогда я, должно быть, казался ей настоящим принцем. Стоматолог. Профессионал. Со своей квартирой. Я не признался, что от моего истинного «я» к тому моменту уже ничего не осталось, а она не заметила. И не замечала, пока оно не заявило о себе. Тогда-то все и покатилось к чертям.

Посмотрев, как Конни намазывает руки кремом, я вернулся к работе. В то утро я лечил старушку с болезнью Паркинсона, которую привел и посадил в кресло ее сын, сам уже давно не мальчик. Старушку жутко трясло. Она не могла даже держать рот открытым. Я вставил подпорки, но с ними она не могла глотать. Эбби не выключала слюноотсос ни на секунду, однако бледно-розовые мышцы глотки моей пациентки все равно то и дело сокращались. Я подумал, что она похожа на приговоренного к высшей мере наказания, моя пациентка с Паркинсоном: после долгого пребывания в шумной и неспокойной тюрьме ее ждала смерть. В то утро она пришла ко мне, потому что за завтраком, откусив кусочек поджаренного хлеба, она потеряла зуб. Сын так и не смог найти пропавший обломок. Он долго и бурно извинялся, как будто чем-то подвел мать. Люди все время приносят мне обломки зубов, словно это свежеотрезанные пальцы, думая, что я смогу каким-то образом приделать их обратно. Знайте на будущее: если у вас сломается зуб, выбросьте его в мусорное ведро. Или положите под подушку. Вернуть его на место уже нельзя. Я объяснил это сыну, и тот сразу успокоился. Потом я заглянул в рот его

матушке — дрожащий рот, мучимый тщетными попытками сглотнуть слюну, рот, жить которому оставалось год или два, — и обнаружил там все признаки редкого, но мгновенно диагностируемого заболевания, вызванного химиотерапией: остеонекроз челюсти. Моя приговоренная пациентка теперь могла добавить к списку своих смертельных заболеваний — раку и Паркинсону — синдром мертвой челюсти. Челюсть ее настолько размякла и сгнила, что поджаренный хлеб вогнал зуб обратно в кость, где тот сейчас и находился. Я взял щипцы и вытащил его, не причинив пациентке ни малейшей боли.

— Вот он, — сказал я.

В дверях появилась Конни с айпадом.

— Слушаю.

— Подойдите на минутку, когда сможете.

К тому времени у нас уже появились айпады, да. А за год до того мы купили новые компьютеры. А двумя годами раньше к нам пришли ребята из «Дентека» и установили новейшую систему, чтобы в компьютерном отношении мы могли делать все лучше, чем — в компьютерном отношении — могли делать раньше. Почти всегда, приобретая что-то для усовершенствования офисной работы, мы совершаем рациональный

выбор, основанный на анализе затрат и результатов. Однако стоит каким-нибудь новым технологиям замаячить на горизонте, нас охватывает смертельный ужас: мы боимся не успеть заполучить их при первой же возможности.

— Я только хотела спросить, — сказала она, когда я вышел в коридор, — читал ли ты свою биографию?

— Что?

— Страничку с биографией на нашем сайте.

Я выхватил у нее айпад.

— Это безумие какое-то! У них были целые выходные, чтобы убрать сайт. И на мое письмо они так и не ответили!

— Ты читал свою биографию?

Я вновь задался вопросом: кто мог такое устроить? Может, я насолил какому-нибудь пациенту? Нагрубил временному сотруднику?

Меня осенило.

— Знаешь, кто это может быть?!

— Кто?

— Аноним!

— Какой еще аноним?

Я напомнил ей про жулика, который не смог расплатиться за мост и принялся оставлять в Сети мерзкие комментарии о моей работе.

— Это было почти два года назад… Думаешь, он до сих пор?..

— Так нечестно! И потом, козявки иногда очень быстро появляются, не успеваешь среагировать…

— Прочитай свою биографию, — сказала она.

Доктор О'Рурк — профессиональный врач-стоматолог. Опыт работы более десяти лет. Уроженец штата Мэн, он всегда следит, чтобы его методы лечения соответствовали высочайшим стандартам качества, а чуткое и бережное отношение к пациентам в сочетании с высокой квалификацией обеспечивают приятную и доброжелательную атмосферу в клинике.

Я посмотрел на Конни.

— Человек, который это написал, хорошо знает меня и клинику, — съязвил я.

— Читай дальше, — сказала она.

Заканчивалась биография весьма странным пассажем:

Подойди же, друг, и я вступлю с тобой в вечный союз и произведу из тебя великий народ. Но отврати людей своих от этих воевод и никогда не делай врага из них от имени моего. И если будешь помнить ты о союзе, ты не исчезнешь.

Но если ты сделаешь Бога из меня, и станешь мне поклоняться, и пошлешь за гуслями и тимпаном, чтобы пророчествовать о мыслях и замысле моем, и пойдешь сражаться, тогда ты исчезнешь. Ибо человек не может познать меня.

— Это еще что за белиберда?! — Я искательно уставился на Конни. — Какая-то цитата из Библии?

— Похоже.

— Почему это размещено на моей странице?

Она пожала плечами.

— На твоей тоже такое есть?

Она помотала головой.

— А у Бетси? У Эбби?

— Только у тебя.

— Я же не христианин! И вообще не верующий! — воскликнул я. — Цитаты из Библии на моем сайте совершенно неуместны. Кто это сделал?!

Конни забрала у меня айпад.

— По-моему, тебе стоит поговорить с Бетси.

Миссис Конвой всегда носила в сумочке потрепанную и зачитанную Библию — с разноцветными подчеркиваниями внутри, разумеется. На зеленом кожзаменителе обложки красова-

лось ее полное имя золотыми буквами: Элизабет Энн Конвой. Эта Библия принадлежала ей уже больше сорока лет, со дня ее первого причастия, и олицетворяла собой все противоречивые чувства, которые я испытывал к миссис Конвой. С одной стороны, она представлялась мне эдакой всезнайкой, экспертом в любых областях, и ее авторитетный тон вкупе с надменным взором рождались главным образом из этого архетипа всезнания, Библии. Но иногда я случайно замечал этот том, верно дожидавшийся хозяйку в открытой сумочке, и миссис Конвой превращалась из дракона в кроткую серую мышку, Элизабет Энн Конвой, безропотное создание, столь мало мнившее о себе, что даже вид собственного имени на Священном Писании заставлял ее прослезиться. Я представлял себе эту неуклюжую, робкую девочку и хотел сказать ей, что Бог ее любит. Мне вовсе не хочется, чтобы люди, в том числе Бетси Конвой, в глубине души считали себя безобразными, нелюбимыми, бесполезными и отвратительными чудовищами. Уже одна вера в то, что тебя любят, оправдывает существование религий. Спасибо Богу за Бога! — думал я. Какой труд Он проделывает, какую любовь распространяет вокруг. Страдания одиноких людей, калек

и нищих не должны пронзать сердце сочувствующего наблюдателя суицидальной жалостью, ибо Господь любит всякого: и одиночку, и калеку, и нищего. Благодаря Богу авторитарные драконихи, морализаторы и прочие назойливые сволочи тоже могут познать любовь.

— Я уже говорила, — сказала Бетси Конвой, когда я поднял злободневную тему, — я тут ни при чем! Думаете, я способна на ложь?

— Я не знаю, что думать, Бетси. Сначала я обнаружил, что кто-то против моей воли сделал веб-сайт моей клиники, теперь на странице с моей биографией размещена какая-то религиозная околесица! А вы человек, который знает Библию.

— Но это же не значит, что я умею делать сайты!

— Я и не говорю, что вы его своими руками сделали.

— Я вообще не имею к нему никакого отношения! Цитату из Библии я тоже не выбирала. А если бы мне предоставили выбор, я бы подыскала что-нибудь другое.

— Что это за текст вообще? — спросил я.

Бетси Конвой еще раз взглянула на экран айпада. Когда миссис Конвой что-нибудь читала про себя, крохотные волоски вокруг ее поджатых

губ начинали вилять и покачиваться, вбирая каждое слово. Она была похожа на гусеницу, пожирающую зеленый лист.

— «*Если ты сделаешь Бога из меня,* — прочла она, — *и станешь мне поклоняться, и пошлешь за гуслями и тимпаном, чтобы пророчествовать о мыслях и замысле моем, и пойдешь сражаться, тогда ты исчезнешь*». Вряд ли Иисус мог такое сказать.

— Тогда откуда это?

— Может быть, из Ветхого Завета. Слишком уж строгие слова, почти жестокие. Очень по-иудейски.

Она вернула мне айпад.

— По-моему, вам стоит поговорить с Конни.

Если бы в Интернете меня изобразили евреем, а не христианином, я бы не так расстроился. Все равно бы расстроился, конечно, потому что я отнюдь не еврей, но так было бы лучше. Можно быть светским евреем, в конце концов, и хотя им я тоже не являюсь, потому что моя мать не была еврейкой, а обращение в иудаизм ради того, чтобы стать светским евреем, лишено смысла, все-таки быть нерелигиозным христианином вообще нельзя. Такого понятия не существует. Ты либо веришь в Спасителя и все Его чудеса и проро-

чества, либо нет. Впрочем, говорить о светских христианах тоже глупо, ведь, чтобы быть христианином, практически ничего делать не нужно. Еврею, даже светскому, приходится за один седер сделать больше, чем набожному христианину за целый год. Новорожденному безразлично, появляется он на свет евреем или христианином, но по мере взросления все меняется. Христианин может отречься от своих религиозных корней и стать атеистом, буддистом или старым добрым никем, однако еврей — по причинам, недоступным моему пониманию, — всегда остается евреем, евреем-атеистом или евреем-буддистом. Некоторые мои знакомые евреи — к примеру, Конни — не желали принимать эту данность, но, как нееврей, я мог позволить себе роскошь зависти: я завидовал их беспомощности перед судьбой, их заведомо известной конфессиональной и национальной принадлежности, поэтому я и предпочел бы оказаться липовым евреем, нежели христианином — последнее было в высшей степени оскорбительно и неприятно.

До знакомства с Конни я вообще ничего не знал об иудаизме. Я даже не знал, можно ли вслух произносить слово «еврей». На мой гойский вкус это звучало очень грубо, даже обидно, особенно

если доносилось из моего собственного гойского рта. Я переживал, что если какой-нибудь еврей услышит это слово в моем исполнении, он тут же подумает о давних стереотипах и возрождении былой вражды. Таково наследие Холокоста, его второстепенный, но весьма ощутимый побочный эффект: американцы, рожденные спустя много лет после Второй мировой и почти ничего не знающие о евреях, боятся обидеть их словом «еврей».

Мое взаимодействие с евреями до знакомства с Конни ограничивалось заглядыванием в их рты. Рот еврея, поверьте, ничем не отличается от рта христианина. Для меня все люди — один большой рот. Один открытый, брызжущий слюной, несчастный, недовольный, раздраженный, медленно разлагающийся рот. У всех одинаковый кариес, одинаковые воспаления, одинаковый пульпит, одинаковые пульсирующие боли, одинаковые жалобы, одинаковые неприжившиеся имплантаты, одинаковая судьба. Вот послушайте, что я тогда знал — думая, что ровно столько и буду знать до конца жизни, — о евреях: этот народ подарил миру леворукого питчера по имени Сэнди Коуфакс, трехкратного обладателя приза Сая Янга, который двенадцать лет отыграл

за «Доджерс» и ненавидел «Янкиз» всей душой, как и подобало истинному американскому герою.

Конни родилась в семье консервативных евреев, и мне, как ни странно, понравилось отмечать в их кругу Высокие праздники, соблюдать пост в Йом-Киппур и даже высиживать чрезвычайно длинные службы, ведь мне все это было в новинку. Чего не скажешь о Конни, которая давно была светской еврейкой и имела сходные с моими взгляды на религию, пусть и не могла вслух произнести: «Я не верю в Бога». Причиной тому были не суеверия или рудименты веры, а, скорее, страх перед любыми решительными и категоричными заявлениями. Конни предпочитала называть себя непрактикующей атеисткой. Это давало ей право на редкие религиозные вкрапления в стихах — стихи, как известно, порой этого требуют.

Она была почти полной противоположностью Саманты Сантакроче, которая считала католическую веру единственно правильной верой, а свою семью видела эдакой рождественской открыткой-раскладушкой, где все были в сочетающихся по цвету нарядах, а мужчины лучились здоровьем истинных гольфистов в форме от «Тайтлист». Хотя я уже много лет не считал

семью Сантакроче образцовой (обнаружив под слоем хакстейбльского лака цинизм, продажность и глубоко укоренившиеся предрассудки), все же открытая любовь Сэм к своим родным по-прежнему казалась мне наглядным примером замечательного душевного равновесия. Жаль, не все могут похвастаться такой незамутненностью. Больше всего мне хотелось этого для Конни, потому что ее семья этого вполне заслуживала. Однако Конни так не считала. Традиции — скукотища! Родственники — психи ненормальные. И все носятся с этим Богом. Как меня до сих пор не достала вся эта религиозная чушь?

Религиозная чушь меня не достала, потому что не имела никакого отношения к распятому на кресте бедолаге. Иудаизм не задыхался от собственного самодовольства, ему были чужды навязчивые темы наказания, Воскресения и Преосуществления, логические нестыковки, связанные с Троицей, долгие кровопролитные войны и инквизиция, запугивания паствы вечными муками, сексуальное ханжество и чувство вины, упорно насаждаемые пуританские нравы, чувство собственного превосходства и запрет на всякое проявление любознательности, но прежде всего — воинственность, готовность

убивать во имя рождественской елки и десяти заповедей. Вместо всего этого у семьи Плотц были молитвы и песни, догмы которых скрывались за ивритом; тысячелетние ритуалы и традиции, прошедшие испытание огнем и временем; увлеченные беседы за субботним столом; дальние родственники, болтающие друг с другом как родные братья и сестры; споры с пеной у рта и разбрызгиванием недожеванной пищи; глубокомысленные и ученые замечания посреди непринужденного разговора; после ужина — душещипательные и шумные расставания, от которых недолго и охрипнуть (если это не случилось прежде, за ужином). Все это мне очень даже нравилось, и в этом заключалась основная проблема.

Конни ни разу не дала мне повода взломать дверь ее квартиры, мастурбировать в кладовке чужого дома, звонить ее матери (как я однажды позвонил маме Саманты Сантакроче) или в отчаянии твердить зловещие слова («Голоса… опять эти голоса…»). Конни любила меня сильнее, чем все предыдущие владычицы моей души, и хотя это тоже было по-своему плохо — к примеру, я начал подозревать, что ради любви она столь же эффективно душит свое истинное «я»,

как я — свое, и очень скоро для нас обоих наступит день великих открытий, — я мог вести себя как взрослый здравомыслящий человек, уважающий личное пространство других людей. Я не стал возводить на пьедестал Ракель и Говарда Плотца, как возвел в свое время Боба и Барбару Сантакроче, а до них — Роя Билайла и его бугристые вены. Я вел себя хорошо. Но в какой-то момент я начал зацикливаться на обширной семье Конни, и чувство это было сродни тому, что я испытывал в обществе Сантакроче и Билайлов: заискивающее, полубезумное желание стать членом этой семьи, причем полноправным и уверенным в себе, быть в состоянии легко и непринужденно потянуться за миской с вареной морковкой или картофельными чипсами, растянуться на ковре и делиться своими соображениями по любому поводу (которые бы идеально совпадали с их собственными соображениями), распахивать объятья и оказываться в объятьях, а в конце вечера слышать в свой адрес: «Мы тебя любим, Пол». Больше всего на свете мне хотелось стать этим «мы». Раствориться в нем без остатка, стать частью чего-то бóльшего, вечного. Частью единства. Членом клана. И семья Конни безупречно соответствовала этому «мы».

Она состояла из основного ствола — матери, отца, братьев и двух сестер — и ветвистой кроны: всевозможных дядюшек, тетушек, двоюродных и троюродных братьев-сестер, племянниц, племянников, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек… словом, я в жизни не встречал такой огромной семьи. Внутри кишащей, размазанной по всей планете массы людей я обнаружил сплоченное кольцо, пульсирующее сердце, основной задачей которого была, как мне казалось, борьба с горем и лишениями. Конечно, кто-то время от времени умирал, и среди молодежи встречались отступники, курившие траву и презиравшие свои корни. Но то были исключения. Плотцы заботились друг о друге. Они давали непрошеные советы, лезли в чужие дела и сплетничали, волнуясь то за одного, то за другого, спасали друг друга и, разумеется, во что бы то ни стало собирались вместе: на бармицвы, годовщины, важные дни рождения, Песах и Высокие праздники.

Хотя Конни неизменно закатывала глаза и изображала смертельную скуку, когда мы проводили время с ее семьей, я всячески поддерживал ее любовь к родным и вскоре стал свидетелем ее особых, нежных и близких отношений с ро-

дителями. Она дразнила своих сестер и брата, смеялась над кузенами, а к старшим относилась так, словно ее научили этому в какой-нибудь маленькой деревушке в черте оседлости. И еще она яростно защищала меня, своего шейгеца. Если бы она в итоге вышла замуж за нееврея, конечно, никто в семье бы не обрадовался. Они бы приняли решение Конни, как приняли однажды ее секуляризацию, но втайне бы надеялись, что однажды она вернется, а я обращусь в иудаизм — конечно, этого бы никогда не произошло, ведь я не верю в Бога. Я со своей стороны не оскорблял их громкими заявлениями о собственном атеизме, потому что любил их. Я пытался ничем не выдать своей любви, потому что не хотел показаться Конни отчаявшимся холостяком и потому что считал ненормальной эту свою слабость к дружным консервативным семьям девушек, покорявших мое сердце. Я устал без конца отдавать себя на милость этим ничего не подозревающим адресатам моей иррациональной любви. Я хотел быть как те бойфренды криминального вида, что сидели за семейным столом из чувства долга и, сами того не подозревая, становились объектами всеобщих насмешек. Они купались в блаженном молчаливом неведении, не слышали, о чем шепчутся

за их спинами, а девушки за это любили их еще сильней. Даже если бы мне удалось не встречать каждое слово любого Плотца идиотской широкой улыбкой, не хохотать громче всех над шутками и не рассылать подарки на следующий день после семейного ужина, я бы все равно никогда не стал эдаким образцом угрюмой мужской состоятельности. Из-за безудержного внутреннего энтузиазма я бы все равно чувствовал себя счастливой шлюхой за семейным столом Плотцев. На свадьбе сестры Конни я плакал — со слезами. На пирушке после церемонии я напился вдрызг и ходил от одного Плотца к другому, восхищаясь их туфлями, галстуками и успешным бизнесом по торговле медицинским оборудованием. Я танцевал хору — народный хороводный танец, во время которого танцующие сажают жениха и невесту на стулья, а потом много раз поднимают и опускают. Честное слово, я лично поднимал стул жениха (хотя самого жениха даже не знал), и кружил по комнате до одури, и был счастлив.

Когда танец закончился, я не смог найти Конни и сел за стол перевести дух. Ко мне подошел ее дядя Стюарт.

— Здорово, Стю! — сказал я и тут же горько пожалел об этом. Назвать такого человека «Стю»!

У меня была отвратительная привычка — сокращать некоторые мужские имена в явной попытке как можно скорее подружиться с их обладателями. Причем это желание будили во мне не сами имена, а люди. Дядя Стюарт был невелик ростом, но его присутствие в комнате ощущали все. По натуре он был тихим человеком, однако стоило ему заговорить, все прислушивались. Старший брат, патриарх, бессменный ведущий пасхального седера.

Впрочем, допускаю, что мое фривольное «Стю» не имело никакого отношения к тому, что случилось дальше. Может, он просто случайно услышал комплименты, которые я весь вечер расточал родственникам Конни, и счел мой восторг чрезмерным. А может, ему не понравилось, как лихо я отплясывал хору. Как бы то ни было, он подсел за стол (оставив между нами один пустой стул) и медленно склонился ко мне. До того момента я был убежден, что он вообще не знает о моем существовании.

— Ты знаешь, кто такие филосемиты? — спросил он.

Я ответил:

— Наверное, люди, которые любят евреев?

Он важно кивнул. Кипа сидела у него на ма-

кушке как приклеенная.

— Хочешь анекдот?

Дядя Стюарт не производил впечатления человека, который любит травить анекдоты. Может, он знал, что анекдоты люблю я?

— Ага. С удовольствием послушаю.

Он смерил меня долгим взглядом — таким долгим, что от этого взгляда музыка затихла у меня в ушах, а сияние его глаз затмило свет люстр.

— Сидит еврей в баре. Тут заходят антисемит и филосемит, — наконец проговорил он. — Перед этим они поспорили, кто из них больше понравится еврею, кого он выберет. Антисемит убежден, что еврей выберет его, а не филосемита. Филосемит не верит. Как еврей может выбрать человека, который готов стереть все его племя с лица земли? В общем, подсели они к нему и попросили их рассудить. Еврей поворачивается к филосемиту, показывает пальцем на антисемита и говорит: «Я выберу его. Он хотя бы говорит правду».

Дядя Стюарт не рассмеялся, даже не улыбнулся. Мой же смех — громкий, но вполне вежливый — в следующий миг застрял у меня в горле, потому что дядя Стюарт встал из-за стола и ушел.

— При чем тут я?

— Она говорит, Иисус такого сказать не мог. Она думает, это что-то иудейское.

— Иудейское?!

— Ну да, из Ветхого Завета.

— А, ну если иудейское, то это, конечно, я написала. Я ведь тут единственная еврейка.

— Можешь хотя бы еще разок прочитать текст и сказать, действительно ли это цитата из Ветхого Завета?

— По-твоему, я всю Библию наизусть знаю?

— Сколько лет ты, говоришь, проучилась в еврейской школе?

— И поэтому я теперь великий спец по Ветхому Завету?

— Конни. Пожалуйста.

Она еще раз перечитала абзац.

— По-прежнему считаю это галиматьей, которую мог бы сказать Иисус, чтобы все вокруг запищали от восторга. Впрочем, может, это и правда что-то из Ветхого Завета. Погугли.

Из нас двоих Конни была Человеком, Который Гуглит. Это часто помогало нам решать насущные проблемы. Например, в ресторане, когда мы оба вдруг забывали, чем отличаются ригатони от пенне, Конни забивала в поиск «чем отличаются ригатони от пенне» — и вуаля, ответ появлялся

на экране. Нам больше не нужно было выслушивать идиосинкразические речи официантов, столь богатые сравнениями и мучительными отступлениями от темы. Я-машинка выдавала нам простой и четкий ответ. Или вот, допустим, мы пили вино, и я спрашивал Конни (она лучше разбиралась в винах, чем я): «А белому вину тоже надо давать подышать, как и красному?» Конни не знала — или знала, но забыла, а теперь очень хотела вспомнить, — поэтому сразу же, не отходя от кассы, залезала в телефон и находила там массу полезной информации не только о том, нужно ли белому вину дышать, но и о разных сортах винограда, танинах и различных способах насыщения вина кислородом. Все это она беспорядочно зачитывала вслух, рассеянно и не глядя на меня. Еще Конни часто забывала, какой актер снялся в том или ином фильме, кто спел ту или иную песню, развелись такой-то и такая-то или еще нет… Чтобы все это узнать, она запросто прерывала наш разговор и утыкалась в я-машинку. Долгие попытки вспомнить о чем-то самостоятельно, немного подумать, были ей непонятны. Зачем спекулировать, когда можно пару раз кликнуть по экрану и получить точный ответ? Это сводило меня с ума. Я никак

не мог свыкнуться с мыслью, что с нами за столом теперь всегда сидят Википедия, About.com, IMDB, ресторанный гид Zagat, «Тайм-аут Нью-Йорк», сотня-другая блоггеров, «Нью-Йорк таймс» и «Пипл». Ах, это забытое удовольствие — пострадать от собственной забывчивости, покрутить в уме имена кинозвезд, да так и не вспомнить правильного ответа. Что в этом дурного? Почему нам больше нельзя ошибаться? Из-за треклятой я-машинки мы с Конни ссорились чаще, чем по любому другому поводу — секс и его регулярность, моя «зависимость» от «Ред Сокс» и миллион прочих вещей вместе взятых в подметки не годились ее привычке за любым ответом лезть в я-машинку. (Кроме, пожалуй, детей. Из-за детей мы ссорились чаще всего.) Когда меня окончательно это доставало, я говорил какую-нибудь заведомую глупость: «Луна — это просто неяркая звезда», «В тортильи добавляют марихуану», «Мой любимый фильм с Шоном Пенном — “Форрест Гамп”» и спорил до посинения, вынуждая Конни залезть в телефон и замахать им у меня под носом (казалось, штуковина презрительно показывала мне язык и кричала: «Бе-бе-бе!»). «Ага, Том Хэнкс, конечно! Это был Шон Пенн!» — говорил я. «Да посмотри ты, бол-

ван, написано же — Том Хэнкс!» Наконец я тихо, со спокойной улыбкой спрашивал ее: «Неужели ты не знала этого без Интернета?» Вечер был испорчен.

Конни села за компьютер и забила цитату в Гугл. Ни единого результата.

— Значит, это не из Библии. Похоже, кто-то над тобой стебется.

— Кто-то надо мной стебется.

— А вот это, кстати, — сказала Конни, — очень даже по-еврейски.

В 11:34 утра я написал:

СеирДизайн,

я жду от вас ответа с пятницы. Полагаю, люди, работающие в IT-секторе, должны часто проверять почту, потому что люди, работающие во всех секторах, регулярно проверяют почту. Однако вы не отвечаете, и меня это расстраивает. Дело крайне срочное. С вашей легкой руки кто-то украл мои персональные данные и теперь пользуется ими в Интернете. А может, это вы их украли? Прошу учесть, если я в ближайшее время не получу от вас никакого ответа, то сообщу

о происходящем в высшие ннстанции.
Ответьте как можно скорее.

— Высшие инстанции, — проговорила Конни. — Ребятки с Фейсбука это оценят.
— У тебя есть идея получше?
Пятнадцать минут спустя я написал им снова:

А вы, случаем, не Чак Хагарти, он же «Аноним», задолжавший мне восемь тысяч за протезирование? Неправильно, что один-единственный человек может оказывать такое влияние на жизни других людей. Но как вы наглядно продемонстрировали в прошлом, в Интернете все именно так и устроено, правда, Чак?

— Бетси закончила с мистером Перкинсом.
— Хорошо. Иду.

Пожалуйста, объясните, при чем тут эта цитата из Библии. Я не хочу, чтобы меня считали последователем какого-либо вероисповедания. Я – атеист. У меня клиника, а не секта! Рот есть рот. Я – врач-стоматолог и лечу заболевания полости рта, независимо от того, какая

религиозная чушь потом из него летит. Этой биографией вы нанесли мне личное оскорбление, прошу ее удалить. В противном случае с вами скоро свяжется мой адвокат.

— Доктор О'Рурк?

— Да.

— Вас ждет мистер Перкинс.

Это была Бетси.

— Я в курсе, Бетси. Очень скоро я уделю ему внимание, но в данный момент я немного занят, как вы видите.

— Я вижу только то, что вы сидите в Интернете. Не думала, что Интернет важнее мистера Перкинса.

— Я установлю ему виниры как только смогу. Займитесь своими делами, Бетси, и не лезьте в чужие.

После установки виниров мистеру Перкинсу я написал следующее:

Мне вовсе ни к чему подобные отвлекающие факторы, когда впереди – сложная процедура установки и окраски виниров. Возможно, у вас возникли какие-то неотложные дела. Я даже могу предста-

вить такой сценарий: вашему ребенку стало плохо, и вы повезли его в больницу. Но бросьте, мы оба прекрасно знаем, что у вас с собой мобильный с выходом в Интернет, а скорей всего и ноутбук. Вы вполне можете работать, сидя в вестибюле, потому что ни один современный человек не просидит несколько часов в вестибюле, не проверив почту – пусть его ребенок даже на грани смерти. Уж я-то знаю, в нашей клинике есть вестибюль, я вижу такое каждый день. Даже в пункте первой помощи люди без конца твиттят, пишут эсэмэски и письма, рассказывая окружающему миру о беде, приключившейся с их ребенком. Иными словами, вы читали мое письмо и нарочно на него не отвечаете. Так не делается. Я сам целыми днями сижу в Интернете, хотя я – стоматолог, а не разработчик сайтов.

Мои отношения с Интернетом очень похожи на мои отношения с:) Я ненавидел:), ненавидел получать его и тем более отправлять другим, я ненавидел:) и:-) и:>. Больше всего я ненавидел

значок:-)), потому что он напоминал мне про мой двойной подбородок. Потом появились:(и:-(и;-) а также;) и *-). Значение последнего я вообще не понимал, но все-таки самой большой загадкой для меня были D:< и >:O и еще:-&. Из этих примитивных символов, придуманных идиотами для замены нормальных слов, постепенно образовалась сложная иероглифическая система, недоступная моему пониманию. Затем появились анимированные смайлики, пухлые желтые мордочки с ресницами и высунутыми языками, томно подмигивающие с экрана, склоняющие меня к сексу. Всякий раз, читая письмо с такими смайликами, я испытывал жесточайший приступ сексуальной фрустрации, угрожавший моему душевному равновесию даже посреди рабочего дня, и неотступное желание подрочить в Громоящике, которое могла отбить лишь моя гигиенистка, требующая срочно явиться к пациенту. Я поклялся себе, что никогда не буду использовать в письмах и сообщениях смайлики… Никогда. Но в один прекрасный день я, сам того не заметив, вставил в послание свой первый:), и вскоре после этого вопреки моей воле:) стал регулярно появляться в моих повседневных переписках с коллегами, пациентами и незна-

комцами, а также в сообщениях на фанатских форумах и чатах «Ред Сокс». Я оказался беззащитен перед ленью мира и его омерзительными стремлениями, беззащитен перед технологическим прогрессом, размывающим даже самые твердые принципы. Через некоторое время я уже вовсю пользовался:(и;) и даже;(, потом перешел на анимированные смайлики и теперь, не испытывая первоначально ни малейшего желания ограничивать богатство и мощь своих чувств этими дурацкими ярлычками, этими типографическими ювеналиями, я только и делал, что ограничивал и ограничивал его, наделяя глупые рожицы мучительным трепетом своих душевных порывов. До сих пор не понимаю, как и когда это случилось. Ненавидя смайлики за примитивную и тщетную попытку передать настоящие чувства, я все же ими пользовался, причем постоянно. Мои страдания усугубляло то, что борьба со смайликами, позорно завершившаяся полной капитуляцией, как нельзя лучше отражала другую войну, которую я вел с Интернетом вообще. Поначалу я изо всех сил боролся с его коварными соблазнами, но в конце концов начал целыми днями — сидя у стоматологического кресла, в метро, лежа на склонах

в Централ-парке — пялиться в я-машинку и морально разлагаться на просторах Интернета.

Вот и сейчас, после отправки письма «СеирДизайну», зная, что меня дожидается мистер Перкинс, я позволил себе пару минут побродить по Всемирной паутине, кликая на любые достойные моего внимания ссылки: талибы атакуют… успехи мятежников… ослабление Евросоюза… «Ред Сокс» взялись за ум… Южный Судан объявил… дебют Адель… Бангла… Бостонская команда отличилась в июле… Прокуратура ищет… Красотки на высоких каблуках демонстрируют свои ножки… Лайкайте нас на… Защитите свой… Бесплатная достав…

— Доктор О'Рурк?

Это была Конни.

— Да?

— Эбби говорит, у мистера Перкинса что-то стряслось с виниром.

— А почему Эбби сама не может мне это сказать? Почему она вообще со мной не разговаривает?

— Вы ее пугаете.

— Пугаю? Мы целый день сидим друг напротив друга!

— Не убивайте гонца.

Я занялся мистером Перкинсом. С его виниром все было прекрасно.

Хотите знать, в чем тут ирония? Мои коллеги без конца твердят мне, что мое желание защититься от ужасов Интернета и не пускать людей в личное пространство никак не пострадает от маленького безобидного сайта, на котором можно будет узнать часы работы клиники и как до нас добраться. Но знаете что? Оказывается, я совершенно не зря опасался за свое личное пространство, черт бы его подрал! И нарушил его именно маленький безобидный сайт! Созданный вами! Отвечайте уже, негодяи!

— Доктор О'Рурк.

Это была Бетси.

— Да?

— Прошу прощения за столь наглое вмешательство, я вижу, что вы очень заняты. Я только хотела сообщить вам, что я закончила с миссис Дайдерхоффер.

— Спасибо. Бетси…

— Что?

— Простите, что нагрубил вам. Я немного не в своей тарелке.

— Почему?

— Вы что, уже забыли про сайт? Про хищение моих персональных данных?

— Ох, да ладно вам! Не делайте из мухи слона!

— Почему вы нисколько не взволнованы? Злоумышленники нашли вашу фотографию из школьного альбома!

— Она мне всегда нравилась.

— Суть не в этом.

— Вам сделали прекрасный сайт. По-моему, это нельзя назвать хищением персональных данных.

— Тогда мы с вами никогда друг друга не поймем, Бетси.

Она ушла. Я написал:

Это безумие. То, что вы делаете.

— Доктор О'Рурк?

Снова Конни.

— Да?

— Мистер Перкинс отказывается уходить. Он говорит, цвет винира изменился.

— Он не изменился.

— Пациент настаивает.

— Господи… Сейчас приду.

Я пошел и занялся мистером Перкинсом. Цвет его винира не изменился.

Вы создали сайт, о котором я не просил. Это необходимо исправить в кратчайшие сроки. Пока дело не вышло из-под контроля. Или дело уже вышло из-под контроля? Можно ли каким-то образом прекратить существование моего сайта? Вообще — что такое сайт, как его помещают в Интернет и как можно его убрать? Уверен, вы будете смеяться над моими дурацкими вопросами, выдающими острую нехватку знаний о современном мире, — что ж, ну и пусть. Существует ли такое место, где я могу найти некий физический объект, отражающий написанный вами код, который интерпретируется компьютерами в виде сайта, придуманного вами для моей клиники? Я бы хотел устранить и уничтожить этот объект. Исчезнет ли тогда сайт из Интернета или будет жить дальше? Мне почему-то кажется, что будет жить. Ведь это и называется «кэшированием»? «Мой» сайт будет «кэшированным» до скончания веков? Сайт, созданный против моей воли?

Обычно, когда я сижу рядом с пациентом и что-нибудь с ним делаю, в голове у меня крутятся такие мысли: «Росс… А ее как звали… как ее звали… Росс и… как же ее звали? Вроде бы на «а» начинается… нет, не на «а»… черт… не могу… ой…

а-а! Вспомнил! Ну конечно, болван, Росс и Рейчел! Как можно такое забыть? Росс и Рейчел, сразу запоминается. А сестру Росса звали… сестру Росса, которая дружила с Рейчел… ну, то есть они все дружили, самоочевидно… но с этой они вместе жили… если я не путаю ее с другой девицей, тупой блондинкой Лизой Кудроу… после сериала она толком нигде и не снималась… да они почти все куда-то пропали, никому не нужны… ладно хоть успели денег хапнуть. Но правда остается правдой: если ты попал в известный телесериал, наслаждайся каждым днем — дальше тебе путь заказан. Отныне ты актер одной роли. Ужасно, если подумать. Да, заработать они успевают, но вся их дальнейшая роскошная жизнь полностью лишена смысла… Я бы повесился, если б мне не дали заниматься тем, ради чего я появился на свет, — лечить пациентов, вот как этого, сломавшего себе зуб во сне… имя начиналось с «а»… Нет! Ничего подобного! Может, весь алфавит перебрать? Глядишь, какая-нибудь буква да встряхнет мою память… Почему бы и нет, какая разница, о чем думать… Поехали «А — нет, Б — нет, В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч… Ч… Ага, кого-то в сериале звали на букву «ч»… Чэндлер! Точно! А встречалась с Чэндлером

Моника… Моника дружила с Рейчел… то есть они все дружили, самоочевидно… Так, Росс и Рейчел, Моника и Чэндлер… А остальных-то как звали? Как я мог это забыть?! Имя этого итальяшки прямо на языке вертится… Вот… вот… Джо! Кажется, его звали Джо. Интересно, Эбби знает, как его звали? Наверняка знает. Вы только посмотрите на нее. Конечно, она знает. Знает, но мне не скажет. Если я ее спрошу, она тут же включит дурочку и переспросит: «А? Что?» Вроде бы его звали Джо. Но тогда как бишь…»

— Доктор О'Рурк.

В дверях стояла Конни.

— Подойдите на минутку, когда сможете.

— Конни, как звали третью девушку в «Друзьях»? Тупую блондинку? Актрису, которая после сериала нигде не снималась?

— Фиби?

— Фиби! Черт! Ну, конечно! Фиби! Хорошо, миссис Дайдерхоффер, можете сплюнуть, — сказал я пациентке. Миссис Дайдерхоффер плевалась минут десять. Я подошел к Конни.

— Тебе ответили.

Она вручила мне айпад.

Знаешь ли ты самого себя?

— И все?! — вопросил я. — Я ему штук сто писем отправил, а он мне отвечает одной строчкой? Знаю ли я самого себя?! Это возмутительно.

— И еще кое-что…

— Что?

— Твоя биография изменилась.

Разработчики временно отключили сайт — или как там это называется, — изменили мою страничку и снова его включили. Все было в точности как прежде, кроме одного странного абзаца, добавленного к моей и без того странной биографии.

И Сафек собрал нас всех вместе, и мы жили с ним в земле Израилевой. И не было у нас города, который бы дал нам имя, и не было короля, который бы назначил капитанов и превратил бы нас в орудия войны; не было у нас и законов, кроме одного. Смотри, и да освятится сомнением сердце твое; ибо Господа может познать лишь Господь. И мы пошли за Сафеком, и не исчезли.

— Опять какой-то религиозный бред! — вскричал я. — Бетси! Кто такой Сафек?!

— Кто-кто? — донесся ее голос из соседнего кабинета. В стоматологических клиниках прекрасная слышимость, ибо — по причинам,

которые не сможет объяснить даже самый матерый врач, — стены здесь как в офисах и туалетах, не доходят до потолка примерно на фут.

— Сафек!

Какой смысл в ежедневном чтении и подчеркивании Библии, если ты не знаешь даже персонажей?!

— В Новом Завете таких нет! — крикнула Бетси.

— Я тоже не слышала такого имени, — сказала Конни, — но само слово знаю.

— Слово?

— Ну да. Это иврит.

— И как оно переводится?

— Сомнение.

— Сомнение?

— Да. Сафек — это «сомнение» на иврите.

Знаю ли я самого себя? — написал я «СеирДизайну».

Иди в жопу, там познавай себя сколько влезет.

Моим последним пациентом в тот день была пятилетняя девочка, у которой зашатался зуб. Взглянув на родителей, я мысленно отнес их к категории людей, которые потащат ребенка к нейрохирургу, если узнают, что на детской

площадке кто-то дернул его за волосы. Мать: типичная представительница породы «слинги-и-грудное-вскармливание-до-школы», сама готовит овощные пюре из выращенных на огороде овощей и т. д. Отец: рубашка из технологичных материалов, застегнутая на все пуговицы, аккуратная бородка, знает все местные пивоварни. Конечно, я не послал их куда подальше, сказав, что они перегружают систему здравоохранения своими беспочвенными страхами. Если бы не беспочвенные людские страхи, мои заработки бы упали вдвое. (С другой стороны, если бы люди меньше боялись стоматологов, мои заработки бы вдвое выросли.) Хотите на всякий случай показать мне расшатавшийся молочный зуб? Да сколько угодно! С радостью посмотрю! Я направил свет лампы в рот девчонке и… обнаружил там семь кариесов. Зуб шатался не потому, что ему пришла пора выпадать; он насквозь прогнил. Я сказал, что тут только дергать — другого выхода нет. Мать заплакала, отец покраснел. Выяснилось, что каждую ночь перед сном они давали ребенку леденец. «У меня сердце кровью обливалось, когда она плакала», — сказала мать. «Леденцы ее успокаивают», — сказал отец. Они не разрешали дочке пить воду из-под крана, кормили ее исключи-

тельно продуктами со словами «био» и «органик» в названиях, даже леденцы без сахара не могли купить (потому что в них, конечно, сплошная химия и канцерогенные сахарозаменители), но зато позволяли ей по десять часов в сутки гноить зубы сахаром, лишь бы бедняжка не плакала и спокойно спала. Люди часто затаивают обиду на своих родителей — мол, те плохо с ними обращались и изгадили им все детство, — но, стоит им самим родить ребенка, ровно в эту секунду они перестают быть несчастными детьми и превращаются в тиранов и мракобесов, несущих своим отпрыскам боль и страдания.

Эту мысль я и пытался донести до Конни. Она хотела детей, я не хотел. Точней, я думал, что хочу, когда мы только начали встречаться. Наконец-то моя жизнь станет полной и осмысленной, у меня появятся *дети*! С момента рождения и до того дня, когда они соберутся вокруг смертного одра выслушать мою последнюю волю, дети станут для меня всем. Причем в прямом смысле слова. Они станут смыслом моей жизни. Больше никаких ресторанов, бродвейских мюзиклов, походов в кино и музеи, выставок и прочих развлечений, коим несть числа в этом городе. Не то чтобы для меня это большая беда, все-таки

я не самый заядлый любитель музеев и выставок. Но оставаться без возможности выбора мне совсем не хотелось. Выбор — это очень важно, выбор — это свобода, а дети лишат меня выбора и ограничат мою свободу. Как знать, возможно, я начну втайне на них обижаться. Мне бы не хотелось обижаться на детей за решение, принятое исключительно мной — решение произвести их на свет. Таких людей и без того слишком много. Они приводят детей в мою клинику, и я вижу эту обиду в их раздраженных, озлобленных взглядах. «Бросьте, — хочется сказать этим людям, — ребенок не сам решил появиться на свет и отрастить зубы. Это вы так решили. И вот эти зубы теперь надо ежедневно чистить и периодически лечить, так что смиритесь и возьмите бедного ребенка за руку!» Но мне-то легко говорить. У меня нет детей.

Однако время от времени я думал, что было бы здорово иметь сына и наследника. Я представлял себе, как Конни зовет его из столовой: «Джимми О'Рурк!» Или «Поли-младший! А ну тащи сюда свою задницу!» И я мысленно восторгался: ого, мой тезка! Мой сын и наследник! У меня есть сын и наследник! Но к тому времени я уже был не молод — за сорок перевалило, — и постепенно я стал

все меньше думать о сыновьях и наследниках, а все чаще — о старости и смерти. Этому моему сыну, пышущему здоровьем и жизнелюбием, с отменным пищеварением и прекрасным сном, умеющему получать удовольствие от сущих пустяков, ничего не стоило бы меня пережить. Да ну к черту, решал я. Не хочу рожать детей, чтобы они каждый божий день напоминали мне о смерти.

Я говорил это Конни, а она пыталась меня образумить. Мой подход в корне неверен. Я никогда не буду завидовать собственным детям, это попросту невозможно. Сам увидишь, когда они родятся.

Звучало хорошо. Однако я боялся не только того, что затаю обиду на родных детей. Я боялся и слишком сильно их полюбить. Есть на свете родители, которые не могут видеть слез любимого чада, напуганного приближающейся черной бездной сна, поэтому в такие моменты они скармливают чаду леденец. А спустя два года у девчонки семь кариесных зубов и один удаленный. Так мы и докатились до того, что даем каждому ребенку в команде по призу — за участие. Я не хотел любить своих детей настолько, чтобы не видеть в них посредственностей, не замечать

их недостатков и бандитских замашек. Но я могу, я могу их так полюбить. Ребенок действительно может стать смыслом моей жизни. И это пугает. Потому что как только ребенок становится смыслом твоей жизни, ты не только теряешь остатки объективности и гордо демонстрируешь гостям его утешительные призы, ты еще и начинаешь бояться за его жизнь всякий раз, когда он скрывается из виду. Я не хотел жить в вечном страхе. После смерти ребенка люди не возвращаются к нормальной жизни. Уж я бы точно не вернулся. Да, ребенок поможет мне справиться с детскими травмами, он отменит самоубийство моего собственного отца, и я вновь смогу радоваться жизни. Но если я научусь любить его, нет, просто любить, а потом его потеряю, как потерял отца, это меня прикончит. Я откину копыта. Ну уж нет, к черту такую жизнь. Я сказал это Конни, и тогда она заявила, что я уже стал рабом своих страхов. Прощай, сказала она, желаю удачи.

Но была и еще одна причина, почему я не хотел детей. Об этой причине не знала даже Конни. Я никогда всерьез не рассматривал самоубийство, но с рождением ребенка о самоубийстве можно забыть. А выбор, как я уже говорил, — это важно.

Глава четвертая

Первым делом, сказал мой адвокат Марк Талсман из «Талсман, Леб и Харт», надо выяснить, на кого зарегистрирован домен. Адрес сайта был www.drpaulcorourkedental.com, а значит, сведения о нем должны быть в базе данных WHOIS. Регистрирующийся в этой базе обязан предоставить свои контактные данные.

Английская буква «С» в адресе сайта — это первая буква моего второго имени, Конрад (так звали моего отца). Я ненавидел имя «Конрад». Особенно я ненавидел его ласкательно-уменьшительный вариант — «Конни». Почти всех Конрадов так всю жизнь и зовут. Но Конни — женское имя, в частности, имя женщины, на которой я когда-то собирался жениться (а теперь лишь напоминавшей мне о моей полной несостоятельности в качестве мужа и отца). Долгое время я не мог увязать между собой этих двух людей с одинаковым именем. Слишком они были разные. Одного я почти не знал, вторую — изучил досконально, во всех сокровенных подробностях. Никто в мире, даже Конни, не знал о букве «К» в моем имени. В водительских правах ее нет,

в дипломах, сертификатах и прочих официальных документах тоже. Лишь один раз в жизни я сказал Конни про свое второе имя — наврал, что меня зовут Сол.

Она озадаченно уставилась на меня.

— То есть родители тебя назвали Пол Сол О'Рурк?!

Это у меня как-то самой собой вылетело. Я выбрал единственное имя, рифмующееся с моим настоящим именем. А потом уже было поздно ссылаться на оговорку, пришлось врать дальше.

— Странно, да?

— Я знаю парочку Солов. Ты совсем не похож на человека по имени Сол.

— Вот и моя учительница во втором классе так говорила, — окончательно заврался я. И зачем я только сморозил такую глупость? — Ну что я могу сказать, у меня были странные родители.

— Хиппи?

— Нет. Просто бедные.

Ладно хоть тут не наврал.

Но суть не в этом. Суть в том, что разработчики сайта www.drpaulcorourkedental.com знали обо мне больше, чем Конни, а она знала меня как никто другой. И до сих пор думала, что мое полное имя — Пол Сол О'Рурк.

Ну и где же был я, когда с моих губ сорвалась эта ложь? Настоящий я, поборник правды и разрушитель иллюзий? А непонятно. Исчез, испарился. Тут-то я осознал, что снова очутился в рабстве. Дурацкое глупое вранье без всякого повода — верный симптом этого состояния. На свет пыталось пробиться мое лучшее «я», человек, который вырос во Флориде и ездил в космический лагерь, или в Монтане, где объезжал мустангов, или на Гавайях, где участвовал в соревнованиях сёрфингистов; чей отец играл в команде «Ред Сокс» низшей лиги, а потом умер во Вьетнаме; чья мать, потеряв любовь всей своей жизни в битве за Хюэ (произошедшей за добрых шесть лет до моего рождения), до сих пор была в полном здравии и каждый день играла в теннис. Человек с интересной биографией. Но потом этому человеку с интересной биографией приходилось всюду таскать за собой труп настоящего правдолюбивого «я», забитого насмерть нелепыми выдумками. Этот лжец — пусть и с великолепным прошлым — никогда мне не нравился; куда симпатичней мне был тот я, который всегда говорил правду, и только правду. В итоге мне приходилось либо прекращать отношения, либо признаваться девушке во лжи. Или, как в случае

с Конни, снова и снова придумывать компромиссы.

У входа в здание «Афтергуд армс» стояла пепельница, которую я делил с сотрудниками «Бишоп и Бишоп» и жителями дома. Местные курильщики прозвали меня «Резиновой Рукой». Из этих курильщиков только один или два пользовались моими профессиональными услугами, остальные мне не доверяли. Неудивительно: как можно доверять стоматологу, который морально разлагается рядом с тобой у пепельницы? Почти на каждом перекуре меня спрашивали про перчатку. У меня была теория, что благодаря латексной перчатке пальцы не будут вонять куревом. Я прилагал все усилия, чтобы устранить этот запах и таким образом избежать докучливых нравоучений миссис Конвой. Левую руку я оставлял как есть, а правой — в свежей, припудренной тальком латексной перчатке — подносил к губам сигарету. Курильщики — все желтые, сморщенные и остро нуждающиеся в интубации трахеи — глазели на эту перчатку так, словно пытались хорошенько ее запомнить на случай, если придется давать показания.

Через день после появления сайта на восточное побережье накатила удушливая волна адско-

го зноя. После перекура я вернулся в клинику с зарождающейся головной болью. Никотиновая палочка скрутила мои кровеносные сосуды в тугие узлы и сдавила виски. Из центральной системы кондиционирования воздуха на меня пахнуло запахом стоматологической клиники, антисептическим и коллоидным, доминирующим всюду, но никуда не проникающим. Я обожал свою приемную. Мне нравились эти парные кресла, народное творчество на стенах в рамках. Мне нравились простор и пустота. Я никогда не хотел, чтобы в коридорах моей клиники толпился народ. Мы не какая-нибудь шарашкина контора, где в креслах корчатся наркоманы, а их дети вопят от ужаса под визг бормашины. Здесь все-таки Парк-авеню, Верхний Ист-Сайд. Приемные на Парк-авеню должны быть цивилизованными. *Бутиковыми*. И моя приемная была как раз такая. В моей бутиковой приемной сидели люди всех возрастов, лица которых (если не рты) излучали крепкое здоровье. Входящий в мою бутиковую приемную сразу замечал чистоту линий и атмосферу спокойного профессионализма. Я часто жалел, что не могу больше времени проводить в своей бутиковой приемной, наслаждаясь уютным и тщательно ор-

ганизованным пространством, которое я обычно пересекаю бездумно и второпях.

Я сел в одно из кресел. За стеной все жужжало и гудело. Миссис Конвой чистила зубы пациенту; я почти видел частички ароматизированной защитной пасты, летящие по воздуху в лучах солнца. Эбби, несомненно, сидела в другом кабинете с пациентом и гадала, где я пропадаю. А я торчал в приемной и наблюдал за Конни. Этим утром она убрала волосы в тугой пучок, словно собиралась танцевать в Большом театре. Но нет… вот она повернула голову, и я увидел, что ее кудряшки, собранные толстой резинкой, не закручены в узел, а струятся вниз карамельно-каштановым каскадом. Конни красила волосы, однако их густота и кудрявость были природными, генетическими, равно как и крошечные завитки вдоль линии роста волос на лбу и шее. Да уж, волосы у нее были что надо, просто о-мой-бог. Иногда на макушке у нее сидел туго закрученный пучок, иногда он опускался чуть ниже, приобретал идеально гладкие очертания, и с ними — восточную изюминку. Я смотрел, как Конни переделывает хвост. Сперва она накрутила волосы на левое запястье, а правой стала приглаживать их спереди назад. Сначала

тщательно собрала и пригладила пряди с одной стороны, затем столь же тщательно проработала другую сторону. Все это она делала очень быстро, с поднятыми вверх локтями, словно готовилась взлететь. Останавливалась только затем, чтобы распутать узелок или пригладить случайно выбившуюся кудряшку, что лежала подобно усику вьюнка на гладко прилизанных волосах. А потом, когда я подумал, что Конни уже закончила, она вдруг перехватила волосы правой рукой, а левой подогнала под резинку еще несколько непослушных волосинок. Наконец она сняла резинку с запястья и начала стремительно скручивать ею хвост; виток за витком она растягивала ткань и пропускала сквозь нее толстый пучок волос. Всего я насчитал пять витков. Ближе к концу петля стала крошечной, и волосы не желали в нее помещаться, сопротивлялись изо всех сил. Конни едва заметно поморщилась — наверное, услышала тихие крики боли у корней волос. Затем наступил этап, когда можно было свободными руками поправить прическу, где-то ослабить давление, где-то чуть взбить, чуть пригладить — аккуратно, чтобы не испортить труд, занявший у нее максимум секунд десять-пятнадцать. Окончательно укротив непокорную гриву,

Конни приступила к прочим делам.

Она всегда говорила, что я превращал ее в сексуальный объект, идеализировал ее физическую красоту, а потом, узнав, что она — простая смертная, жаловался, что мне всучили бракованный товар. Конни считала, что я сознательно завышаю планку и, как большинство людей, боготворю свою новую избранницу, но со временем разочаровываюсь. Я слишком романтичен. Люди моментально производят на меня впечатление, которое я принимаю за истину. Но потом я обнаруживаю под слоем краски существенные изъяны, и на этом все заканчивается. Конни думала, что такая позиция делает меня мизантропом и хронически несчастным человеком. Я так не считал. Однако мне в самом деле очень нравилось за ней наблюдать. Теперь это стало сложнее, ведь я знал про все ее дурацкие недостатки. Но Конни была прекрасна, что и говорить.

В то утро, правда, получилось немного иначе. Понаблюдав за тем, как она убирает волосы в хвост, я вскоре стал обращать внимание на то, что она делает, а не на то, как она при этом выглядит. Конни постояла у письменного стола, затем поднялась на цыпочки и достала с полки папку, сняла трубку зазвонившего телефона,

с улыбкой вручила уходившему пациенту бумажку с датой следующего приема (ее белые клыки были на полмиллиметра длиннее передних зубов), прицепила карту следующего пациента к твердой папке с зажимом.

Все это время я чувствовал, что за мной тоже наблюдают. Я обернулся и увидел свою пациентку, которая бывала у меня раз пять или даже больше. Она смотрела на меня и пыталась понять, я ли ее доктор.

Улыбнувшись, я поднял к глазам телефон и переключил все внимание на Интернет. Пролистал форум, чтобы узнать реакцию пользователя boggswader на вчерашнюю игру «Ред Сокс». Затем прочитал статистический анализ Оуэна и подробную текстовую трансляцию от EatMeYankees69. Просмотрел несколько лучших моментов (без звука) и оставил пару комментариев в блогах и на форумах. И только потом аккуратно переключил внимание на Конни.

Она получала посылку, которую принес курьер. Звонила опаздывающим пациентам, меняла расписание, наливала свежую воду в вазу с цветами, которых я раньше даже не замечал, заправляла кулер питьевой водой, меняла картридж в принтере. И еще Конни выслушивала всякие гадости

от пациентов, когда те выходили из кабинетов с окровавленным ртом, а мы тут же требовали с них денег.

Я снова посмотрел на экран я-машинки. Пациентка по-прежнему разглядывала меня, пытаясь идентифицировать. Я просмотрел еще пару веток форума и только тут понял, что сделали эти ребята.

Они завели мне аккаунты на форумах и блог-сервисах.

Я обычно оставлял комментарии под ником YazFanOne. Я никогда не называл себя Полом О'Рурком, врачом-стоматологом. Но теперь Пол О'Рурк, врач-стоматолог, появился на всех моих любимых форумах и блогах.

Пока он писал такое: «Великолепный третий иннинг. Вперед, Эллберри! Здесь можно прочитать мой подробный комментарий».

Или: «Восьмой был просто блеск. Макдональд рулит. И посмотрите-ка на это».

По ссылкам открывались тексты, не имеющие никакого отношения к «Ред Сокс». Первая статья была о новом витке конфликта между израильтянами и палестинцами. Вторая — о вымирающих племенах и обездоленных народах.

Через неопределенное время я поднял голову

и увидел за столом всю троицу — Эбби, Конни и миссис Конвой. Они смотрели на меня.

— Что, неужели опять? — спросила Конни. Миссис Конвой мрачно покачала головой. Эбби отвела глаза и убежала осуждать меня в одиночестве.

Я улыбнулся пациентке: ну конечно, это я, ваш стоматолог! Затем подошел к столу и протянул коллегам я-машинку.

— Смотрите! Они не унимаются! Я появился на форумах, в блогах и чатах! Я теперь всюду!

Миссис Конвой уперлась кулаками в стол, как лайнбекер на поле, спустила очки на кончик носа, укоризненно посмотрела на меня поверх линз и спросила, почему я считаю необходимым отсиживаться в приемной, когда у нас столько пациентов. Я ответил, и она сказала: «Как это «во всей полноте»?» Я ответил, и она сказала: «А не кажется ли вам, что это впечатление станет полнее и приятнее, если главный врач-стоматолог будет лечить пациентов вовремя?» Я ответил, и она сказала: «Иисус, Мария и Иосиф! Что за чепуха! Да разве можно прослыть шарашкиной конторой, если вовремя лечить пациентов?! Иногда мне кажется, что я работаю на клоуна!»

Она в ярости ушла. Я обошел стол и присел

к Конни. Показал ей комментарии и посты YazFanOne.

— Это я, — сказал я. — Кто еще мог бы так жаловаться на Франкону?

Затем я показал ей нового форумчанина и блогера, доктора Пола О'Рурка, врача-стоматолога.

— А вот это тоже я. И не я. «Великолепный третий иннинг. Вперед, Эллберри?» Что за бред! Я бы никогда не написал такой идиотский комментарий.

— Но это ты.

— Мое имя, но пишу все это не я. Я не способен писать такую чушь, тем более под собственным именем.

— Почему?

— Я ценю свое личное пространство.

— И поэтому пишешь под ником YazFanOne?

— Да, вот именно, YazFanOne. Это я. А доктор Пол О'Рурк, врач-стоматолог, — это не я. То есть на самом-то деле это я. Конечно, это я! Доктор Пол О'Рурк — это я.

— То есть, оберегая свое личное пространство, ты писал под вымышленным ником, что позволило злоумышленнику без труда украсть твои персональные данные и разрушить твое личное пространство.

Она смотрела на меня пустым взглядом табуретки.

— Ты не видишь главного, — сказал я.

— Прекрасно вижу.

— Сначала появился сайт. Теперь — это. Знаю, когда речь заходит об Интернете, ты считаешь меня параноиком, но посмотри сама! Именно этого я и боялся, об этом и предупреждал! Грядет революция, Конни! Все думают, что новый мировой порядок будет демократичным и безобидным, но они ошибаются. Посмотри, что они сотворили со мной! А кто я? Да никто!

— Погоди-ка. — Конни уставилась на экран. — Твое полное имя — Пол К.О'Рурк?

— Ну да.

— Как расшифровывается «К»?

— Не понял?

— Буква «К». Ты говорил, твое второе имя — Сол.

— Пол Сол О'Рурк? Маловероятно.

— Тогда зачем ты сказал мне, что тебя так зовут?

— Конни, вряд ли я мог сказать, что меня зовут Пол Сол О'Рурк. — Я рассмеялся над нелепостью этого абсурдного утверждения.

— Но ты именно так и сказал.

— Может, пошутил?

— Ты не шутил.

— Слушай, давай сосредоточимся на главном, пожалуйста! Кто-то пишет в Интернете от моего лица. Они оставляют сообщения на форумах и в блогах, подписываясь моим именем! Они притворяются мной, но это не я!

— А кто ты, если не Пол Сол О'Рурк?

— Пол Конрад.

— Тебе дали имя отца?

— Мама дала. Отец был слишком плохого мнения о своей персоне, чтобы называть кого-то своим имнем. Впрочем, в маниакальном состоянии он легко мог назвать меня Конрад Конрад Конрад.

— Дай посмотрю.

Я передал ей телефон.

— Куда ведут эти ссылки?

— Одна — на статью «Таймс» об Израиле и Палестине, вторая… не знаю, какая-то чушь про обездоленные народы.

Конни начала кликать.

— Под этой статьей есть твой комментарий.

— Что?!

— Под статьей из «Таймс». В самом конце размещен твой комментарий.

Мы прочитали его вместе:

Доктор Пол О'Рурк, Манхэттен, Нью-Йорк

На рубеже тысячелетий они были обыкновенной религиозной сектой, каких много, почти неотличимой от христианства, подвергавшегося в те времена суровым гонениям. Однако, в отличие от христианства, у них не было ни апостолов, ни миссий, ни страстной энергии, с какой Павел бороздил просторы Римской империи. Этот народ восстал из пепла истребленных амаликитян, а потом мир захлестнула волна христианства, и их окончательно смыло этой волной. Кантаветиклы можно назвать сагой о вымирании. Они погибали, «кто плача, кто улыбаясь, кто на коленях, не желая молиться». Однако последний из племени всегда выживает, чтобы умереть в будущем.

18 июля 2011, 8:04

— Очень странный комментарий, — сказала Конни.

— Я этого не писал!

— Успокойся. Я и не говорю, что это ты написал. Я говорю, что он странный. И к статье никакого отношения не имеет. — Конни прочитала комментарий еще раз. — Я слышала про амаликитян. — Она вбила это слово в Гугл. — «Древнее племя, кочевавшее в степях каменистой Аравии на юге от Палестины… То, что амаликитяне происходят не от арабов, а от племени, состоявшего в родстве с идумеями (а значит, и евреями), следует из генеалогической информации в Книге Бытия, глава 36, стих 12, а также в 1-й Паралипоменон, глава 1, стих 36. Амалик…» — Конни умолкла. — Ты ведь знаешь, кто это такой? Амалик?

— Нет, а кто?

— Древний заклятый враг евреев. Бессмертный. Он не погибает, а реинкарнирует. — Конни продолжила читать: — «Амалик — сын Елифаза, первого сына Исава, и наложницы Тимны, дочери Сеира…»

— Сеира? Как в «СеирДизайн»?

— «Их неясное происхождение также упоминается в Числах, глава 24, стих 20, где амаликитян называют «первым из народов». Именно амаликитяне первыми вступили в контакт с израильтянами. Они воевали с ними в Рефидиме,

неподалеку от Синая».

— Синай, амаликитяне… все это не имеет ко мне никакого отношения! — воскликнул я. — При чем тут вообще я?!

Конни отдала мне телефон и пожала плечами. Она не знала.

Персональные данные похищают у человека с целью отъема денег. И где же в этой истории имел место отъем денег? Аноним тут постарался или кто-то пострашнее? А может, все это — только начало некой невообразимой аферы, лишь обретающей очертания за брандмауэром, который надежно закрывает мне вид на происходящее? И в итоге я окажусь не жертвой чьей-то гнусной интернет-деятельности, но преступником?!

То, что писалось от моего имени, как будто имело большое значение, несло некий древний посыл. Я отвернулся если не в гневе, то… в смущении, наверное. Мне почему-то было совестно. Конечно, все это написал не я, а некий злоумышленник, куда более решительный и загадочный Пол О'Рурк, которому было что сказать (в отличие от меня). Я ничего не писал в Интернете (если не считать редких комментариев о «Ред Сокс»), потому что, признаться, настоящему Полу О'Рурку совершенно нечего было сказать людям.

Нашел свой комментарий под статьей «Таймс», – сообщил я «СеирДизайну». – И несколько постов на фанатских форумах «Ред Сокс». У меня для тебя новости, приятель: я не пишу дурацкую чушь. Так что твои нелепые попытки выдать себя за меня не прокатят. Все знают, что мои посты – на вес золота. И еще все знают, что мне плевать на религиозные секты, Синай и амаликитян, как бы забавно все это ни звучало.

Я вернулся к работе. Мне совершенно не хотелось возвращаться к работе. Это не значит, что я не люблю свою работу, но стоило мне представить, как я опять сяду к креслу, буду принимать у Эбби инструменты, включать лечебно-диагностическое оборудование… ну уж нет. Все это слишком понятно и знакомо. Однако прошло буквально пять или десять минут, как в голове у меня что-то щелкнуло, и я вновь смог сосредоточиться на работе: переходил от одного пациента к другому, добродушно болтал, заменил зуб, сконструировал новую улыбку для будущей невесты. То, что я целыми днями сижу в четырех стенах и рассказываю людям о важности регулярного ис-

пользования зубной нити, отнюдь не портит мне тех мимолетных мгновений, когда я чувствую себя живым. Несмотря на знакомую давящую обстановку, докучливость коллег и упрек, который я вижу в глазах большинства пациентов, потому что причиняю им колоссальный дискомфорт (и это еще мягко сказано), в моей жизни бывают поводы для радости. Вдовы, которые приходят выпрямлять зубы. Дети, преодолевающие панический страх. И все те, кто регулярно пользуется щеткой, нитью и ирригатором, кому не надо читать лекций — после кратковременного лечения они выходят от меня с заслуженной улыбкой. Значит, я не зря тружусь. Мое призвание — это дар, лучшая защита от приступов хронической ненависти к самому себе.

В тот день ко мне пришел пациент с параличом Белла. Ночью он проснулся от ощущения, что ему перекашивает лицо. Этот необъяснимый неврологический недуг обычно поражает тучных и пожилых. Мой же пациент был еще молод, да и не слишком толст, однако я сразу подумал, что он недостаточно внимания уделяет своему здоровью. Передо мной сидел типичный перегруженный работой житель Нью-Йорка, чья нервная система решила в качестве доходчивого и на-

глядного акта возмездия на время искорежить ему лицо. Это случилось несколько дней назад и прошло бы еще ой как не скоро. Тем временем бедолаге пришлось лечить абсцесс. Обычно в результате паралича Белла лицо обвисает, но тут случилось обратное: правая щека приподнялась, а губы застыли в безумной собачьей ухмылке. Ухмылка эта и пролила свет на состояние его ротовой полости, которое к тому же резко ухудшилось в самый неподходящий момент. А может, они были взаимосвязаны, паралич Белла и этот жуткий абсцесс, грозивший пациенту потерей коренного зуба. Или он откладывал лечение до последнего, жил с абсцессом и не спешил его лечить, потому что тот не причинял ему никакой боли. Не обращал внимания, пока паралич Белла не выставил эту красоту на всеобщее обозрение, когда все и так пялились на беднягу с оскалом добермана.

Технологии сегодня здорово шагнули вперед; раньше пломбировка канала была той еще морокой, а если канал имел какое-нибудь странное ответвление, то вычистить из него гниль было все равно что попытаться воткнуть в розетку вилку загораживающего ее холодильника.

Когда я заканчивал, в кабинет постучала Конни

и сказала, что меня просят к телефону.

— Это Талсман, — сказала она.

— Это Талсман, — сказал Талсман в трубке. Талсман называл себя Талсманом.

Оказалось, сайт зарегистрирован на некоего Эла Фруштика.

— Фруштик… Знакомая фамилия.

— Очень смешная. Почти «фруктик», — как нельзя кстати подсказал мне Талсман. От него всегда одна польза.

Я повесил трубку.

— Проверь, есть ли у нас пациент по фамилии Фруштик.

Десять минут спустя Конни принесла мне карту Эла Фруштика. Последний раз он был у нас в январе, когда сообщил, что улетает в Израиль.

— Ха! Так я его помню! Он еще сказал, что с удовольствием бы тебя трахнул.

— Что?!

— Ну да! Он был под газом. Бетси! — закричал я. — Это наш пациент!

Она сидела в соседнем кабинете и чистила кому-то зубы.

— Какой еще пациент? — прокричала она.

— Который сидел тут и медитировал! Помните?

— А?

— Тибетский монах! Просил вырвать ему зуб без анесте… А, ладно. Эл Фруштик, — сказал я Конни. — Вот, значит, кто постарался!

— Чем вы ему насолили?

— А чем я солю всем своим пациентам? Лечу гнилые зубы. Но он мне что-то странное сказал напоследок… Когда я выпроваживал его за дверь, он сказал…

— Что?

— Он летел в Израиль не потому, что он — еврей. Я помог ему надеть пальто, и он сказал что-то… про национальность или вроде того… Я подумал, это он под газом чушь всякую несет…

— Про национальность?

Я попытался вспомнить, но не смог.

Здравствуйте, Эл Фруштик, — написал я. – *Я вылечил вам зубы, и вот как вы меня отблагодарили?*

На следующий день сайт изменился. На моей страничке появился еще один библейский или псевдобиблейский текст, причем внушительных размеров — что-то вроде гомилии или притчи. Начиналась она с длиннющей родословной, которые всегда нагоняют на меня

тоску, когда я пытаюсь прочесть Библию: такой-то и такой-то сперва входил к жене своей, потом к наложнице, а потом, выпив энное количество гинов вина, и к дочерям. У всех персонажей были имена как у фигурок из «Звездных войн», что расставлены вдоль стен игрушечных магазинов (аксессуары не прилагаются). Одного звали Тин, который родил Мамукама, у которого была жена Гополохоль. Дальше Тин и его родня не упоминались, но они явно были зачем-то нужны. Двигаясь дальше по этому веселому паровозику из посредников и побочных персонажей, мы наконец добирались до Агага, царя Амаликитского. Амаликитяне были могучим племенем вельмож, потомками Авраама, и мирно жили на тучных пастбищах Хацацона. У них был скот: верблюды, овцы, быки. «И было их, готовых к сражению, вооруженных всякими военными орудиями, сто двадцать четыре тысячи и пять сотен, в строю, единодушных», — гласил текст на странице с моей биографией.

Однажды на амаликитян напали пришедшие с запада израильтяне. Они избрали жертвами слабых и немощных, которые не могли обороняться, угнали их верблюдов и скрылись бегством. Амаликитяне разозлились и начали

готовиться к войне. Но тут появился Моисей. «Склонился он пред Агагом с жертвою повинности и сказал: «Услышь слова мои, умоляю; не вмени Израилю греха сего, ибо четыреста тридцать лет держал нас фараон в рабстве». Моисей поведал Агагу о долгом плене, о мучительных скитаниях по пустыне и о завете того единственного Господа, который теперь их покинул. Он умолял Агага простить его народу эту наглую выходку, потому что они были голодны, напуганы и изможденны. «И смилостивился Агаг, и взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, и они ели. И одарил Агаг израильтян многими ефами льна и мерами ячменя и многочисленными благовониями».

Все шло отлично, но вскоре израильтяне опять собрали большую армию и напали на амаликитян. «Израильтяне пошли на войну, и затрубили трубами, и били всех врагов своих». Агаг, царь Амаликитский, испугавшись гнева свирепых кровожадных израильтян, которые ради исполнения Божьего завета могли истребить всех жителей земли Ханаанской «от Дана до Вирсавии», сказал своему народу: «Давайте воззовем к богам Египетским, и к богам Хананейским, и к богам Филистимским, и заключим с ними

завет, и спасут они нас от рук врагов наших». Когда по лагерю прошел слух, что боги каждого племени земли Ханаанской встали на защиту амаликитян, поднялся громкий крик, и зазвенела земля. Но помощи от богов было немного. Началась битва, и за три дня армия амаликитян потеряла пятьдесят тысяч воинов. Они отступили и ушли из Хацацона, скрывшись в тихой гавани Рефидима. К этому моменту мне было уже очень трудно следить за происходящим.

И кто же явился к несчастным амаликитянам буквально на следующий день? Конечно, мускулистые и окрыленные духом войны израильтяне. На сей раз Агаг сказал своим людям: так, ладно, последний финт не удался. От богов никакого проку. Может, они там все друг другу перезавидовали или взаимоуничтожились… Уж не знаю, что произошло, я ведь не бог, а простой царь. Но одно мне известно. Скоро нам наши задницы подадут на табернакле с голубой каемочкой. «Услышьте мой глас, дети Амалика, услышьте мои слова: делали вы злое пред очами Господа, блудно ходили вслед чужим богам и заключили с ними ложный завет. И теперь эти боги сделают трупы ваши пищею птицам небесным и зверям, и дети ваши родятся странными».

Вот как мы поступим, говорит им Агаг, и вкратце обрисовывает свой коварный план. Надо протащить в лагерь еще одного бога, но только одного, потому что монотеизм, похоже, работает для израильтян — значит, и для нас сработает. Бога звать Молек, и этот Молек обещал нам кучу всяких благ, если мы будем хранить его завет: молиться, приносить жертвы, трижды обходить по кругу храм, полный пшеницы и золота, и еще отсечем мизинцы у десяти воинов-добровольцев, которые, понятно, не успеют вылечиться до сражения. Про последнее не спрашивайте, сам удивляюсь. «И сделает вас Молек своим народом, и будет вашим богом, и защитит вас от врага». В общем, амаликитяне бросились в бой и потеряли зараз еще тридцать тысяч человек.

Из Рефидима они бежали в Асор, где куксились и зализывали раны, гадая, что им делать теперь. Израильтяне, похоже, решили сжить их со свету, да и бог у них могущественный, не то что всякие молеки, умеет сосредоточиться и работать эффективно. Их богу, похоже, не плевать на свой народ… Тут Агага осенило. Он вновь собрал людей (история повторялась… я невольно испугался за судьбу тех, кто охотно пошел на собрание) и обратился к ним с речью: «Все боги несли

амаликитянам разрушение и скорбь, и теперь лишь один бог может нас спасти, тот самый бог, что дал врагам нашим землю, текущую молоком и медом, утвердил уставы неба и земли, и дал им день субботний, и очистил их души, и заключил с ними вечный завет, который они будут хранить до скончания времен и передавать от отца к сыну. Так услышьте же меня, дети Амалика, — продолжал вещать Агаг на страничке с моей биографией, — Бог живой — с Израилем, со всеми сынами Ефрема! И если вы полюбите живого Бога Израилева, помилует он вас и от меча убережет».

Не можешь побить врага — перейди на его сторону. А что, хитро! Отчаявшиеся амаликитяне готовы были пойти на что угодно. Они выбрали одного из своих, как две капли воды похожего на израильтянина, и отправили его тайком в израильтянский лагерь с наказом все разузнать. Через три дня он вернулся и поведал следующее: чтобы стать как израильтяне, надо построить ковчег из дерева ситтим стольки-то локтей в высоту и стольки-то локтей в длину, при строительстве ковчега и храма соблюсти множество условностей, а если кто согрешит, должен он найти молодого здорового тельца и принести его в жертву за грех, и еще нельзя налагать на бра-

та своего работы рабской, и еще много всякого. Ах да, самое главное: всем надо сделать обрезание. Тут амаликитяне, понятно, вскинулись: «Чего? Обрезание? Это еще что такое?» Юноша, похожий на израильтянина, все им объяснил, и они такие: «Силы небесные! Да ты шутишь!» А он такой: «Если бы». В итоге все амаликитяне сделали себе обрезание и отправили к израильтянам гонцов с вестью о том, что они сделали. И стали молиться Богу Израилеву о пощаде и защите.

Как только израильтяне прослышали, что их враги сделали себе обрезание и «были в болезни», тут же взяли они свои мечи и смело напали на амаликитян. «И никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и поднялись на гору Сеир».

Текст на моей страничке заканчивался такими словами: «Из Кантаветиклов, стихи 25–29». Я посмотрел на Конни, которая читала вместе со мной.

— В еврейской школе нас по-другому учили, — сказала она.

Снова я, — написал я, — *Если честно, мне и самому странно, почему я до сих пор тебе пишу, Эл. Толку от этого никакого, один вред. Но теперь*

я по крайней мере знаю, кто ты такой, и могу подать на тебя в суд. Может, пора прекращать? Особенно меня бесит эта религиозная чушь. Лучше бы уж денег потребовал, ей-богу. Обрезание? Чувак по имени Агаг? Надеюсь, ты действительно во все это веришь: если Бог все-таки существует (что крайне маловероятно), гореть тебе в аду.

Иногда я сгоряча бросал какую-нибудь фразу типа «Да я повешусь», «Проще перерезать себе вены», «Единственный выход — коллективное самоубийство». Она мгновенно мрачнела, замирала на месте и начинала пылко вещать: «Надеюсь, вы это не всерьез говорите? Самоубийство — не повод для шуток!» Пока я размышлял над ее словами — она выражала надежду, что я говорю не всерьез, и тут же отчитывала меня за шутку, — тирада продолжалась: «Лишь Господь дарит и забирает жизни. Самоубийство — это отрицание всего, что он создал, всего прекрасного и радостного, что есть на свете. Неужели вы не видите вокруг себя ничего прекрасного?» Я отвечал, а она говорила: «Слышать не желаю про эти омерзительные сайты! Я имела в виду восходы и закаты, цветы в ботаническом саду, младенцев в колясках! Неужели ничто вас

не радует, кроме взрослых женщин, публично порочащих себя в Интернете?» Я отвечал, и она говорила: «Свобода — это лишь понятие. Но так и быть, я принимаю ваш ответ. Однако самоубийство — это не свобода. Это вечный плен. Силы небесные, да вы бы хоть по сторонам посмотрели! Сколько вокруг красоты! Неужели нельзя иногда сказать себе: «Смотри, смотри!» — и порадоваться птичкам, облакам и всему, что наполняет сердце ликованием?» Я отвечал, и она говорила: «Да, согласна, все это мимолетно. Но, Пол, разве суть не в том, чтобы вкусить прекрасное во всей полноте, пока оно длится? Все пройдет. Даже плохое. Даже боль. Нельзя всю жизнь концентрироваться на плохом, пока хорошее проходит мимо!» Я отвечал, и она говорила: «А я не считаю такой подход честным. Я считаю, вы просто не в состоянии жить полной жизнью. Разве вы не хотите жить полной счастливой жизнью?» Я отвечал, и она говорила: «Вы не один. У этого чувства даже есть название: отчаяние. Многие люди, прежде чем уверовать в Господа…» Тут я бесцеремонно ее обрывал, как делал уже тысячу раз, и она уступала: «Хорошо, на время забудем о Боге. Это самая страшная и самая частая ошибка, но, раз я должна приве-

сти весомый аргумент, давайте забудем о Боге. Подумайте вот о чем: если жизнь так коротка и в ней не так уж много счастья, то почему нельзя сознательно искать хорошее? Стараться во всем видеть только красоту, просто чтобы не падать духом?» Я отвечал, и она говорила: «Я понимаю, что в инфекциях и запущенных абсцессах сложно увидеть красоту, ну а по дороге на работу и домой? На этих ваших экскурсиях по городу? Разве так мало на свете прекрасного, разве мало того, что помогает нам жить дальше?» Я отвечал, и она говорила: «Да знаю я, что в метро тоже полно несчастных! — Она в отчаянии вздыхала, но все равно продолжала меня терроризировать, великолепная, неукротимая Бетси. — Я говорю не об этих изможденных на скамейках, — тут я вставлял еще пару слов, — и не о калеках с бомжами, я говорю о дороге до метро!» Я отвечал, и она говорила: «А почему вы все время пялитесь в телефон? Неужели нельзя его отложить на минутку?» Я отвечал, она говорила: «Если вы сами признаетесь, что он помогает вам не думать о всяких гадостях, тогда вы, стало быть, сознательно становитесь рабом технологий!» Я отвечал, она говорила: «Ничего более богохульного в жизни не слышала. Технологии

никогда не займут место Всевышнего. Это же Всевышний, силы небесные! С мобильными телефонами или без, все люди имеют внутреннюю потребность к молитве, согласны?» Я отвечал, она говорила: «Обмен эсэмэсками и электронными письмами — не новый способ молиться! Как вы не понимаете: эта крохотная машинка, отвлекая вас от мыслей о Боге и о том, что он сотворил, только преумножает ваше отчаянье!» Я отвечал, она говорила: «Мир, созданный технологиями, гроша ломаного не стоит. Он никогда не сравнится с творениями Господа нашего». Тогда я спрашивал ее, куда же я должен смотреть, если не в телефон, и задавал несколько наводящих вопросов. Она отвечала: «Да, на асфальт! Да, на дома! Да, на людей! Вы удивитесь, сколько вокруг прекрасного и радостного. Разве вы не хотите чаще удивляться?» Я отвечал, а она склоняла голову набок, чуть поджимала губы, протягивала мне руку и произносила: «Нет, молодой человек, еще не поздно. Ох, лапочка, да это никогда не поздно!»

Позже ко мне подошла Конни и спросила:

— Ты когда-нибудь рассказывал моему дяде Майклу анекдот про священника и раввина?

Дядя Майкл был женат на сестре ее матери,

Салли. У него была своя фирма по оценке недвижимости. Салли сидела дома с детьми, уже давно взрослыми. Они жили в небольшом домике в Йонкерсе — небольшом, но во всех смыслах прекрасном домике. Лучше и пожелать нельзя — именно такое впечатление у вас создавалось, когда вы ступали на порог этого дома. В нем жили разумные, доброжелательные и отзывчивые люди, которые ценили имеющееся и не желали большего. Я побывал у них в гостях всего один раз, когда умерла матушка дяди Майкла и они сидели по ней шиву. Я никогда раньше не сидел шиву и вообще почти ничего не знал об этой традиции. Пришлось даже порыскать в Интернете, чтобы не опозориться перед Конни. На шиву в скромном доме Майкла и Салли каждый вечер собиралось столько народу, что я едва не оглох, когда они все разом запели поминальный кадиш, мгновенно превратив полупраздничную атмосферу в похоронную. Конечно, рядом с дядей Майклом и тетей Салли атмосфера не была праздничной, как и рядом с их ближайшими родственниками, однако все остальные, включая меня, вели весьма оживленные светские беседы. Наверное, так бывает на любых поминках: безмолвное ядро скорби всегда окружено шумным

ореолом. Однако шива произвела на меня неизгладимое впечатление, я никогда не испытывал ничего подобного. Ирландец похоронит покойника, сходит на поминки и будет скорбеть дома в гордом одиночестве. А у еврея есть семь дней, чтобы разделить горе с близкими и друзьями.

— Анекдот про священника и раввина? Это ты к чему? Я Майкла не видел сколько… полгода?

— Это было давно.

— Так с чего ты вспомнила?

— Пошли слухи. Я тогда не обратила на них внимания. Думала, родня просто вредничает. Ты знаешь такой анекдот или нет?

Я помолчал.

— Да я много анекдотов знаю.

— Сколько из них про священников и раввинов?

Я сделал вид, что пытаюсь вспомнить.

— Расскажи хотя бы один.

Я откашлялся.

— Священник и раввин… кхе-кхе, прости… Значит, однажды священник и раввин решили поиграть в гольф. Пришли они спозаранку на поле, а оно занято. — Я умолк. — Конни, мне этот анекдот гольфисты рассказали, когда я еще играл. Это было очень давно. Я не играл уже… Зачем

тебе это вообще?

— Я хочу знать, какой анекдот ты рассказал дяде Майклу.

— Я не уверен, что рассказывал его твоему дяде.

— Давай уже, Пол.

Вообще-то я предпочитаю, чтобы на работе меня звали доктор О'Рурк или, на худой конец, доктор Пол, но я решил не придираться к этому нарушению субординации.

— Ну, подошли они к смотрителю… А, нет, там был еще имам. Я же говорю, давно было дело… Значит, они втроем подходят к смотрителю и просят разобраться. «Мы уже двадцать минут ждем, а эти четверо впереди даже с места не сдвинулись! Что такое?» Смотритель извиняется. «Я понимаю ваше недовольство, но потерпите. Эти бедолаги — слепые». Имам возносит молитву Аллаху, священник благословляет играющих…

Я умолк.

— Почему ты замолчал?

— Мне продолжать?

— А что, это конец?

— Нет.

— Рассказывай до конца.

— Раввин же отводит смотрителя в сторонку

и спрашивает: «А нельзя им ночью поиграть?»

— Смешно, — без улыбки сказала Конни.

— Ты даже не улыбнулась.

— Мне любопытно, почему ты решил рассказать этот анекдот дяде Майклу.

Если я и впрямь его рассказывал, то только с одной целью: рассмешить дядю Майкла. Понравиться ему. Понравиться всей семье. Стать Плотцем. Я хотел стать евреем Плотцем, который сидит шиву, ходит в синагогу и делает с Конни детей под защитой неприступного бастиона — ее дружной и многочисленной семьи.

— А что? Разве он антисемитский? Вроде бы нет…

Я всегда до одури боялся ляпнуть что-нибудь антисемитское.

— Дядя шиву сидел! У него умерла мать!

— Что?!

— Тебе не пришло в голову, что это не самое подходящее время для анекдотов?

— Погоди, Конни, если я и рассказывал ему этот анекдот, то уж точно не во время шивы. Да я вообще никаких анекдотов на шиве не рассказывал! С чего ты взяла?

— Говорю же, слух прошел. Я тогда не взяла в голову.

— А теперь — взяла? Конни, брось, я бы не стал шутить шутки с человеком, который сидит шиву. Что у меня, мозгов нет?

— А разве есть, Пол Сол? Расскажи мне про свои мозги, с удовольствием послушаю.

Я ушел лечить пациента.

За годы работы на Парк-авеню я тысячи раз проходил мимо магазинчика «Редкие книги и антикварные вещицы Карлтона Б. Зукхарта», но ни разу не находил повода туда заглянуть и даже не мечтал, что такой повод у меня появится. А в пятницу я зашел в магазинчик. Часть его занимала витрина с редкими книгами, часть — шкафы, полные всяких диковинок. Главный зал был целиком отделан толстыми досками бразильских твердых пород, которые оглушительно ревели и стонали под ногами, точно корабельная палуба, которая вот-вот разлетится в щепки. Лестница такого же дерева и цвета каталась вдоль высоких книжных полок, нашептывающих рассказы обо всех роковых и ключевых моментах человеческой истории. Письменный стол хозяина находился тут же, на небольшом возвышении, за легкой тонкой балюстрадой, словно бы изготовленной из выдувного стекла. За письменным столом в плексигласовом коробе помещался

древний меч с рукояткой, инкрустированной драгоценными камнями. «Участвовал в Крестовых походах», — сказал хозяин, проследив за моим взглядом. Справа на полке выстроились человеческие черепа, послушно глядевшие в вечность. Наша беседа началась с его рассказа о камне, лежавшем у него на столе — вроде бы самом обыкновенном и ничем не примечательном. Выяснилось, что это — ценная археологическая находка, обнаруженная в Иерусалиме. Зукхарту она служила пресс-папье. Я мысленно посочувствовал бедному камню — ему пришлось покинуть царство погребенных тайн ради того, чтобы придавливать стопку накладных в темной каморке на Восемьдесят второй улице.

Я рассказал Зукхарту о внезапном появлении сайта моей клиники и странных текстах, написанных от моего имени.

— Вы что-нибудь знаете о Кантаветиклах?

— Кантаветиклы?.. Что это?

— Собрание кантонментов?..

— А что такое кантонмент?

Легкий выговор Зукхарта чуть-чуть не дотягивал до липового британского акцента. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, обнажая буйные заросли белых кудрей на руках, которые

он все время (и прямо-таки сладострастно) поглаживал.

За годы работы Зукхарт несколько раз становился посредником при крупных и широко освещаемых в прессе сделках: одна из них касалась части свитков Мертвого моря, другая — подлинного экземпляра Библии Гутенберга. В обоих случаях он выступал агентом со стороны продавца. В конце 90-х, однако, репутация Зукхарта здорово пострадала, когда один частный коллекционер обвинил его в продаже подделки. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст страницы из пропавшей части Кодекса Алеппо на несколько столетий больше, чем должен быть. Все-таки Интернет — это кладезь информации.

Я вручил Зукхарту распечатанную страничку с биографией, и он стал оглаживать все свое тело в поисках очков, которые обнаружились на столе.

— Нет, нет, тут все переврано, — сказал он, дочитав. — Израильтяне не нападали на амаликитян. Это амаликитяне напали на израильтян. — Послюнив большой и указательный пальцы, он принялся со скоростью Гугла листать страницы Библии Короля Иакова, что лежала у него на столе. — «Помни, как поступил с тобою

Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога».

— Вот это я понимаю — знание Библии, — сказал я.

— Ох, молодой человек! — проговорил Зукхарт, вновь начиная поглаживать свои кущи на руках. — Поработали бы вы с мое в торговле антиквариатом, тоже знали бы Библию наизусть.

— На моей странице написано про их попытку обратиться в иудаизм.

— В иудаизм? Маловероятно. Амаликитяне были безбожниками и дикарями, только и умели, что верблюдов красть.

— Что с ними сталось?

— Да то же, что и со всеми прочими. С хеттеями, евеями, аморреями, ферезеями, иевусеями, идумеями, моавитянами… Может, их поглотили более крупные племена? Может, они эволюционировали в индоевропейцев? Или просто вымерли?

— Но в конце истории четыреста человек уцелели и спаслись бегством.

— Согласно этой версии — да. — Он показал на распечатку. — Но библейская версия весьма

от нее отличается, весьма и весьма.

— И что же написано в Библии?

— Уцелевших амаликитян стерли с лица земли.

— Стерли с лица земли?

Он улыбнулся, с удовольствием вспоминая эту древнюю резню.

— Уничтожили. Истребили. По Божьему велению, разумеется.

Он снова послюнил большой палец и зашуршал страницами Библии.

— «Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек… И побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня». — Зукхарт откинулся на спинку кресла. — Первый письменно зафиксированный геноцид в истории человечества.

Я нашел в телефоне «свой» комментарий под статьей в «Таймс» и показал его Зукхарту.

— «Этот народ восстал из пепла истребленных амаликитян», — прочитал он вслух, задумчиво поглаживая своих пушистых питомцев. — Что за народ, интересно?

Полюбив Сэм Сантакроче, я заинтересовался и католицизмом. Я узнал, как слово «папский» стало ругательным, а еще — с каким количе-

ством предрассудков столкнулись католики, когда впервые попали в Америку. Страна была отнюдь не папская, а местные поселенцы и революционеры (исключительно протестанты той или иной разновидности) открыто сомневались в патриотизме католиков, ведь те могли быть верны только Риму. Протестанты делали все, чтобы не пустить в страну иноверцев, а когда это не сработало, сослали всех (если мне не изменяет память) в новообразованный штат Мэриленд. Я был потрясен. Я и не подозревал, что в стане христиан имела место такая лютая вражда. Все-таки главный герой их преданий обычно изображается если не распятым на кресте, то в окружении ягнят и детей. Однако же христиане в самом деле горячо ненавидели друг друга. Поскольку Сантакроче, — которые устраивали охоту за яйцами на Пасху, разъезжали на блестящих иномарках и с любовью вспоминали всех усопших собак семьи, словом, олицетворяли собой сбывшуюся американскую мечту, — поскольку эти чудесные люди были католиками, я тоже перешел на сторону католиков.

Однажды вечером, уже после нашего воссоединения с Самантой, когда мне немного открылись глаза на несовершенства семьи Сантакроче, но я

все еще хотел стать одним из них, приобщиться чистой сантакрочевской святости, мы отправились на праздничный семейный ужин. И вот посреди застолья я обратился к Бобу Сантакроче с речью о том, сколько бед и лишений выпало на долю католиков. Я рассказал ему пару фактов, которые узнал еще несколько лет назад, когда моя маниакальная любовь была в зените. Я упомянул казнь Томаса Мора, расхожее мнение, что Вавилонская блудница — это Рим, а также клятвы верности, не позволявшие католикам в Америке XIX века становиться чиновниками и сотрудниками муниципальных учреждений.

— А чего стоят эти восстания филадельфийских нативистов в 1844 году! — непринужденно добавил я.

Затем я упомянул беспрецедентную речь кандидата в президенты Джона Ф. Кеннеди, который отказался «отчитываться перед папой». Боб Сантакроче был крупный мужчина с темно-русыми волосами и голубыми глазами. По неведомым мне причинам — но вряд ли со зла — он называл меня Хилари.

— Ага, — рассеянно сказал он и посмотрел на меня так, словно только что увидел. Вдруг в его глазах загорелась некая мысль. — Как тебе

новая квартира?

Мы с Сэм жили вместе, и ее родители были в курсе. Но чтобы не объяснять ничего благочестивым друзьям и родственникам, которые бы пришли в ужас от нашего добрачного сожительства, Сантакроче предложили снять на мое имя квартиру, которая бы большую часть времени пустовала, но в нужный момент предоставляла им возможность избавиться от моего присутствия. Когда к Сантакроче приезжали в гости — или друзья семьи, или друзья Сэм, чьи родители дружили с ее родителями и могли распространить нежелательные слухи, — меня просили на время перебраться в эту квартиру. Иногда я проводил там всю ночь. Когда, к примеру, родители Сэм приезжали на пару дней, они не желали видеть меня в «дочкиной» квартире и на каждом шагу сталкиваться со свидетельствами нашей греховной связи. Я согласился на этот обман — я! подумать только! — потому что Сэм настояла и потому что я сам на короткое время пал жертвой чудовищного обмана. До меня стало медленно доходить, что без чудовищных обманов, без лжи и лицемерия не может быть идеальной американской жизни, о которой я мечтал. Совершенство всегда поверхностно, и на какие только

грязные уловки не идут люди, чтобы соблюсти внешние приличия.

— Отлично, — ответил я. — Вы очень щедры, спасибо вам за крышу над головой.

— Мы подумали, что вряд ли у тебя много денег. Все на учебу уходит.

— Это правда, — ответил я. — Живу впроголодь.

— А на полу спать ты вряд ли захочешь.

— Ага. Не самое приятное занятие.

— Ладно, Хилари, пойду глотну еще мартини. Бывай.

Позже на том же праздничном ужине мы слушали его воспоминания об учебе в университете Дрекселя — как они с однокурсниками жульничали и списывали на экзаменах.

И почему я решил, что такому человеку, как Боб Сантакроче, — простому, жизнерадостному, не обремененному мыслями о тяготах жизни и несовершенствах мира, — есть дело до ущемленных прав католиков? Да плевать ему на антикатолицизм, он никогда не мешал ему заводить друзей и делать деньги. То, что я сам остро среагировал на несправедливость — принял все это близко к сердцу, потому что смотрел на Сантакроче и не мог понять, как такие славные люди

могут быть предметом чьей-либо ненависти, — было, по сути, признанием в любви, которого Боб Сантакроче не разглядел в моих патетических речах (да и кто в своем уме ждал бы от него такой чуткости?). Ну и, разумеется, я был начисто лишен такта и понятия об уместности определенных высказываний. Он ведь был обыкновенный добродушный простак, который легко наживался на любых обстоятельствах, умея извлечь из них выгоду. Да к тому же пропустил за вечер четыре мартини. Умей я болтать на вечеринках только о бейсболе, возможно, я сейчас был бы его зятем.

Познакомившись с Плотцами, я твердо вознамерился беседовать исключительно о спорте, погоде, знаменитостях, новых моделях автомобилей, политических скандалах, ценах на бензин, правильных клюшках для гольфа и прочих пустяках. Я взял на себя обет сдержанности в отношениях с Конни, а значит, и в отношениях с ее родными. Этот обет не позволял мне вести себя по-идиотски. В конце концов, мне было тридцать шесть, я имел высшее образование и процветающий бизнес. Кому и что я должен был доказывать? До меня Конни притаскивала на семейные ужины немытых блохастых музыкантов да поэтов-неудачников, которые (как я

понял по некоторым непринужденным замечаниям ее родных) воровали вино и прощупывали подушки диванов на предмет денежных заначек. Я хотя бы прилично зарабатывал. Сидел бы себе за столом, помалкивал да улыбался. С таким подходом они, возможно, примут меня в семью, говорил я себе. И даже, если очень повезет, когда-нибудь полюбят.

Однако Плотцы не вели пустяковых бесед, какие были приняты на коктейльных вечеринках Сантакроче. На их семейных сборищах человек успевал только поднять какую-нибудь тему, как его тут же перебивал второй, а второго через минуту обрывал третий. Никакой пустой болтовни за столом. Плотцы живо интересовались политикой — и нашей, и израильской — и имели свое мнение о происходящем. Каждое новое мнение защищалось более рьяно и громогласно, чем предыдущее, и каждое было делом жизни и смерти. Даже такая ерунда, как книги, фильмы, рецепты и плата за парковку, была делом жизни и смерти. Эти люди, чьи дедушки и бабушки работали разносчиками и торговцами в Нижнем Ист-Сайде, чтобы устроить детей в вечернюю школу, ничего не принимали на веру. Им во всем нужны были весомые доводы. Ника-

кого легкомыслия. Мне это очень понравилось, и я проникся к ним куда большим уважением, чем к Сантакроче. Сколько бы я ни уговаривал себя быть сдержанным, помнить о своем возрасте, профессии и печальных ошибках прошлого, удивительная семья Плотцев — первая в моей жизни семья американских евреев — сразила меня наповал живостью своих застольных бесед и редким в наши дни единодушием.

Атеисту приходится несладко по многим причинам, и отсутствие в его жизни Бога (а значит, всех благ и утешений, которые дарит божественное присутствие) — еще не самое скверное. Самое скверное заключается в том, что атеист утрачивает доступ к существенной части словаря. Милосердие, прощение, сострадание — все это я ценил не меньше, чем самый истовый верующий, пусть наши взгляды на первопричину разнились. Однако для этих понятий у меня не было подходящих слов. В ту пору я придумал для описания своих чувств какое-то другое слово, но сейчас могу сказать, что в кругу Плотцев я почувствовал себя благословенным.

Большую часть времени я вел себя хорошо, но пару-тройку сомнительных поступков все же совершил. Про то, как я расточал комплименты

и танцевал хору на свадьбе сестры Конни, вы уже знаете. А еще я однажды (когда Конни куда-то отошла) предложил ее дяде Айре и тете Анне бесплатное лечение в моей клинике.

— Приходите в любое время, — сказал я, вручая Айре свою визитку. — Можно даже без записи.

Айра тщательно изучил карточку со всех сторон и передал жене.

— У меня уже есть стоматолог. Зачем мне еще один?

— Он просто хочет сделать нам приятно, Айра! — воскликнула Анна, отмахнулась и поблагодарила меня за предложение. — Но он прав. Мы уже двадцать лет ходим к одному стоматологу. Доктор Лакс, знаете такого?

Я помотал головой.

— Конечно, не знаете, он ведь из Нью-Джерси. Лучше стоматолога, чем доктор Лакс, я в жизни не встречала.

— Хорошо, но мое предложение всегда в силе. Просто имейте в виду — мало ли, вдруг срочная помощь понадобится.

— Если мне понадобится срочная помощь, я позвоню доктору Лаксу, — сказал дядя Айра.

Анна нахмурилась.

— Это он так говорит спасибо, — сказала она.

Примерно в то же время я начал интересоваться иудаизмом: при любой возможности шел в библиотеку и читал. Почему-то меня задевали за живое истории не о римлянах (слишком давно было дело) и не о фашистах (слишком общеизвестно), а об эпизодах меньшего масштаба: кучку евреев обвинили в каком-то нелепейшем преступлении и казнили, после чего местные чиновники тут же распродали все ими нажитое; пятьдесят евреев сожгли на деревянном помосте на кладбище, и их крики потом подробно описывались в дневнике некоего христианина; детей вытаскивали из огня и крестили против воли родителей, наблюдавших за происходящим из костра. Мир никогда не казался мне таким жестоким, бессмысленным и больным, как на страницах истории еврейского народа. И таким безнадежным.

В общем, вы понимаете, меня так и подмывало поделиться с кем-нибудь своими соображениями, разразиться очередной позорной неадекватной тирадой, как тогда с Бобом Сантакроче. Только вот антикатолические настроения по сравнению с антисемитскими — просто цветочки. Больше всего мне хотелось побеседовать с дядей Стюартом. Не знаю почему. Наверное, меня при-

тягивали его чувство собственного достоинства, его выдержка и твердость принципов. За столом он всегда ел очень мало, словно потребление обычной пищи было ниже его и он питался чем-то другим, высокодуховной пищей, которую находил в Торе и в молчании. Однако эти порывы я сумел побороть. Дяде Стюарту меньше всего нужны были мои извинения за дела давно минувших дней, да я и не был виноват. Мне не хотелось, чтобы он подумал, будто я извиняюсь или жалею его и весь еврейский народ, вместе взятый. Я просто хотел, чтобы он знал: я все знаю. Но что я знал? Даже если бы я прочитал все, абсолютно все о еврейской истории, об их страданиях, о вере (а это было невозможно), — что бы мне это дало? Допустим, я подошел бы к дяде Стюарту и сказал: «Знаете, я тут читал про крестовые походы». Или про погромы. Или про насильственное обращение в христианство. Но разве я говорил бы о крестовых походах, погромах и обращениях? Нет, я говорил бы о себе. Как и тогда с Бобом Сантакроче, я лишь пытался бы продемонстрировать свою осведомленность и политкорректность. Только в отличие от Боба Сантакроче, дяде Стюарту было не плевать. Я боялся, что, если подниму все эти темы, дядя Стюарт услышит только:

«Крестовые походы, ого! Погромы, ничего себе! Насильственные обращения, вау!» Словно это какой-нибудь хит-парад исторических событий, на которые так просто смотреть с правильной стороны на данном этапе истории. Я поклялся держать свои романтические симпатии в узде, и история антисемитизма — изгнание евреев из Франции, Испании и Англии, Холокост, — величие и масштабы этих событий помогали мне молчать, делали молчание единственно возможной тактикой поведения.

А потом на дне рождения Тео, двоюродного брата Конни, я допустил ошибку.

У читателя может сложиться впечатление, что я был атеистом всю жизнь. Это не вполне так. Мои родители были весьма равнодушными прихожанами протестантской церкви, которую мы все вместе посещали от силы раз десять. Только однажды, когда мне было восемь, мы ходили туда шесть недель подряд, не пропуская даже воскресную школу и обеды по средам. Это была идея моего отца, который таким образом надеялся удержать нас всех на пути истинном. Видимо, по чьей-то подсказке он решил, что Бог поможет ему избавиться от проблем, включая привычку приносить домой из «Сирза» все имевшиеся

на распродаже утюги, а потом плакать в ванной, пока мама их возвращает. (Представьте, каково мне — здоровому ребенку — было смотреть на все это со стороны; я был удивлен поведением взрослых не меньше, чем расстроен слезами отца.) После самоубийства отца моя мама — видимо, в попытке что-то сделать со своей реакцией на немыслимое, — обошла великое множество церквей: баптисткую, лютеранскую, епископальную, церковь Ассамблеи Бога, церковь Христа, заурядные церкви и евангельские церкви, церкви, одобряющие самопожертвование, и церкви, одобряющие щедрые пожертвования… Потом она возвращалась домой, садилась на диван и скорбела, как скорбят большинство американцев: наедине с телевизором.

За это время я узнал — от теток, которые нагибались ко мне, упирая руки в колени, и от дядек в черном, которые штабелировали стулья, и от старых священников, предлагавших сесть к ним на колени, — что Бог есть. Он жив, он присматривает за мной, он добрый, всемогущий и прогонит все дурное. Он послал своего сына, Иисуса Христа, умирать за наши грехи, и Иисус полюбит меня, если только я ему позволю. Если я полюблю его всем сердцем, он вернет

мне отца — мы снова встретимся в чудесном месте под названием «рай». Он исцелит папины раны и простит ему грехи. Папа больше никогда не будет грустить, а мама — плакать, и мы всегда будем вместе, и ничто нас не разлучит. Мне очень хотелось в это верить, и я поверил.

Примерно в ту же пору я впервые услышал о Мартине Лютере. В воскресной школе нас учили, что он — герой, человек, который выступил против папы Римского и вернул Библию народу. Допускаю, что после знакомства с ярыми католиками Сантакроче Лютер немного упал в моих глазах, однако я по-прежнему считал, что именно Лютеру мы обязаны Америкой, со всеми ее многочисленными разновидностями протестантизма. Однако с точки зрения иудаизма Лютер был отнюдь не герой. Он верил, что, стоит ему справиться с папским засильем и явить миру истинную мощь Писания, евреи тут же массово обратятся в христианство. Нормально так замахнулся, а? Евреи не предали свою веру во времена Христа, не дрогнули перед лицом Римской империи, пережили разграбление Иерусалима и огонь крестовых походов. Европейские короли отобрали у них все нажитое и отправили их вместе с детьми умирать в ссылке, однако и тут

их вера не пошатнулась. Но теперь-то, решил Лютер, когда я раздам каждому по Евангелию, они одумаются. Евреи не одумались. Тогда Лютер передумал и написал памфлет «О евреях и их лжи», название которого весьма полно и точно отражало его истинные чувства.

Мне захотелось узнать у дяди Стюарта, известно ли ему, как безответственно и злобно высказывался Лютер о евреях и как его слова положили начало пяти столетиям жестокого антисемитизма, вылившегося в Холокост. Мне хотелось узнать, что он думает об этом мерзком потном немце. Уже тогда — еще до нашего короткого разговора на свадьбе Конниной сестры, когда он рассказал мне анекдот про филосемита и антисемита, — дядя Стюарт внушал мне страх. Однако и промолчать я не мог, слишком много гадостей я прочитал про Лютера. Передо мной были Плотцы во всем великолепии их многочисленной семьи, эти «злобные ядовитые черви», как писал о них Лютер, собравшиеся на празднование дня рождения Тео: Коннина бабушка Глория Плотц, ослепшая в результате разрушения желтого пятна сетчатки, но ласково улыбающаяся своим внукам; ее кузен Джоэл с громогласным смехом; младенец, спящий на руках Конниной сестры

Деборы; дядя Айра, стоящий в сторонке и уплетающий печенье. «Наша вина в том, что мы их не истребляем», — говорил Лютер вот об этих людях, тетях, дядях и кузенах, дарящих подарки и уплетающих печенье. Я подошел к Айре.

— Читал на днях про Мартина Лютера, — сказал я. Он взглянул на меня. — Вы знали про его памфлет «О евреях и их *лжи*»? — Не переставая жевать печенье, он вскинул брови и отвел глаза. — Я его прочел.

— Зачем?

— Зачем?

— Ну да. — Он проглотил печенье. — Зачем?

— Потому что раньше не читал.

Он непринужденно вытер бороду бумажной салфеткой и пристально поглядел на меня.

— Лютер был антисемит.

Айра подумал и изрек:

— И?

— И говорил ужасные вещи. Вот смотрите, я прихватил с собой несколько цитат.

Я достал из кармана клочок бумаги, который мне выдали в библиотеке, и дал его Айре.

— «Когда вы видите еврея или даже думаете о нем, говорите себе: вот эти губы грязно поносили, проклинали и клеймили моего Господа

Иисуса Христа, пролившего свою бесценную кровь за мои грехи...» — Он умолк и снова посмотрел на меня. — Зачем вы это выписали?

Я выписал это, потому что меня возмутило, как такое вообще могло быть написано — и почему это до сих пор оставалось в публичном доступе. Но теперь я сам записал это самое на бумажке и носил с собой, показывая людям на вечеринках. Внезапно я увидел себя глазами Айры и понял, что выгляжу безумцем.

— И часто вы носите такое в карманах?

— Нечасто.

— Любопытные цитаты, — сказал он, отдавая мне бумажку.

А потом отвернулся и ушел. Его слегка приподнятые брови оказались как нельзя более красноречивы — я все о себе понял.

Собственно, я это к чему? В ту пору я мог ляпнуть и сделать что угодно. И вот в три часа ночи я с ужасом осознал, что действительно рассказал Майклу Плотцу тот анекдот, возможно, даже во время шивы.

В то утро когда я заходил в магазин Зукхарта, в очереди за сигаретами мне случайно бросился в глаза один журнальный заголовок: «Дон и Тейлор снова вместе?» — вопрошали огромные

красные буквы. Позже, когда я сверлил зубы пациенту, мои мысли вернулись к этому заголовку. Про то, что Дон и Тейлор снова вместе, я слышал впервые, — мало того, я даже не знал, что они расставались и, раз уж на то пошло, кто они вообще такие. Дон и Тейлор… Дон и Тейлор… кто такие Дон и Тейлор? Учитывая, сколько места их потенциальному воссоединению уделили на обложке известного журнала о знаменитостях, я должен бы их знать. Но я не знал, и это в очередной раз привело меня к мысли о том, как чудовищно я отстал от жизни. Стоило мне хоть немного наверстать упущенное — бац! — и снова я встречал заголовок вроде этого, и понимал, что опять отстал. Почему же я все время отстаю? Ну, во-первых, я уже немолод, разумеется. Во-вторых, я не смотрю телепередач, фильмов и клипов, где могут фигурировать Дон и Тейлор. Меня не волнуют скандалы по поводу случайно всплывших видео, на которых Дон и Тейлор занимаются любовью. И все же я почувствовал себя не у дел. Мне понадобилось срочно узнать, кто такие Дон и Тейлор. Или хотя бы понять, кто из них мужчина. С такими именами, как Дон и Тейлор, вечно все непонятно. Я-то сам думал, что Дон — мужчина, но ведь так вполне могли

звать и женщину. Тогда мужчиной окажется Тейлор. Тут мне пришло в голову, что они оба могли быть как женщинами, так и мужчинами. В наше время на обложках журналов могут оказаться какие угодно пары. Как Эллен и Портия, например. Эллен и Портию я знал. Еще я знал Брэда и Анжелину. До Брэда и Анжелины я знал Брэда и Джен, а еще раньше — Брэда и Гвинет. Это как с Томом и Кейти: сперва был Том и Мими, потом Том и Николь, а уж потом только Том и Кейти. Еще я знал Брюса и Деми, Джонни и Кейт, Бена и Дженнифер. Вот сколько я знал пар! Однако же все они безнадежно устарели. Людям, кумирами которых были Дон и Тейлор, Брюс и Деми казались древними артефактами из 80-х годов прошлого века. А 80-е закончились тридцать лет назад. Поклонники Дон(а) и Тейлор(а) воспринимали 80-е, как я раньше воспринимал 50-е. Это ж надо, 80-е в одночасье превратились в 50-е. Как такое могло произойти? В глазах людей, следивших за жизнью Дон(а) и Тейлор(а), я мог носить енотовую шапку с хвостом и трястись, забившись под стол, в ожидании ядерной атаки Советского Союза. Вскоре и 2010-е превратятся в 1980-е, и никто уже не вспомнит Дон(а) и Тейлор(а), а потом мы все умрем. Я решил немедленно узнать, кто такие

Дон и Тейлор, и черт с ним, с пациентом. (В этот момент я делал операцию по пересадке мягких тканей десны.) Я посмотрел на Эбби. Уж она-то должна знать, кто такие Дон и Тейлор, подумал я. Надо у нее спросить. Но я не мог спросить Эбби, потому что она, видите ли, меня боялась и не стала бы со мной разговаривать. Несомненно, она бы просто молча осудила мое невежество: *все* знают, кто такие Дон и Тейлор! Я прямо услышал ее внутренний монолог: «Он не знает, кто такие Дон и Тейлор?! Ах, как печально. Он совершенно отстал от жизни. Он старый и скоро умрет, и даже думать о нем тоскливо». Нет уж, не буду я спрашивать Эбби. Придется торчать тут до конца операции, испытывая все тяготы среднего возраста в Америке, пока наконец меня не пустят к я-машинке и…

— Доктор О'Рурк?

В дверях стояла Конни с айпадом.

— Конни, я умру, если не узнаю прямо сейчас. Кто такие Дон и Тейлор?

Она посмотрела на меня так, словно я у нее на глазах выпил стакан хлорки.

— Вы не знаете, кто такие Дон и Тейлор?

— Знаю… и не знаю.

Конни рассказала мне, кто они такие. Да почти

никто! Я вовсе не обязан был их знать.

Закончив операцию, я вышел в коридор к Конни.

— Я только что получила запрос на добавление в друзья.

— В Фейсбуке?

— Да, в Фейсбуке.

— А мне-то что? Почему я должен это знать? И вообще, хочешь совет? Друзья — это прекрасно. Они незаменимы. Вероятно, они даже важнее, чем семья. Но когда ты в следующий раз будешь листать контакты в телефоне, спроси себя, кого из этих людей ты действительно можешь считать друзьями. Одного или двух. А если и к этим двум приглядеться повнимательней, можно обнаружить, что ты не виделась с ними целую вечность и даже не знаешь, о чем с ними поговорить. Так что мой тебе совет: оставь запрос без ответа. От кого он, кстати?

Она протянула мне айпад.

— От тебя.

Фотография опять-таки была сделана камерой слежения. На сей раз я сидел в кабинете № 3 и заглядывал в рот пациенту.

Некто указал мое полное имя, регалии и место проживания: доктор Пол К. О'Рурк, врач-стомато-

лог, Манхэттен, Нью-Йорк.

В графе «Занятия и интересы» значилось одинокое: «Бостон Ред Сокс».

«Бостон Ред Сокс» — занятие и интерес. Не мучительная страсть. Не клятва верности. Не мемориал покойному отцу. Не безотчетная тяга. Просто — интерес. Я слежу за их матчами, домашними и в гостях, их проигрышами и победами — в таком духе. Может, наутро читаю про игру в газете. Таких интересующихся миллионы. Не «Инфаркты и инсульты». Не «Крушения и катастрофы». Не «Жизнь и смерть». «Деятельность и интересы». Вот как они это представили, просто и без затей. Свели тридцать лет моей болезни и пролитых слез к деятельности и интересу.

Но меня взбесило другое. Почему только «Ред Сокс»? У меня что, нет других интересов? А банджо? А лакросс? А испанский? Перед тем как отправить на пенсию свои клюшки, я вызвал сварщика и попросил убрать с моего балкона одну секцию кованых перил. Ночами, страдая от хронической бессонницы, я швырял мячи в Ист-ривер, покуда мимо не проплыла моторка портнадзора с прожектором на борту. Так почему же в графе «Деятельность и интересы» не было ни слова про речной гольф?

Летом 2011-го у Фейсбука был только один бесплатный номер, по которому любой пользователь соцсети — да и вообще любой человек — мог задать интересующий его вопрос или выразить недовольство. Всякий звонивший натыкался на одно и то же приветствие: «Спасибо, что позвонили в техподдержку Фейсбука. К сожалению, в данный момент мы не даем консультаций по телефону».

Каких только кнопок я не нажимал в надежде услышать человеческий голос — все безрезультатно.

Ни одно изобретение в истории человечества — ни печатная пресса, ни телеграф, ни почта, ни телефон — не предоставляло столько возможностей для общения, как Интернет. Но как один-единственный маленький человек с тихим голосом может достучаться до Интернета? К кому он должен обращаться с сообщением об ошибке? Где ему искать справедливости?

— Зачем ты звонишь? Ты вообще в своем уме? Кто звонит в Фейсбук?! — вопрошала Конни.

— Разве у них не должно быть отдела по работе с клиентами?

— У них нет клиентов.

— Горячей линии? Центра по приему жалоб

и предложений? Почему я не могу просто поднять трубку и позвонить друзьям?!

— Давай зайдем на сайт и посмотрим, что они предлагают.

— На сайт?! — вскричал я. — Это возмутительно! Деятельность и интерес, черт бы их подрал! Сволочи! Уравнители душ!

— Эй!

Я орал во всю глотку. Конни ткнула пальцем в сторону приемной.

— Успокойся.

— Как я могу успокоиться?!

Она долго смотрела на экран.

— Что такое «ульм»?

— Не понял?

— Здесь указано, что ты — ульм.

Я тоже посмотрел на экран. Сосредоточив все внимание на своей деятельности и интересах, я не обратил внимания, что злоумышленник указал мое вероисповедание: ульм.

— Вспомнил! Так меня называл Фруштик!

— Кто?

— Да пациент! На имя которого зарегистрирован сайт.

— Который должен был улететь в Израиль?

— Да. Он назвал себя ульмом. И сказал, что я

тоже ульм.

— Кто такие ульмы?

— Понятия не имею. Но теперь все будут думать, что я ульм.

— Кто?

— Не знаю… Все! Я совершенно беспомощен, Конни. Ситуация полностью вышла из-под моего контроля. Да ты сама видишь! Они украли мою личность, мою жизнь!

— Только в Интернете.

Я подумал о разнице между реальной жизнью и интернет-жизнью.

— У меня больше нет выбора.

— Выбора?

— Я пытался сделать так, чтобы у меня всегда был выбор. Чтобы я мог скрыться. Но теперь выбора нет. Я в Интернете, — сказал я, глядя на свою страничку в Фейсбуке. — И в Интернете я — такой.

Я позвонил Талсману — тот направил меня к специалисту по информационному праву.

Затем я написал письмо в «СеирДизайн». Я решил больше не опускаться до угроз и оскорблений и вместо этого воззвал к их совести.

«Не знаю, кто вы и чем я вам насолил, но, видимо, чем-то насолил. Вы рушите мою жизнь».

Ответ пришел почти сразу, и он был очень похож на первый:

«Что вы знаете о своей жизни?»

Я позвонил Зукхарту и спросил его об ульмах. Он слышал только о городе с таким названием, где родился Альберт Эйнштейн. Но древний народ, произошедший от вымерших амаликитян? Как-то это все странно…

Я спросил, узнал ли он что-нибудь про Кантаветиклы, эту их священную книгу.

— Сильно пока не вдавался, но в Интернете о ней ничего нет. Сам я тоже первый раз слышу это название. Я позвонил паре специалистов, они поищут информацию, но я бы на вашем месте на многое не рассчитывал. Могу сказать вам только одно, — добавил он. — Все это очень похоже на правду.

В тот день ко мне пришел любопытный пациент. Он практически с порога заявил, что не может терпеть боль. Мы все испытываем страх перед болью, сказал он, но его страх гораздо сильней. Как правило, он вообще не ходит к стоматологам. Пластмассовые штуковины, которые мы засовываем ему в рот, чтобы сделать рентгеновский снимок, причиняют ему почти невыносимые страдания, по этой же причине он

никогда не делает профессиональную чистку зубов. Пациент хотел, чтобы я просто заглянул ему в рот, посветил фонариком и определил, нет ли там раковой опухоли. Несколько месяцев назад он проснулся с чем-то вроде язвочки или стоматита во рту и понадеялся, что все пройдет само. Не прошло. Даже стало хуже, потому что он без конца трогал больное место языком. Я спросил его, сколько именно месяцев прошло с тех пор, и он ответил, что около шести или семи.

— Ладно, — сказал я, — давайте посмотрим.

Рта пациент не открыл.

— Ладно, давайте посмотрим, — повторил я.

Он даже поплотней стиснул челюсти, поджал губы и посмотрел на меня так, словно мы, потные и сексуально не удовлетворенные, только что встретились на боксерском ринге.

— Надеюсь, я ясно выразился, — сказал он. — Я пришел не за лечением. Мне плевать, если у меня зубной камень или воспаление десен. Не надо ничем меня трогать. Я не терплю боли. Мне неприятно это признавать, но, раз уж вы обязаны хранить врачебную тайну… вы ведь обязаны, не так ли?

— Да.

Ненавижу без конца заверять пациентов, что я

обязан хранить врачебную тайну. Я не какой-нибудь жулик, остановившийся в городе проездом, чтобы сбыть с рук сотню пузырьков с волшебным зубным эликсиром.

— Я знаю, что там все плохо, — сказал он. — Вы захотите подлечить сначала одно, потом другое… Мне плевать. Я прошу вас уяснить это в первую очередь. Я не терплю даже самой незначительной боли. И анестезия — не выход. После того как анестезия отходит, все начинает болеть, а я не могу терпеть боль! Вам ясно?

Я отдал зонд Эбби и поднял руки, как разбойник, только что бросивший оружие на землю.

— Пожалуйста, успокойте меня и скажите это вслух. Вам все ясно?

— Мне все ясно, — сказал я.

Он открыл рот. Жить ему оставалось около полугода.

Я направил этого человека к онкологу, разделался с последним пациентом, и в клинике воцарилась благословенная тишина: телевизоры и аппаратура молчали, все мои коллеги занялись своими делами, и я наконец-то мог взяться за уборку и дезинфекцию. Вообще-то это обязанность Эбби, но в тот вечер мне самому захотелось немного поработать. Я продезинфицировал все

стулья и протер лампы. Убрал все со столешниц и как следует их помыл. Вычистил раковины. Избавился от медицинского и обычного мусора. Затем подошел к столу в приемной, чтобы забрать мусор из корзины, и заметил на нем стопку старых медицинских карт. Их либо должны были занести в компьютерную базу, либо готовили к передаче в архив. Я вытянул наугад одну карту: Моди Маккормак. Дата последнего посещения: 19.04.2004. Я выбросил карту в мешок для мусора. Потом отправил туда всю стопку. Взял первую попавшуюся карту со стеллажа: Райан Кастнер. Дата последнего посещения: 08.09.2005. Долой! Я начал выбрасывать карты без разбора. В приемную выглянула миссис Конвой.

— Что вы делаете?

Я промолчал. Она вышла в коридор и вопросила:

— Что это вы тут устроили?!

Я развернул новый мусорный мешок и отправил в него еще несколько папок. Миссис Конвой выудила из первого мешка одну карту, открыла и внимательно изучила.

— Это нельзя выбрасывать. Вы что, не видели дату последнего посещения?

Я молча выбросил в мешок еще несколько

папок.

— В соответствии с приказом министерства здравоохранения все сведения о пациентах клиники должны храниться минимум в течение шести лет. Этой карте только четыре года.

— Однако я ее выбрасываю.

— Нельзя! Американское стоматологическое сообщество…

Она перечислила сразу несколько рекомендаций Американского стоматологического сообщества. Мне было плевать на Американское стоматологическое сообщество. Мне почему-то стало плевать на все правила, нормы и профессиональную ответственность.

— Этим людям не помешает начать все с чистого листа. Я даю им чистый лист.

— Чистый лист?! Вы с ума сошли?

Я молча продолжал освобождать полки. Краем глаза я заметил в дверях кабинета Конни. Миссис Конвой приходилось открывать каждую спасенную папку и смотреть дату последнего посещения, я же мог выбрасывать их по дюжине штук за раз.

— Этот пациент был у нас в две тысячи восьмом! — вскричала миссис Конвой. — Нельзя выбрасывать его карту! У вас есть профессио-

нальные обязательства…

Она завела шарманку о моих профессиональных обязательствах.

— Две тысячи восьмой давно закончился, — сказал я. — Этот клоун сюда больше не вернется.

— Откуда вы знаете? С чего вы взяли?!

Попытки миссис Конвой мне помешать становились все агрессивнее, и я работал все быстрее. Рядом с Конни теперь стояла Эбби, и они наблюдали за нами как дети, ставшие свидетелями жаркой ссоры между родителями.

— Они не вернутся! Никто не вернется! Ни через год, никогда!

— Это неправда. У нас необычайно высокий процент постоянных клиентов. Вы должны этим гордиться.

Миссис Конвой поведала мне, какой высокий у нас процент постоянных клиентов по сравнению с другими клиниками, в которых она работала.

— Вы должны этим гордиться, — повторила она.

Я отправил в мусор охапку карт.

— Какая разница, вернутся они или нет? Никакой! Всем плевать!

Я схватил двадцать карт зараз и швырнул

в мешок.

— Прекратите! — закричала миссис Конвой.

— На кой черт нам этот мусор?! — закричал я.

— Пол! Умоляю, остановитесь!

Я выбросил еще одну папку и ушел домой.

Глава пятая

Кари Гутрих, специалист по информационному праву, которую мне посоветовал Талсман, перезвонила мне в следующую среду. Она сообщила, что я могу подать на обидчика в суд только в том случае, если мне причинен реальный ущерб, однако остановить его противоправные действия практически невозможно. Интернет живет в слишком быстром темпе.

— В какой правоохранительный государственный орган вы думаете обратиться в настоящий момент?

— В полицию? — предложил я. — В суд?

Она рассмеялась — чересчур весело, на мой взгляд.

— Там бы это подействовало. Но *здесь* — нет.

— Здесь? — переспросил я.

Полиция, суды — все это прекрасно и замечательно в обычной жизни, но в нашем случае речь идет об Интернете и технологиях. Вероятно, в будущем будут приняты какие-то более четкие и строгие нормы, регулирующие отношения в информационной сфере и, в частности, вопросы хищения личности и распространения

порочащих сведений, но на данный момент законодательство слишком размыто. И потом, судебные иски не открывают только потому, что кто-то кому-то досадил.

— Досадил?! Эти люди создали сайт моей клиники, завели мне аккаунт на Фейсбуке, тайно меня фотографировали и теперь по всему Интернету пишут религиозные комментарии от моего имени. По-вашему, это называется «досаждением»?!

— А вы знаете, чьих это рук дело?

— Я знаю, на кого зарегистрирован сайт. — Я продиктовал ей имя Ала Фруштика.

— Возможно, нам удастся убрать сайт, но с юридической точки зрения — да и с практической тоже — мы больше ничего сделать не можем.

От ярости мне захотелось пробить кулаком стену.

— Я что, не могу подать на него в суд за распространение порочащих сведений?

— А какой вам причинен ущерб? Мы пока не знаем.

Она посоветовала мне ничего не предпринимать — и делать это осторожно. Любые меры могут ненароком привлечь внимание к моей новой интернет-личности — этот феномен на-

зывается эффект Стрейзанд: когда люди узнают, что я пытаюсь удалить из Интернета некую информацию, они из любопытства начнут активно ее искать и распространять, создавая порочный круг и привлекая к нежелательному контенту все больше и больше внимания.

— Эффект Стрейзанд — в смысле, Барбары?

— У нас есть список рекомендаций, который мы высылаем всем клиентам, оказавшимся в подобной ситуации. Продиктуйте мне свой электронный адрес — я вышлю.

— Может, лучше факсом?

— Не поддавайтесь панике, — предупредила меня адвокат, — пусть все идет своим чередом. Позже мы заново оценим ситуацию и решим, какой иск подавать.

Пока мы говорили, она просматривала сайт моей клиники.

— Вы в самом деле его не создавали?

— Нет, не создавал.

— Ну, по крайней мере, сайт хороший, — сказала она, пытаясь меня утешить.

Я стоял у двери кабинета № 3 и писал письмо с телефона.

Почему вы без конца спрашиваете меня, что я

знаю о жизни? — ответил я «СеирДизайну».

А вы что о ней знаете, Ал? И какое вам дело, если уж на то пошло? Вы продемонстрировали ограниченность своих познаний, отнеся "Ред Сокс" к "Деятельности и интересам". У меня есть все причины считать вас даже не человеком — компьютерной программой, созданной мошенниками с целью наживы. Информация о моем втором имени есть только в государственных архивах.

Он (или они, или оно) ответил очень быстро:

Меня зовут не Ал. И мои познания о тебе куда глубже и шире, чем любая база данных. Я не программа, а человек, в груди которого бьется горячее сердце. Этот человек протягивает тебе руку и говорит: ты мне небезразличен. Я — твой брат.

Я написал:

Бетси?

Потом стер это и написал следующее:

И что же ты обо мне знаешь — или думаешь, что знаешь, «брат»?

Не получив ответа, я стал писать дальше:

Я люблю сидеть в четырех стенах или предпочитаю свежий воздух? Я кошатник или собачник? Веду ли я дневник? Наблюдаю ли за птицами? А может, собираю марки? Планирую ли я свои выходные заранее, до отказа забивая их интересным досугом, а потом просто расслабляюсь и смотрю, как все запланированное сбывается? Или же тяну до последней минуты, чтобы потом бездарно растратить свободное время? Ты не знаешь. А почему, скажи мне на милость? Потому что все, что ты якобы обо мне знаешь, подвержено переменам. Меня нельзя свести к новостным подпискам и онлайн-покупкам, к этим сложным алгоритмам по упрощению личности. Ты загнал меня в яму, но я из нее выберусь — смотри и завидуй. Я человек, а не зверь в клевере.

Проклятая автозамена! Я тут же отправил еще одно письмо:

Зверь в клетке.

Он ответил:

Вот что я знаю о твоей жизни. Ты сидишь в четырех стенах — по долгу службы. Природа тебя пугает, ты попросту не можешь ее понять.

Ты заменил ее телевидением и Интернетом, которые сами попадают в дом и вносят в твою жизнь необходимое разнообразие, хотя и притупляют инстинкт сохранения духа. Детей у тебя нет, потому что ты чувствуешь свою внутреннюю неустроенность и неприкаянность — еще не хватало передать такое богатство ребенку. Ты постоянно рефлексируешь и живешь в собственной голове, пытаясь разгадать какие-то тайны. Иногда они приводят тебя в отчаяние, и ты теряешь надежду. Однако в твоей голове нет ничего плохого. Мысли позволяют тебе жить насыщенной и сложной жизнью, пусть полной тревог и сожалений, да, но полной также и любви, и нежности, и безудержных мечтаний, и неизъяснимого сострадания. В течение дня ты испытываешь множество чувств и переживаний, но никто этого не знает, потому что никто не умеет читать мысли. Если б они только узнали, о, если б они узнали, они бы сказали: «Да, он жив! Он жив!» О большем и мечтать нельзя.

Или можно?

— Доктор О'Рурк? — сказала она. Причем сказала, по всей видимости, уже не в первый и не во второй раз. — Пол!

Это была Конни. Я уронил руку с телефоном.

— Все хорошо?
Я кивнул.
— Все отлично.
Она ушла, и я написал:

Откуда тебе все это известно?

Он ответил:

Я же сказал: я — твой брат.

Многим кажется, что врач-стоматолог не может близко знать своих пациентов, поскольку их визиты редки и краткосрочны. Однако с постоянными клиентами, которые регулярно приходят на профилактические осмотры, а между этими осмотрами обращаются ко мне с острой зубной болью, попадают в аварии или решают выпрямить зубы, у нас складываются на удивления теплые отношения. Некоторые пациенты выражают мне благодарность даже после самых жестоких и болезненных процедур, искренне признательные за мой труд. Когда они приходят в следующий раз, прежде чем приступить к лечению, я расспрашиваю их о делах на работе и в семье. В такие моменты мне кажется, что я живу в крошечном захолустном городке.

Тем утром, войдя в кабинет к Бернадетт Мар-

дер, которая пользовалась моими услугами уже больше десяти лет, я поначалу решил, что передо мной новая пациентка. Она успела невероятно состариться с прошлого визита.

Это зрелище напомнило мне один анекдот. Женщина записывается на прием к новому стоматологу и замечает, что его зовут так же, как ее одноклассника. Неужели это тот самый парень, которого она в пятнадцать лет любила без памяти? Вот он входит в кабинет, и она быстро спускается с небес на землю — врач совсем старик. Но в самом конца визита она все же осведомляется, в какой школе он учился. Оказывается, в той самой. «А в каком году вы ее окончили?» Врач называет год ее выпуска. «Так вы же были в моем классе!» — восклицает женщина, и ничего не подозревающий стоматолог поднимает глаза, приглядывается повнимательней к старой карге в кресле и спрашивает: «А какой предмет вы вели?»

Моя пациентка Бернадетт Мардер так ужасно, преждевременно и отвратительно состарилась, словно в эти полгода уместились все самые тяжелые и страшные годы ее жизни. Из привлекательной сорокалетней женщины за какие-то сто восемьдесят дней она превратилась

в шестидесятипятилетнюю старуху. Волосы ее поредели и словно бы сдохли прямо на макушке. От бледных иссохших губ расходились глубокие окаменелые морщины, лицо обвисло. Когда я наконец-то сообразил, что передо мной Бернадетт, моя Бернадетт, а не новая престарелая пациентка, я сразу же спросил, как у нее дела, и она ответила, что еще никогда не была так счастлива. Она совсем недавно вышла замуж, и ее повысили на работе. Как же это возможно? Счастлива как никогда, замужем, зарабатывает хорошие деньги… а выглядит точно живой труп. Обычный человек не может заметить или почувствовать неумолимый ход времени. Но я, видя пациентов раз в полгода, хорошо его чувствую. Время летит, это непреложное условие жизни на Земле, и, если оно так губительно сказалось на Бернадетт Мардер, значит, то же самое происходит и с нами — Эбби, Бетси, Конни и мной, — только мы этого не видим и не замечаем (наверное, чтобы всякий раз не останавливаться, показывая друг на друга пальцем, и не вопить от ужаса). Нет, мы спокойно живем себе, сосредотачиваясь на настоящем, которое с каждым днем медленно и тихо погибает, не требуя от нас трезвой переоценки ценностей, внезапных приступов жа-

лости или *радикального пересмотра всей жизни.*

Глядя на Бернадетт — болезненную, сморщенную, облысевшую и счастливую старуху, — я понимал, что должен ее образумить. Но что я мог сказать? И какой от этого будет толк, какие меры она предпримет? Какая-то дрянь пожирала ее изнутри, в буквальном смысле пожирала прямо на моих глазах, и никто — вероятно, из страха обидеть или огорчить — ей об этом не говорил. Но мой долг был сказать. Только я не знал как. Пусть я руководствовался самыми благими намерениями, я мог обидеть ее и потерять постоянного клиента. Готов ли я лишиться состоятельной клиентки из-за комментария о ее преждевременно нагрянувшей старости? Нет, подумал я. Лучше помалкивать. Но тогда я не смогу спокойно спать.

— Бернадетт, — сказал я, и она внимательно посмотрела на меня. Вы постарели, Бернадетт. Да не мог я такое сказать! Бернадетт, ваши лучшие дни позади, дальше будет только хуже. Господи, ну нет! Вы скоро сдохнете, Бернадетт! Нет! Вы разлагаетесь буквально на глазах! Боже, теперь она смотрела на меня так пристально, что я просто обязан был что-то сказать.

— Бернадетт, — снова начал я. — Говорю вам

это исключительно из… — Я умолк и перефразировал: — Бернадетт, а вы не замечали — или, может быть, ваш муж замечал, — как сильно…

— Доктор О'Рурк?

— Ох, Конни! — воскликнул я.

— Подойдите, когда сможете.

Я радостно перевел взгляд обратно на Бернадетт.

— Это Конни, — сказал я. — Мне надо срочно с ней поговорить.

Однако уже в коридоре я увидел, что она держит в руках айпад — а это сулило новые неприятности.

— Что на сей раз?

— Твиттер.

Последние несколько дней на уважаемых сайтах вроде ESPN, HuffPost и National Geographic продолжали появляться комментарии, посты и сообщения от моего имени. Они постепенно проникали и в темные закоулки Интернета: малоизвестные чаты и немодерируемые форумы, посвященные сексу и смерти. Мой брэнд становился кроссплатформенным, уходил в подполье… и вот, спустя две недели после появления сайта моей клиники, на свет родился мой первый «твит». Его автором был

пользователь @PaulCORourkeDental (Нью-Йорк, www.drpaulcorourke.com), и звучал он так: «Все ошибки и беды мира идут от убеждения, что Господь создал нас с одной целью: чтобы мы в него верили».

Мы с Конни озадаченно переглянулись.

— Кажется, ты имеешь в виду, что люди не должны верить в Бога.

– *Я* ничего не имею в виду.

— Пол, я давно поняла, что это не ты. Можешь не повторять.

— Просто хочу прояснить…

— Я знаю, что это не ты! Хватит уже! Перестань оправдываться!

— Я не оправдываюсь, я негодую!

— А звучит, как будто оправдываешься.

Я перечитал твит. И решил, что Конни права. Я — вернее, таинственный самозванец, — чуть ли не от имени Господа утверждал, что верить в него необязательно. Прямо на глазах у Конни я написал и отправил письмо:

Теперь еще и Твиттер, а? За что ты так со мной?!

Я отдал Конни айпад, и она перечитала мой твит.

— Знаешь, на что это похоже? — сказала она, прежде чем уйти.

— На что?

— На слова закоренелого атеиста.

Я понял, что влюбился в Плотцев, когда начал стыдиться своего атеизма. Вместо того чтобы заявлять о своих убеждениях гордо и во всеуслышанье, я начал всячески их скрывать. Мне казалось, что, отрицая Бога, я оскорбляю весь их образ жизни, по крайней мере в той мере, в какой я его понимал: молитвы по пятничным вечерам, тщательно соблюдаемую субботу и множество других богоориентированных деяний, совершаемых в течение недели. Плотцы усердно работали над своей верой. Работали не только духовно, но и физически. Да, католики крестились перед входом в церковь, макали пальцы в святую воду, вставали на колени перед алтарем, но это все детский лепет по сравнению с телодвижениями «правильного» Плотца. Я говорю «правильного», потому что однажды Конни сообщила мне поразительную вещь: Эззи, ее дядя, — атеист. Я был потрясен. Я не раз наблюдал за этим человеком: со стороны он казался таким же набожным, как и все остальные.

— Он не верит в Бога?! — вопросил я.

— Нет.

— Почему?

— Потому что… не знаю. Спроси его сам.

Ну уж нет, я не собирался беседовать об атеизме ни с Эззи, ни с другими Плотцами.

— Из-за Холокоста? — не унимался я.

В ее глазах мелькнуло раздражение.

— По-твоему, все неверующие евреи не верят в Бога из-за Холокоста? У нас нет каких-то устоявшихся причин для неверия. Ау! — Она показала пальцем на себя. — Иногда мы просто не верим — и все.

— Но Эззи ведет себя как верующий. Он кланяется, носит на голове эту штуковину. Ходит в синагогу.

— Это же совсем другое.

— В смысле — другое?

— Конечно, он все это делает, как иначе?

— Почему?!

— Потому что для него это важно. Он все-таки еврей. Это важно.

— Из-за Холокоста?

— Да что ты заладил со своим Холокостом?! По-твоему, вся наша жизнь вертится вокруг Холокоста?

— Нет.

— Да, Холокост — это очень страшно и плохо. Но он был давным-давно. По утрам мы не просыпаемся с мыслью о том, что стоит, а чего не стоит делать из-за Холокоста.

— Извини. Мне это все в новинку.

— Эззи — атеист. Почему? Не знаю. А ты почему атеист?

— Потому что Бога нет.

— Ну вот видишь. Эззи, наверно, сказал бы то же самое.

Почему же ему было важно совершать все необходимые телодвижения, активно и добровольно принимать участие в традиционных обрядах, главная цель которых — восславлять Господа?

Да какая разница! Атеист может делать что угодно! Когда ты появляешься на свет в семье христиан и воспитываешься в лоне христианства, а потом медленно скидываешь с себя его чары и начинаешь видеть философские и моральные нестыковки, ты прекращаешь делать все, что делал до этого (а делал ты совсем немного — иногда молился, почитывал Библию, ходил в церковь по большим праздникам) и остаешься наедине со своим атеизмом: несомненно, тебе приятно ощущать твердость своих убеждений, но при этом ты чувствуешь себя немного обде-

ленным: отныне тебе придется самостоятельно искать смысл жизни и источник стабильности в хаосе светского мира. Не то Эззи. В пятницу вечером Эззи всегда мог забежать в гости к Рэйчел и Говарду, проделать все необходимое и уйти — духовно подкрепленным, но по-прежнему твердо стоящим на ногах. Он делал это по своей воле. Это был его долг как еврея — хранить верность традициям, пережившим немало сотрясений, и не терять связи с родными, предками, народом. Не терять связи! Уж не знаю, почему Эззи на самом деле так поступал, но одной этой причины было бы для меня достаточно. Как атеист, я даже ему завидовал: сколько всего Эззи мог отрицать, сохраняя при этом все, что дорого сердцу.

С миссис Конвой было по-другому. С ней я становился воинствующим атеистом. Мне хотелось, чтобы она наконец увидела все изъяны своей веры и столкнулась с безбожной действительностью лицом к лицу. Поэтому в наших беседах я приводил разные аргументы, на которые она неизменно отвечала: «Но откуда вы знаете?» Я приводил еще несколько аргументов, а она чуть меняла тон и спрашивала: «Но *откуда* вы знаете?» Я вновь приводил аргументы, и она отвечала тем же: «Но откуда вы *знаете*?» На самом деле,

разумеется, все наши споры рождались из разного понимания слова «знать». Однако в пылу битвы мы об этом не задумывались. Она знала, что я никогда не смогу с абсолютной уверенностью сказать, что действительно знаю (причем к моему знанию, разумеется, предъявлялись куда более высокие требования, чем к ее собственному). Это давало ей возможность время от времени вворачивать в спор аргумент, доводивший меня до исступления: «Откуда вы знаете?»

В общем, однажды я ее спросил. Я сказал:

— Ладно, Бетси.

Мы ужинали в «Олив гарден», в торговом центре Нью-Джерси. Она потягивала привычное шардоне, я допивал четвертое пиво. Мне нравилось иногда приходить в «Олив гарден». Это заведение напоминало мне о детстве. По этой же причине я любил бывать в торговых центрах. Я перестал ходить туда за покупками, как делала миссис Конвой. Во всей Америке не найдется такой вещи, которую я не приобрел бы хоть раз в жизни. Нет уж, хватит с меня покупок, хватит желаний. От этого постоянного хотения тупеешь. Но все же я ходил в торговые центры вместе с миссис Конвой: среди этих просторных жужжащих залов и коридоров я чувствовал себя дома.

Это чувство я не мог испытать больше нигде на Манхэттене. Когда меня одолевала ностальгия или тоска по дому, я уезжал не на Лонг-Айленд и не в далекие пригороды Нью-Йорка, как остальные, — я отправлялся в торговые центры Нью-Джерси. Один раз я даже побывал в торговом центре города Кинг-оф-Проссия — крупнейшем молле страны, — где бродил по широким проходам вместе с толпами охотников за низкими ценами. Больше всего на свете я любил сидеть на блестящей скамейке посреди этой толкотни и смотреть, как люди заходят в магазин «Фут Локер» и выходят из него; бродить вдоль киосков с очками и бижутерией; обедать в ресторанном дворике. Именно с торговым центром связаны мои главные детские воспоминания. Сюда меня водила мама за одеждой к новому учебному году. Здесь под Рождество я мечтал об игрушках, которых мы не могли себе позволить. Здесь коротал летние каникулы, пытаясь заполнить время чем-то еще, кроме бесконечных перепалок, телепередач и запаха собак. Торговый центр всегда меня манил, и я приходил сюда с определенной целью. Он сам, торговый центр, и был этой целью. Если у меня в кармане оказывалась пара монет, я мог купить на них колу, поиграть в видеоигру

или тайком выкурить на парковке незаконную сигарету. Теперь же торговый центр возвращал меня в то время, когда желания еще можно было утолить. Глядите, сколько людей по-прежнему на это способны! Вот они, носятся туда-сюда со своими списками покупок и задач, с дисконтными картами и подарочными сертификатами, рассеянно забредают в магазины и так же рассеянно из них выбредают. Торговый центр может вернуть человеку вкус к жизни, но только если он пришел сюда наблюдать — причем наблюдать без осуждения, по-доброму. Смотреть на этих озабоченных покупателей, у которых нет свободы выбора — покупать или не покупать и которые не желали бы иметь такую свободу, особенно если бы она означала, что им больше нечего хотеть.

— Согласно вашим убеждениям, — сказал я миссис Конвой, когда мы сидели в «Олив гарден», — поправьте меня, если ошибаюсь, согласно вашим убеждениям единственный способ попасть в рай — это поверить в Иисуса Христа. А вот наша Конни, например, — еврейка. И все ее родственники — тоже евреи. Они не считают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я, кстати, очень хорошо отношусь к Плотцам, —

сказал я. — Никогда не встречал такой чудесной семьи. Их около четырехсот человек, чего нельзя сказать о моей семье — сначала нас было трое, а потом стало двое. Ну да не суть. Вы готовы отправить Плотцев в ад только потому, что они не признают божественной природы Иисуса Христа. Я прав?

Миссис Конвой глотнула шардоне, поставила бокал, откинулась на спинку стула и прищурилась.

— Вопрос без подвоха, — сказал я. — Вы считаете, что Конни и всю ее семью после смерти следует до скончания времен варить в кипятке, потому что они не верят в Христа?

— А откуда вы знаете, — раздумчиво прошептала миссис Конвой, наклоняясь вперед. Ее ответ пробрал меня до костей: — Откуда вы знаете, что перед смертью, в самый последний миг своей жизни Конни не примет Христа в свое сердце?

Хочу заметить, что я стал атеистом не для того, чтобы снобствовать, не для того, чтобы стоять над толпами верующих и вещать истину. Я стал атеистом, потому что Бога нет. Тот единственный бог, о котором я мог хоть как-то помыслить и который пришел мне на ум во время ужина в «Олив гарден», когда миссис Конвой поведала

мне о своем собственном решении еврейской проблемы, этот бог допустил существование стикера, увиденного мной однажды на стареньком «Саабе» в Бостоне: «ВЕРУЮЩИЕ СДЕЛАЛИ МЕНЯ АТЕИСТОМ».

За что я так с тобой? — наконец ответил он. *— Ни за что. Ты заблудился, я хочу помочь.*

Заблудился? — ответил я.

А разве это не так?

Что не так?

Разве ты не заблудился?

Тебе какое дело? Ты меня знать не знаешь и только притворяешься, что знаешь. Мелешь всякую хрень. В глубине души ты жив, ты умеешь чувствовать, хотя об этом никто не знает — так про любого можно сказать, это же очевидно. Ты решил провернуть какую-то аферу, и я хочу знать зачем. Если, конечно, это не вы, Бетси. Это вы? Конни, это ты?

Даю тебе слово, Пол. Это не афера.

Спасибо. Мне стало гораздо легче.

Прошу тебя, имей терпение. Знаю, как это

неприятно — выслушивать правду о себе, да еще из уст человека, который свалился на тебя, как гром среди ясного неба, и мгновенно поставил точнейший диагноз. Я не считаю тебя зверем в клетке — отнюдь. Ты настоящая полноценная личность, живешь в ногу со временем, но основные компоненты американской мечты — карьерный рост и пустой материальный успех — тебя не манят. Ты находишься в постоянном поиске смысла жизни. Конечно, я все это знаю, Пол, ведь я и сам через это прошел. Можно даже сказать, что мы с тобой — одинаковые.

Пока я все это читал, у меня появилось странное ощущение: что-то здесь неладно. Прямо мурашки побежали по коже. Мне стало казаться, что этот человек сидит со мной в одной комнате. Или за компьютером в соседнем кабинете. Я посмотрел на его электронный адрес.

— Он пишет мне от моего имени, — сказал я.

— Кто?

— Он создал почтовый аккаунт от моего имени! Этот человек… или программа… в общем, злоумышленник… даже в личной переписке он притворяется мной! Он отправил мне письмо от моего имени!

Я поднял голову. Оказывается, я сказал все это

миссис Конвой.

— Вы о ком?

Если бы даже миссис Конвой не присутствовала в кабинете в момент получения мной письма от «Пола К. О'Рурка», я бы все равно понял, что она не имеет к этому никакого отношения — по ее простодушному и немигающему взгляду.

— Не знаю, — ответил я.

Несколько дней спустя ко мне подошла Конни.

— Ты вообще раньше Твиттером пользовался?

— Нет, я раньше никогда не пользовался Твиттером.

— Сколько знаков помещается в сообщении?

— В Твиттере?

— Да.

— Сто сорок.

— Ага, знаешь!

— Я не вчера с сеновала свалился, Конни. Все это знают.

— Ты хоть читаешь собственные твиты?

— Кари Гутрих велела мне не поддаваться на провокации.

— Кто такая Кари Гутрих?

— Специалист Талсмана по информационному праву. Она говорит, если я поддамся, все станет еще хуже. Поэтому я не поддаюсь.

— Хочешь сказать, ты позволишь этому человеку писать что угодно от твоего имени и даже не будешь следить за тем, что он пишет?

— Эта адвокатша меня здорово напугала. Я не хочу подливать масло в огонь.

— Ты и не подольешь, если будешь молча читать.

— Не знаю. Я понятия не имею, как устроен Интернет.

— В смысле? Да ты круглыми сутками пялишься в телефон!

— Это ты! Не я! Это ты пялишься в него круглыми сутками!

Она попятилась — верней, всего лишь дернула каким-то шейным мускулом, но мне показалось, что она попятилась.

— Хорошо-хорошо. Успокойся.

— Да мы даже поужинать нормально не могли из-за этого твоего телефона! Ты полвечера в нем проводила!

— Ага. Знаю. Мы уже произвели опись всех моих недостатков. Я слишком часто залезаю в телефон. Может, закроем тему?

Она посмотрела на айпад, который держала в руке. Я увидел, что у нее открыт Твиттер — не потому, что сам пользовался Твиттером,

а потому что иногда заходил туда почитать меткие и емкие комментарии юзера boggswader и еще Оуэна из «Бруклинских статистических откровений».

— Давай я зачитаю несколько твоих твитов, — сказала Конни и начала читать: — «Из всех проявлений тщеславия, коим подвержен человек, самое тщеславное — богослужение». Как тебе?

— Это я сказал?

— Ага, «ты». Еще «ты» сказал вот что: «В Америке на каждом углу трезвонят о свободе религии, но стоит человеку поверить в ничто, как это становится наказуемым преступлением».

— Неужели здесь меньше ста сорока знаков?

— Ты уловил суть?

— Какую суть?

— Этот человек, который притворяется тобой в Твиттере… Он очень похож на тебя.

— Думаешь, это я? Думаешь, я пишу всю эту чушь?

— Да я просто сказала.

— Ага, знаю я эти «просто сказала». Конни, это не я. Я даже читать это не хочу.

— Ты целый день торчишь в телефоне.

— Так уж вышло, что вчера мы проиграли команде Канзас-сити. Нам, фанатам, очень важно

устраивать разборы полетов, мы без этого не можем, ясно? Дай сюда.

Она отдала мне айпад. Я прочитал:

Мир бичует нас своим презрением, сгоняет нас на окраины, еще немного — и мы вымрем.

— Это, по-твоему, тоже я написал? — спросил я. Конни не ответила.

Если же тебе необходимо мыться, делай это не чаще двух раз в неделю и никогда не погружайся в воду целиком.

— И это тоже я?

— Ну… — Она умолкла.

— Ненавижу, когда люди погружаются в воду целиком.

— Да, это не очень на тебя похоже.

— Потому что это не я, Конни! — Я отдал ей айпад.

Впрочем, я не имел права ее винить. Все-таки эти твиты были написаны от моего имени.

Единственный Плотц, воспользовавшийся моим предложением о бесплатном лечении в клинике, был Джефф, то ли троюродный, то ли четвероюродный брат Конни. Верней, так я подумал, когда предложил ему бесплатно полечиться.

Позже выяснилось, что он был просто соседом, да и то — сто лет назад. Однако он сохранил близкие отношения с Плотцами… или его родные сохранили. Стюарт Плотц и отец Джеффа, Чэд, были соучредителями одной фирмы (торговали канцтоварами или производили бумагу, что-то в этом духе).

Джефф когда-то был наркоманом, а теперь проводил встречи для желающих избавиться от зависимости в неком государственном учреждении. Словом, вы можете себе представить, в каком состоянии были его зубы и десны. Конечно, я за годы работы видал и похуже… но ненамного. Лечить пациентов с химической зависимостью в прошлом — не увеселительная прогулка, прямо скажем. Их нельзя накачать закисью азота, а потом отправить домой с месячным запасом медикаментов. Мы с Джеффом решили ограничиться неопиоидными анальгетиками, и следующие полтора часа он морщил лоб, жмурился и извивался в кресле, как оживающий зомби. Чтобы немного его успокоить, я все это время трепал языком. Рассказал ему, кто я такой — в смысле, кто я на самом деле, ведь ему как родственнику Конни это должно было быть интересно. (Родственником он не был.)

Еще ни один из Плотцев не слышал от меня такой речи, никто не знал, какой я на самом деле, когда нахожусь вдали от их удивительного семейства, потому что они всегда были заняты собой — громогласными, волевыми и никого не подпускающими слишком близко Плотцами. Да, их вежливость и радушие не знали границ, но в общем и целом им было плевать на новеньких. Будь я частью такой семьи, у меня тоже не оставалось бы времени и сил на новеньких — что мог дать этот новенький, чего не дали бы десять других родственников, всегда готовых поддерживать, критиковать, упрекать и любить, причем одновременно?

И вот в моем кресле очутился Джефф, мой слушатель поневоле. Подумаешь, он истекал кровью и смотрел на меня вытаращенными от ужаса и боли глазами! Я все равно рассказал ему о себе. Во-первых, я — фанат «Ред Сокс». Это самое главное. Я признался, что мои отношения с бейсболом не так уж просты. Самый счастливый день в моей жизни случился в октябре 2004-го, когда Мюллер ударом по центру перевел игру в дополнительное время, а Ортис совершил ошеломительный хоумран в конце двенадцатого иннинга, преградив «Янкиз» дорогу к титулу победителя

Американской Лиги и положив начало самому впечатляющему камбэку в истории спорта, завершившемуся победой над «Кардиналз» в Мировой серии. Это событие стоило всех предыдущих лет страданий. Оно повергло меня в неожиданную эйфорию — и обернулось чудовищной катастрофой. Где-то посреди 2005-го, рассказал я Джеффу, я потихоньку поверил в свершившееся чудо — победу «Ред Сокс», — и меня одолела странная тревога. Я оказался не готов к переменам, сопутствовавшим победе, — например, к бешеному притоку новых фанатов, не закаленных восьмидесятишестилетней полосой неудач. Эти пришлые — позеры и проходимцы, думал я. Из-за них мы рискуем забыть о долгих бесплодных годах и утратить инстинкт самосохранения, который был нашей определяющей чертой перед лицом унижения и проигрышей. Мы станем принимать победу как должное. А мне вовсе не хотелось, чтобы моя любимая команда начала переманивать игроков из других команд и прибирать к рукам власть на манер наших заклятых врагов. Словом, это очень тяжело, сказал я Джеффу: тяжело испытывать двойственные, даже отрицательные чувства к команде, которая долгие годы пользовалась моим безоговорочным

обожанием. Мы были неудачники, мы привыкли скорбеть и сокрушаться, мы никогда не знали радости победы — разве мог я в одночасье поменять сложившееся мировоззрение? Я как будто очутился в раю. Похожее странное чувство, наверное, посетило Адама после появления Евы: о чем же теперь мечтать? Чего желать? Больше всего на свете я хотел, чтобы «Ред Сокс» победили в Мировой серии, сказал я Джеффу, десны которого напоминали вставные челюсти портовой шлюхи, и вот они победили: уничтожили «Янкиз» и сокрушили «Кардиналз», а мне тут же захотелось, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы я снова знал, кто я такой и чего хочу.

Джефф все это время молчал, что неудивительно, учитывая обстоятельства. Когда мы почти закончили, до меня дошло, что он выйдет из моей клиники с кучей самых неприятных ощущений во рту. Он запомнит не бесплатное лечение, а жуткие пытки, которым подверг его новый приятель Конни. Исходя из этого опыта он составит и свой рассказ обо мне. Надо бы его рассмешить, решил я. Тогда у него, вероятно, останутся хоть какие-то приятные воспоминания о моей персоне.

— Знаете анекдот про двух евреев, сговорив-

шихся убить Гитлера?

Он посмотрел на меня зеленовато-серыми глазами: радужки плавали в белках, отмеченных красными молниями — следами наркоманского прошлого. Я прочел в них просьбу продолжать.

— В общем, эти ребята узнали из надежного источника, что ровно в полдень Гитлер будет обедать в определенном ресторане. В одиннадцать сорок пять они уже стояли у входа в ресторан. Наступил полдень — Гитлера не видать. Пять минут первого, десять минут — ни слуху ни духу. Тогда первый еврей говорит второму: «Он же должен был приехать ровно в двенадцать! Куда он запропастился?» «Не знаю, — ответил второй. — Надеюсь, с ним ничего не случилось».

Мне показалось, что на лице Джеффа мелькнула тень улыбки, но точно сказать было нельзя — столько инструментов изо рта торчало. Вскоре из уголка его глаза выкатилась слеза, видимо, от боли. Эбби, как всегда, молчала и ловко подавала мне инструменты.

Потом мы с Конни проводили Джеффа и ненадолго встали вместе у ресепшена.

— Ненавижу этого козла, — сказала она. — Проклятый нарик.

Я был потрясен.

— Ты ненавидишь Джеффа?

— Ну да. Сволочь еще та.

Затем она поведала, что он никакой не родственник, а бывший сосед.

— Нас он называл грязными жидами.

Мое удивление не знало границ.

— Разве он сам не еврей?

— Что?! Джефф?? — Она расхохоталась.

— Я думал, у них с твоим дядей совместный бизнес.

Конни растерянно поглядела на меня:

— Да они в детстве вместе развозили газеты!

Итак, Джефф не был родственником, не имел совместного бизнеса с Плотцами и обзывал мою девушку грязной жидовкой. Я только что оказал антисемиту бесплатные стоматологические услуги на сумму около тысячи долларов.

Больше всего мне было жалко не денег и не потраченного труда. Меня убило осознание того, сколь отчаянно я хотел угодить Плотцам. Вернувшись в кабинет, я предался рефлексии. Итак, я хотел, чтобы Плотцы узнали меня поближе — поняли, что я фанат «Ред Сокс», человек с чувством юмора и хороший бесплатный стоматолог для всей семьи. Но как я мог рассчитывать на то, что Плотцы меня узнают, если сам я не мог

отличить Плотца от не-Плотца, как ненормальный впаривал им бесплатные стоматологические услуги и сам никого из них (кроме Конни) толком не знал? Да, я никогда не видел в Плотцах живых людей. В моих глазах они были просто большой еврейской семьей.

Первого августа я получил письмо от Ивэна Хорвата: он попросил разъяснить, что именно я пытаюсь сказать людям в своем Твиттере. Конечно, всем сообщениям в Твиттере присуща доля туманности и недосказанности, это он понимает и ни в чем меня не винит. Но ему хочется чего-то посущественней.

Одно дело — получать письма от самозванца, подписывающегося «Полом О'Рурком». Все-таки я писал в «СеирДизайн» со своего почтового аккаунта YazFanOne. Но откуда мой адрес у Ивэна Хорвата? «Он указан на вашем сайте», — ответил Ивэн. Я внимательно изучил сайт клиники, но нигде не нашел своего адреса. Меня посетило зловещее предчувствие. «На каком сайте?» — спросил я. «Seirisrael.com» — пришел ответ.

Так у меня, оказывается, есть еще один сайт! И кто-то указал на нем мой настоящий электронный адрес! А заодно разместил фотографии пыльного, выбеленного солнцем жилого по-

селка под названием Сеир, расположенного в израильской пустыне. Подписи под снимками зданий из шлакоблока гласили: «Дом собраний», «Дом культуры», «Старая каменная хижина» и так далее. «Простите, — написал я Ивэну, — я тут совершенно ни при чем». — «Я только хочу побольше узнать про Обет сомневающегося». — «Что такое Обет сомневающегося?» — спросил я. «Об этом я вас и спрашиваю. Такая штука действительно существует?» «Первый раз слышу», — ответил я.

— Что такое Праздник Парадокса? — спросил некий Маркус Брегман.

А вот такое письмо пришло от Марианны Кэткарт: «Можно ли сказать, что автор К. и автор П. — пророки, и означает ли это, что Кантаветиклы были написаны Богом? Если же они были написаны Богом, как это увязывается с вашими сомнениями в Его существовании?»

«Я уже не первый раз встречаю на вашем сайте утверждение, что Пит Мерсер — ульм, — написал мне еще один человек. — Речь о том самом Пите Мерсере?»

Пит Мерсер, согласно сайту Forbes.com, был «главой крупного хеджевого фонда, редко дающим интервью и почти не появляющимся

на публике», а также семнадцатым в списке самых богатых людей США. Через некоторое время его фонд принял необычайную меру: сделал заявление от его имени. «К сожалению, Пит Мерсер стал жертвой мошенников. Он категорически отрицает странные утверждения о том, что он «ульм», и просит всех людей, распространяющих подобные слухи в Интернете, прекратить это делать».

Конни очень расстроилась, узнав, что я не хочу детей, и подумала, что это мое решение как-то связано с ней. Ведь в самом начале наших отношений я тоже мечтал о большой семье. Мне прямо-таки не терпелось зачать ребенка! Неудивительно, что причину моего нежелания продолжать род человеческий Конни увидела в собственных недостатках, а не в каком-то внезапном сдвиге в моем мировоззрении. Поначалу я ничего ей не говорил, надеялся, что страх этот временный, обусловленный кризисом среднего возраста или еще какой-нибудь фигней. Но он не проходил и не проходил, и когда я наконец сообщил Конни, что боюсь заводить детей, она страшно рассердилась, расстроилась и заявила, что я напрасно трачу ее время. Мужчинам-то что, они могут сомневаться сколько угодно,

а женщины не могут. Меньше всего на свете я хотел тратить ее время. Просто я не догадывался, что мое желание обзавестись детьми сменится прямо противоположным и что меня одолеет такой ужас. Не сомнения, не боязнь перемен или ответственности — ужас, чистый ужас. Ужас перед нерожденным младенцем, перед могуществом любви. Что, если я испорчу жизнь собственному ребенку? Что, если я испорчу жизнь Конни? Что, если Конни умрет и я останусь один — портить жизнь ребенку в одиночку? Что, если умру *я* и этим испорчу жизнь им обоим?

Это разбивало мне сердце. Да, звучит неправдоподобно — все же я сам принял это решение, осознанно и в трезвом уме, но это действительно разбивало мне сердце. От меня требовалась такая малость, чтобы начать заново и оставить Конни в своей жизни навсегда, утвердив тем самым свое право на нормальную жизнь и исцелив душевные травмы, оставленные суицидом отца: просто взять и жениться на Конни, завести семью. В каком-то смысле я бы тоже стал одним из Плотцев, нравилось им это или нет. И я хотел быть Плотцем. Я хотел быть Плотцем больше, чем Сантакроче. На все готов был ради этого. Кроме одного: произвести на свет еще одного

О’Рурка.

Тебя зовут О’Рурк, – начиналось следующее письмо от «Пола О’Рурка». –*Что значит для тебя это имя? Ты – добрый ирландец, готовый по любому поводу распевать «Дэнни-боя» в местном пабе, плечом к плечу с другими псевдоирландцами, никогда не покидавшими Нью-Йорка? Или ты ненавидишь парады и презираешь зеленое пиво? Я неспроста об этом спрашиваю, Пол, это всё вопросы национального самоопределения, исторического наследия и религиозной принадлежности, словом – твоего места в мире. Нет ли у тебя ощущения, что в твоей жизни недостает чего-то крайне важного? Не гложет ли тебя это по ночам?*

Если ты чувствуешь, что потерял связь с миром и свое место в нем, я готов объяснить почему. Не потому, что ты «трудный» или «нелюдим», или как там тебя называют окружающие. Твой «трудный характер» объясняется потерей места. И чем острее ты ее чувствуешь, тем труднее становишься. Я часто подмечаю в людях эту закономерность. Есть в моих словах хоть доля правды? Если нет, прими мои извинения. Возможно, ты все-таки нашел свое счастье.

Всегда твой,
Пол.

Несколько дней спустя я всерьез задумался об этой странной электронной переписке с самим собой. Что сказала бы Конни? «Ты ведь не с собой переписываешься, так?» — наверняка спросила бы она. Я знал, что она подозревает меня в публикации сообщений в Твиттере; почему бы тогда мне не обмениваться письмами с самим собой?

— Ладно, Томми, — сказал я очередному пациенту, думая при этом о переписке. Обычно после этих слов я говорю: «Теперь можете сплюнуть»,

«Сплюньте, пожалуйста» или еще что-нибудь про сплевывание. Но на сей раз я сказал: — Пора взять образец кала.

Образец кала! Честное слово, понятия не имею, с какой радости я это ляпнул. Зачем вообще стоматологу анализ кала?! Эти слова сорвались с моих губ сами собой, без спросу. «Пора взять образец кала». На уме у меня ничего такого не было, зато откуда-то взялось на языке. Почему — непонятно. Я думал об электронной переписке с самим собой и о том, что бы сказала про нее Конни, а потом — бац! И как теперь выкручиваться? Я с надеждой поглядел на Эбби. Ее брови над маской вскинулись двумя крыльями летучей мыши, как бывало всегда, стоило мне ляпнуть какую-нибудь глупость или несуразность. Я снова перевел взгляд на пациента: тот смотрел на меня с тревогой и недоумением. «Как это понимать? — спрашивали его глаза. — Что он такого увидел у меня во рту? Зачем ему мой кал, и что он будет с ним делать?» Признаюсь, я сам озадачился не на шутку. Выход был один: рассмеяться и сделать вид, что именно это я и хотел сказать. Ну, вот такое у меня странное чувство юмора. Целыми днями я только и делаю, что проказничаю и отпускаю шуточки о кале

и газах, заражая окружающих безудержным весельем. Так я и поступил. Засмеялся, хлопнул Томми по колену и сказал, что просто шучу: теперь можно и сплюнуть. Затем я с деловитым видом уткнулся в поднос с инструментами, дабы не видеть ничьих изумленных взглядов, особенно Эббиных: уж Эбби-то прекрасно знала, какой я шутник. Ровно в этот миг в кабинет вошла Конни.

— Доктор О'Рурк?

Я обернулся.

— Подойдите на минутку, когда сможете.

Вид Конни, стоящей в дверях с айпадом в руке, уже давно заставлял меня содрогаться. Однако в тот миг я испытал огромное облегчение, несравнимое даже с тем разом, когда она спасла меня от неприятного разговора с Бернадетт Мардер. Теперь я мог встать и уйти от Томми с его калом на безопасное расстояние.

— Что такое?

Она вручила мне айпад. Опять Твиттер:

Есть такие уровни подавления, которые даже на современном этапе истории никого не удивляют, всплывая на поверхность.

Я поднял голову.

— Если ты спрашиваешь, о каком подавлении идет речь, Конни, то я не знаю, честное слово. Геноцид? Тайный заговор? Это может значить что угодно!

— Да нет, я про другое. — Она показала пальцем на нужное сообщение. — Вот, читай.

Представьте себе народ столь глубоко обездоленный, что они завидуют даже участи евреев.

— Ого, — сказал я.

— «Представьте себе народ столь глубоко обездоленный, что они завидуют даже участи евреев»? — прочитала вслух Конни, дабы показать, что ничего не понимает и ждет от меня помощи.

— Ну сколько можно повторять? — воскликнул я. — Это не я пишу! Не я!

— О ком это?

— Понятия не имею.

— При чем тут евреи?

— Понятия не имею.

— Разве есть на свете народ с более незавидной историей?

— Понятия не имею! Понятия не имею!

Она ушла. Через несколько минут я подошел к ее столу.

— Ты ведь не станешь рассказывать об этом

дяде?

— Дяде?

— Он вряд ли поймет.

— Ты сейчас про какого дядю?

— Про Стюарта. Да про любого, в общем. Но про Стюарта особенно. Нутром чую, ему это не понравится.

— Что?

— Ну, твит. Который ты мне только что показала. Про обездоленный народ. Он это не оценит.

— А тебе какое дело? Пишешь же не ты!

— Да, но подписано-то моим именем. Что он подумает, когда увидит мое имя под этими словами?

— Что это ты написал.

— Вот именно.

— А тебе не кажется странным, что сначала ты как одержимый изучал историю еврейского народа, а тут вдруг кто-то от твоего имени сравнивает историю своего народа с нашей?

— Во-первых, мне не нравится формулировка «как одержимый». И почему «вдруг»? С тех пор как я читал книги об иудаизме, прошло немало времени.

— Но все равно странное совпадение, не находишь?

— Нет. Что случилось, то случилось. Я тут вообще ни при чем!

— А потом ты подходишь ко мне и просишь не рассказывать об этом дяде, хотя я и не думала рассказывать. Все-таки это немного странно, Пол.

— Знаешь, я бы предпочел, чтобы на работе ты называла меня «доктор О'Рурк».

— Почему ты меняешь тему?

— Я не меняю тему. Я реагирую на твои слова.

— Почему ты не хочешь, чтобы дядя Стюарт знал про Твиттер?

— Потому что твой дядя Стюарт и так думает, что я антисемит. Во что он скорее поверит — в то, что кто-то притворяется мной в Интернете, или в то, что у меня опять крыша поехала?

— А когда у тебя ехала крыша? — спросила Конни.

Я вернулся к пациенту.

Кто такие ульмы? — спросил я. — *И не мог бы ты прекратить оставлять в Твиттере сообщения от моего имени? Конни подозревает, что это делаю я сам.*

Он ответил:

Кто такая Конни?

Конни — офис-менеджер нашей клиники, — ответил я. И тут же отправил вдогонку второе письмо:

Что значит «кто такая Конни»?! Ты прекрасно знаешь, кто такая Конни. Никто не называл ее офис-менеджером, пока ты не создал сайт нашей клиники. Она — не офис-менеджер. У нее одна-единственная должностная обязанность: выписывать пациентам карточки с датой и временем следующего визита.

Вот объясните, зачем я вообще это написал? Однако мне и этого показалось мало, я отправил следом еще одно письмо:

Нет, вру. Недавно я сидел на ресепшене и наблюдал за ее работой. Выяснилось, что она выполняет кучу всяких обязанностей. Одновременно может делать хоть десять дел. Глядя тогда на Конни, я подумал, что мы работаем без заминок во многом благодаря ей.

Стоило мне нажать «Отправить», как я пожалел о написанном. Да что со мной такое? Я не обязан перед ним оправдываться!

А ей ты об этом говорил?

Нет.

Нет! На одно слово больше, чем следовало написать!

Может, надо сказать?

Может.

Так почему не скажешь? Ты в кои-то веки что-то заметил. Это огромное достижение, Пол. Сохранить наблюдательность, восприимчивость к повседневным мелочам — самое трудное в наши дни. Но твой успех ничего не стоит, если ты не поделишься им с Конни. Незнающему простительно молчать; если же на человека снизошло озарение, а он по-прежнему молчит — это уже преступление.

Конни вошла в комнату как раз в тот миг, когда я это читал. Я как можно непринужденнее засунул телефон в карман.

— С кем ты постоянно переписываешься? — спросила она.

— Я не переписываюсь. Я читаю про вчерашнюю игру.

Снова вытащив я-машинку из кармана, я сделал вид, что читаю про вчерашнюю игру. Конни не шевельнулась.

— Они вчера не играли.

Я поднял глаза.

— Кто?

— «Ред Сокс». Они вчера не играли.

— А я не про «Ред Сокс». Я про другую команду. Мало ли на свете команд.

— Про какую?

— Какая разница? «Янкиз».

— Матч «Янкиз» вчера приостановили из-за дождя. После пятого иннинга.

— Это не значит, что никто не проанализировал первые пять иннингов, — сказал я и покачал головой, огорченный невежеством простых смертных.

— Матч «Янкиз» вчера не приостанавливали. Они играли с Чикаго и победили со счетом 18:7.

Я вышел из кабинета. Затем вернулся.

— Кстати, я хотел выразить тебе признательность за прекрасную работу. Счета, посылки, цветы на столе… Цветы всё меняют, ей-богу.

Ее глаза превратились в крошечные алмазы: она пыталась разгадать мои мотивы.

— С каких это пор ты обращаешь внимание на цветы?

Ну все, — написал я. — *Больше я с тобой не разговариваю.*

На следующий день сайт моей клиники изменился. На нем появились кантонменты 30–34 из Кантаветиклов — продолжение рассказа о сбежавших на гору Сеир амаликитянах.

«И царь Давид последовал за ними на гору Сеир, и поражал всех сыновей Амалика, всех четырехсот уцелевших. Выжил только один Агаг, царь Амаликитский: он спрятался за кипарисом и смотрел, что израильтяне сделали со всеми амаликитянами от Хацацона до горы Сеир. И громко плакал Агаг над племенем Амалика, окропившего кровью своей сухие скалы, и крутился на месте, и размахивал руками, как ивы при ручьях, и проливал слезы подобные дождю с неба».

И так далее, и тому подобное. Агаг рыдает, пока у него не заканчиваются силы, после чего проклинает израильтянского Бога, чье расположение пытался заслужить. «Что натворил ты, Бог Израиля?» — вопрошает он груду человеческих и верблюжьих трупов. Перед глазами у меня встала картина похлеще сражения при Энтитеме: волнующуееся море из мертвых тел, всюду оторванные руки, ноги, торсы и окровавленные головы (кровь уже начала запекаться на жарком солнце), а в самой середине стоит

на коленях последний из истребленного племени. Он воздевает руки к небу и проклинает бога, которого действительно готов был обожествлять. «Разве не преклонили они колен пред тобой, и не служили тебе, и не искали твоей милости? — вопрошает он. — И разве не исполняли они всех твоих заветов, не перестали есть свиней и тушканчиков, не обрезали себя и не надели чистые одеяния? И разве не любил я дщерь твою, и не выучил ради тебя еврейский?»

И тут — ну надо же! — угадайте, кто явился Агагу «на облаке крови»? (Вообразить такое облако довольно трудно, но вы же знаете, как это бывает, семантика и все такое). Сам Бог, единственный и неповторимый. «Подойди сюда, — говорит Бог, — и ничего не бойся». Сейчас прям, так он и подошел. Агаг лежит, съежившись, среди кровавых тел и лихорадочно соображает (что странно для историй подобного типа, где пророк по первому дуновению небесного ветра способен понять, кто с ним разговаривает), то ли ему явился сам Бог, то ли, учитывая, сколько дерьма ему пришлось пережить, это первый задокументированный случай посттравматического стрессового расстройства в истории человечества. Сомневается он недолго: Бог настроен весьма решительно.

«Ты узнаешь, что я Господь Бог твой, хранивший до сего дня молчание». А молчал он из практических соображений: чего ради лезть на рожон вместе с остальными богами — египетскими, хананейскими, филистимскими и так далее, и тому подобное — и бегать по земле Ханаанской, подливая крови в мясорубку или «чиня раздор меж враждебными племенами, чтобы потом пожать первые плоды их урожаев»? Почему Он попросту не стер остальных богов из людской памяти и не установил на земле мир, а в человеках благоволение — вопрос, который так никто и не задал. Однако всем становится ясно, что Он — единственный Бог, пришедший, чтобы спасти Агага от невзгод и лишений. «Подойди сюда, — говорит Он, — и я вступлю с тобой в вечный союз, и произведу из тебя великий народ. Но отврати людей своих от этих воевод, и никогда не делай врага из них от имени моего. И если будешь помнить ты о союзе, ты не исчезнешь. Но если ты сделаешь Бога из меня, и станешь мне поклоняться, и пошлешь за гуслями и тимпаном, чтобы пророчествовать о мыслях и замысле моем, и пойдешь сражаться, тогда ты исчезнешь. Ибо человек не может познать меня». Агаг долго упирается — мол, да какой из меня пророк,

язык у меня не подвешен, люди смеяться будут и т. д. — но потом все же берет себя в руки и, первый ульм, спускается с Сеира. Он меняет имя (видимо, после встречи с Господом все так делают), становится Сафеком и собирает вокруг себя кучку единомышленников. Вместе они начинают странствовать по земле Ханаанской, спасенные от огненной геенны истории.

Как ты понял, — позже написал мне он, — *ульм — это тот, кто ставит Бога под сомнение.*

Ничего я не понял, — ответил я. — *Где логика? Как можно сомневаться в Боге, который только что тебе явился?*

Ты включил не ту часть мозга, Пол. Включи ту часть, которая потихоньку атрофируется, которая жаждет пищи.

Но в том-то и фишка, я включил мозг и всегда им пользуюсь, поэтому твои религиозные бредни не производят на меня никакого впечатления.

Любая религия в чем-то нелогична. Буддист достигает Нирваны только тогда, когда понимает, что его «я» не существует, но ведь именно оно, это «я», должно осознать свое небытие.

Индуист отрицает Вселенную мантрой «нети-нети» — «ни то, ни это», — а когда все варианты отброшены, остается только Бог. Еврей верит, что Господь создал его по своему подобию, но ведь человек полон зла. Христианин помимо этого верит, что Господь был человеком из плоти и крови. Нелогичное испытывает веру на прочность — без него все было бы слишком просто.

А я люблю, когда все просто.

Сомневаюсь, Пол. Послушай: радости сомнения не снимают с нас бремени веры. Мы тоже вынуждены страдать от противоречий, как страдают и те, кто верит в Бога. С одной лишь разницей: сомнение — самый просвещенный подход к Богу из когда-либо известных человеку. Монотеизм по сравнению с ним — кровавая языческая бойня. Именно ульмов, Пол, а не евреев, надо считать избранным народом.

Несколько часов спустя я написал ответ:

Вы ОБЯЗАНЫ сомневаться? По-настоящему, без дураков, в буквальном смысле этого слова?

Он ответил:

Без дураков. В буквальном смысле слова.

Следующие несколько недель слились в моей памяти в сплошное пятно. Я не могу точно вспомнить, когда появилась страничка об ульмах на Википедии. Я даже не помню толком, что там говорилось — вроде бы цитировался «мой» комментарий под статьей в «Таймс» и даже слова про святого Павла, энергично бороздящего просторы Римской империи. Статья быстро стала кандидатом на удаление — юзер trekkieandtwinkies, один из самопровозглашенных редакторов Википедии, решил, что в ней недостаточно чего-то там не знаю чего. Тогда я еще верил, что любой желающий может создать на Википедии страничку о чем угодно, хоть о собственной рок-группе или домашнем питомце, однако вскоре выяснилось, что люди вроде trekkieandtwinkies читают все новые статьи и отбраковывают явно липовые и/или фривольные. Любая недостойная информация отправлялась в мусорное ведро истории буквально на следующий день; не избежала этой участи и страница об ульмах. Также я плохо помню, когда мне пришли письма от Микеля Мура из «Старбакса», Джоанны Скейд из «Майкрософта» и Ксандера Ксилиокиса — все они хотели узнать про ульмов. Помню, в Интернете стало появляться еще

больше «моих» комментариев и ссылок, а число «моих» френдов в социальных сетях неуклонно росло. Помню, как я снова и снова пытался выяснить у самозванца, за что он так со мной, но он всякий раз уходил от ответа, а я страшно бесился. Помню беседу с Кари Гутрих, специалистом Талсмана по информационному праву, и попытки заморозить аккаунты, созданные от моего имени (я должен был выслать по почте копию своих водительских прав и заверенное нотариусом заявление о том, что я действительно являюсь Полом О'Рурком, — досадно аналоговый эксперимент). Также я помню, как брал образец слюны у мистера Томасино, у которого начали отказывать слюнные железы, как лечил на удивление терпеливого мальчика в камуфляжных шортах, сломавшего зуб о вишневую косточку, и как отправил в больницу «Ленокс-хилл» человека, вдохнувшего собственный зуб. Но больше всего мне запомнилась следующая картина: Конни стоит в дверях с айпадом в руке, и вид у нее очень злой.

— Что?

— Можете подойти на минутку?..

Мы вошли в свободный кабинет, и Конни вручила мне айпад. Выглядела она не только

зло, но и восхитительно. На ней была водолазка — не из тех монашеских, что носила миссис Конвой, а легкая, летняя, с широким разболтанным воротником, похожим на тюльпан, из которого торчала ее голова на тонкой шейке. Да и ткань была не тканью вовсе, а миллиардом переплетенных друг с другом блестящих волокон, серебристых, розовых и красных. Ее упругую попу уютно обтягивали старые джинсы.

— Читай, — скомандовала она.

Я прочитал указанный ею твит.

— Что ты об этом знаешь?

— Ничего, — ответил я.

— Но ты хоть понимаешь, как это мерзко и неприятно?

— Да.

Она ушла. Я перечитал твит, написанный от моего имени:

Хватит твердить про шесть миллионов погибших; признайте сначала НАШИ потери, НАШИ страдания и НАШУ историю.

Не понимаю, почему ты выбрал меня, — написал я. — *Но наглости тебе не занимать, козел. Перестань притворяться Полом О'Рурком! Весь этот религиозный бред мне ПО БАРАБАНУ, яс-*

но?! А если для тебя он имеет такое значение, отрасти яйца и пиши всю эту хрень от собственного имени! И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ХВАТИТ ПИСАТЬ О ЕВРЕЯХ ОТ МОЕГО ЛИЦА! Прекрати нести чушь про Холокост и шесть миллионов погибших. Люди на меня обижаются — и я их понимаю. Они хотят от меня разъяснений, а я ничего не могу сказать. Да они в гробу видели твою историю, особенно когда ты сравниваешь ее с историей еврейского народа. Что ты имеешь против евреев? Кто ты? Очередной тролль-антисемит? И перестань давать уроки истории в Твиттере. Представь, если бы Авраам Линкольн разместил в Твиттере свою Прокламацию об освобождении рабов. Ты что, не человек? Неужели тебе хочется произносить великие речи перед аудиторией в сто сорок задротов? В человеке столько всего, о чем попросту нельзя написать в Твиттере. Я, например, мечтаю однажды преодолеть все свои ужасающие психологические барьеры и спеть в метро. Попробуй-ка затвитить это, козел.

Однажды я признался Конни, что мечтаю спеть в метро, подыгрывая себе на банджо. Раньше я никому об этом не рассказывал. Еще я сказал ей, что если она когда-нибудь застанет меня за этим занятием, это будет значить что я либо (1) очень

изменился, либо (2) стал совсем другим человеком. Но измениться настолько, чтобы преодолеть все свои психологические барьеры и комплексы, сесть с банджо в поезд метро и громко запеть «Розу Сан-Антонио» — нет, такая перемена сделала бы меня полностью неузнаваемым даже для самого себя, то есть я в буквальном смысле слова стал бы другим человеком, а такое могло случиться лишь в результате серьезной черепно-мозговой травмы и возвращения из туннеля с манящим светом в конце. Наверное, оттуда только такими и возвращаются: с правильным настроем и увеличенной душой. «Чтобы я запел в метро? — сказал я Конни. — Да это попросту невозможно. Между мной и моей мечтой всегда будет стоять мое неистребимое, привычное, обжитое и упрямое «я». «Но разве ты не веришь в перемены? — спросила она. — В самосовершенствование?». Я сказал, во что верю: истинное самосовершенствование, полное преображение, встречается крайне редко — по сути, это такой же миф, как и существование божественного Творца. Мы — те, кто мы есть, и лишь изредка человек позволяет себе нехарактерные поступки и внезапные моменты слабости. А вот чего я ей не сказал: если бы я отважился спеть в метро,

то мне хватило бы храбрости и на признание в любви дяде Стюарту и всем Плотцам разом. Я бы сказал, что люблю их и никогда не предам.

В детстве у меня была любимая книжка: «Доктор де Сото» Уильяма Стейга. Доктор де Сото — мышь-стоматолог, который лечит зубы всем зверям без разбора — кроме тех, что едят мышей. Так и написано на табличке у входа в его клинику: «КОШЕК И ДРУГИХ ОПАСНЫХ ЖИВОТНЫХ НЕ ЛЕЧИМ». Вполне разумная политика. (Сейчас я задумался: а лечил ли я когда-нибудь убийц?) Однажды к доктору де Сото приходит лис, плачущий от зубной боли. Связанный клятвой Гиппократа и моральными принципами, доктор де Сото очень хочет помочь страдальцу, и его жена-ассистентка полностью одобряет и поддерживает его порывы. Итак, доктор де Сото забирается в рот лису и обнаруживает там сгнивший премоляр, а в придачу к нему — поразительно зловонное дыхание. (Тут мистер Стейг выдает в себе нестоматолога: дыхание всегда поразительно зловонное.) Лис очень благодарен доктору де Сото. Однако даже знание, что врач-спаситель в этот самый миг избавляет его от боли, не помогает ему справиться с желанием слопать вкусняшку. Доктор де Сото делает лису наркоз,

чтобы удалить сгнивший зуб, и полусонный лис невольно выбалтывает ему всю правду: он очень любит отварных и жареных мышей. Врач, хоть и боится, назначает ему повторный визит на следующий день. Лис — он и в Африке лис. Однако доктор де Сото привык доводить начатое до конца, как и его покойный отец. (И мой покойный отец тоже: с понятным и свойственным любому мужчине воодушевлением он брался за ремонт цементной стяжки в ванной или смену линолеума на кухне, а потом вдруг уезжал, продавал за бесценок машину и, рыдая, приносил деньги маме.) Конец сказки я рассказывать не буду, прочитайте сами, но суть вам ясна, да? Лис — он и в Африке лис. Героизм и благородство доктора де Сото заключаются не столько в том, что он решил помочь смертельно опасному хищнику, сколько в его безотчетной вере, что лис способен измениться и победить в себе лиса.

Пломбируя дырку, вычищая корневой канал или выдирая не подлежащий лечению зуб, я часто думал: а ведь этого можно было избежать. Я возвращался к своим циничным взглядам на человеческую природу: они не чистят зубы, они не пользуются зубной нитью, они — бездельники. Лис — он и в Африке лис. Но когда ко мне

приходили пациенты, которые чистили зубы, пользовались зубной нитью и все равно теряли зуб, мне приходилось искать виновника. И я показывал пальцем на небо: мол, все в руках жестокого и равнодушного Господа. Каждому своему пациенту я говорил, что здоровье зубов целиком и полностью зависит от него самого. Кроме тех пациентов, которым я говорил, что от них вообще ничего не зависит. А потом в один прекрасный день ко мне пришел пациент, живший за углом в одном из немногих уцелевших дешевых комплексов Верхнего Ист-Сайда. Он был строитель: мощные руки работяги, между зубами — жевательный табак, который он даже не попытался вычистить перед походом к врачу. Трудясь над маленьким крушением поезда в верхнем левом отделе его зубного ряда, я предался размышлениям. У этого работяги наверняка были плохие гены, невежественные родители и несчастливое детство. Он бы никогда не стал заботиться о своих зубах. У него не было ни единого шанса. Он бы пренебрегал зубами до полной их потери или до собственной смерти. Но случилось чудо: он встал с кресла с твердым намерением изменить свою жизнь. Проявил волю, получил от меня несколько ре-

комендаций и через полгода вернулся новым человеком. Но и тогда я решил, что эта способность к преображению была внутренне присуща ему с самого рождения. Мои советы никогда бы не смогли пробудить в нем этого желания — Бог свидетель, я пытался, — а физическая боль забывается уже на следующий день, ничему нас не уча. Этот человек в моем кресле был не властен над собственными добрыми порывами, как не властен был и над дурными инстинктами. Ну, преобразился он — а дальше что? Все равно он никак не мог повлиять на дальнейший ход своей жизни. Остается только один вопрос: лис ты — или кто получше?

Дорогой Пол, — написал он, — *очень жаль, что ты так расстроился. Тебе еще многое предстоит осознать. Мы ничего не имеем против евреев. Я — антисемит? Да что ты! За всю историю мой народ никогда не мог позволить себе такой роскоши — свободы ненавидеть. Нет-нет, мы, ульмы, как никто способны разделить страдания еврейского народа. Мы — не враги евреям, Пол. Мы — евреи евреев.*

Евреи евреев? Это еще как понимать?

Слышал ли ты когда-нибудь о ерсйрticos, ко-

торым пришлось скрываться от Альфонсо Мудрого? А про Лодзинское побоище что-нибудь знаешь? Рассказывали ли тебе на уроках истории про восстания 1861 года, когда мятежники громко скандировали: «Ульм! Ульм! Ульм!»? А про то, что все проживавшие в Израиле ульмы были казнены британскими военными силами с целью создания еврейского государства в рамках Плана ООН по разделу Палестины, ты хоть что-нибудь слышал? Быть может, хоть слабая тень этого события иногда мелькает в твоих снах? Знаешь ли ты, как близки мы были и остаемся к полному вымиранию? Говори что хочешь про трагедии еврейского народа. Они хотя бы задокументированы.

На следующее утро я взялся за работу, думая об очередном заголовке из глянцевого журнала. Точнее, о подзаголовке. Некая Райли объявила, что беременна двойней, и подзаголовок гласил: «Райли всегда хотела родить двух малышей сразу!» Репортер журнала взял у Райли интервью («Эксклюзивное интервью!»), и та призналась, что всю жизнь мечтала о двойне. Не об одном и не о двух по очереди, а о двух сразу — бум! бум! И в три годика, и в семь, и в десять Райли хотела стать матерью близнецов. Детская мечта

не покинула ее ни в шестнадцать, ни в двадцать, ни в двадцать пять, и вот теперь, хотите верьте, хотите нет, она беременна двойней. Наконец-то ее мечта сбывается, она родит двух детей сразу! И нет способа лучше поделиться этой радостью со всем миром, чем поместить на обложку глянцевого журнала огромный заголовок: «БЛИЗНЕЦЫ!»

Я размышлял о Райли, ее близнецах и подзаголовке, сообщающем об осуществлении ее детской мечты, когда в дверях кабинета появилась Конни. Я притворился, что не заметил.

— Доктор О'Рурк?

Я притворился, что не услышал.

— Доктор О'Рурк, подойдите на минутку, когда сможете, — сказала она.

— Так, мистер Ширклиф, — сказал я, покопавшись в ротовой полости мистера Ширклифа чуть дольше положенного и не обнаружив там ничего эдакого, — можете сесть и сплюнуть.

Я без особого желания подошел к Конни. Она хотела обсудить мой последний твит.

У меня есть мечта: однажды преодолеть все свои психологические барьеры и спеть в метро, подыгрывая себе на банджо.

— Ты мне это говорил. Слово в слово.

Я растерялся и даже не знал, с чего начать.

— Возмутительно! Это не я!

— А кто же тогда?

— Клянусь, Конни…

— Это ты, Пол.

— Нет, это не я, клянусь!

— Ты все это затеял, чтобы вернуть меня?

— Вернуть тебя? Да я же сам предложил расстаться.

Она склонила голову набок.

— В первый раз — я.

— Зачем ты все это пишешь?

— Я не пишу! Смотри, я могу доказать!

Я вытащил из кармана я-машинку и показал ей свою переписку с самозванцем. Ткнул пальцем в предложение, где я рассказал ему о своей мечте спеть в метро.

— Откуда мне знать, что это не ты?

— Переписываюсь сам с собой?

— Создать почтовый аккаунт нетрудно.

— Вот именно! Он создал аккаунт от моего имени и использовал его, чтобы связаться со мной!

— А зачем ты ответил?

— Не в этом суть, — сказал я. — Похоже, ты в самом деле думаешь, что я переписываюсь сам

с собой. Это не так!

— Ну-ка, ну-ка, а это что?

Она протянула мне телефон, чтобы я прочитал.

— Так вот почему ты поблагодарил меня за цветы на ресепшене? Потому что какой-то незнакомец, притворяющийся тобой, велел тебе это сделать в электронной переписке? Пол… может, тебе нужна помощь?

Я забрал у нее телефон.

— Это не я, Конни, клянусь Богом.

Она ушла. Потом вернулась.

— Если это не ты, — сказала она, — если это действительно не ты пишешь всю эту хрень, то куда подевался твой гнев? Ты рвал и метал, когда подумал, что они выдают тебя за христианина. Теперь они выдают тебя за кого-то другого и все стало хорошо? Ты переписываешься с этим парнем?! Позволяешь ему оставлять твиты от твоего имени? Да он тебе даже страницу на Фейсбуке сделал! Куда подевался прежний Пол? Я бы не спрашивала, если бы знала.

— Он здесь, перед тобой. И он до сих пор взбешен.

— Если так должна была закончиться твоя битва с современным миром и ты все равно за-

вел себе блог, Твиттер и прочее, почему бы тебе не рассказать людям, кто ты на самом деле? Прекрасный стоматолог и фанат «Ред Сокс», а не… этот… черт знает кто!..

Конни всплеснула руками и ушла.

Миссис Конвой была в кабинете № 2, готовила к удалению ретенированный зуб, а я торчал в кабинете № 3 с пациентом, страдающим хроническим бруксизмом. От постоянного скрежетания у него была гипертрофированная челюсть и куча проблем с зубами. Я нигде не мог найти айпад. Сначала ты покупаешь в контору современные гаджеты, а потом все время убиваешь на их поиски. Или попытки понять, как они работают. Эти поиски и попытки начинают занимать в твоей жизни даже больше места, чем лечение пациентов, превращаются во внутренний долг, настоятельную необходимость — найти и использовать вещь, которая стоила тебе тысячу баксов и теперь стала неотъемлемой частью твоей работы. Да плевать на пациентов, кому они нужны? Пациент попросту исчезает. Да и сам ты исчезаешь. Оказываешься в этом странном герметичном мире, где есть только ты и машинка. Вопрос лишь в одном: кто победит?

В поисках айпада я вошел в кабинет № 5 и уви-

дел там еще одного пациента. Судя по стонам, он очень страдал. Бегая глазами по всем поверхностям — не завалялся ли где свободный айпад, — я услышал, как он делает глубокий вдох и бормочет: «А-рам… а-рам…» Я медленно повернулся и, разумеется, увидел в кресле того самого типа.

— Ты! — вскричал я, схватил Ала Фруштика за грудки и поднял в воздух.

— Доктор О'Рурк! — завопил он. — Боже мой, мне так больно!

Я наотрез отказался его лечить, пока он все не выложит.

— Разве вы не улетели в Израиль?

— Ничего не вышло! Я вернулся! И теперь вот попал в беду. Вы единственный врач, кому я могу доверять. Вы обязаны мне помочь!

— Я никому ничем не обязан. Зачем вы создали мне сайт?

— Что? Вы шутите?! Я даже *себе* не могу сделать сайт! Это какое-то недоразумение!

— Мой адвокат навел справки, приятель. Сайт зарегистрирован на вас. В прошлый визит вы перед уходом признались, что вы — ульм, и я тоже. Поэтому нечего включать дурака, я все знаю.

— Сначала вылечите мой зуб! Умоляю!

Я по-прежнему крепко держал его за воротник рубашки. Схватив с подноса щипцы, я начал изучать его ноздри.

— Ладно, — плаксиво пробормотал он. — Ладно! Ладно!

Я отпустил Фруштика.

Он пригладил измятую рубашку и снова поморщился от боли.

— У них наверняка есть сведения о вашей семье, — сказал он. — Подробнейшее досье, как и на всех остальных возрожденных.

— Досье моей семьи?!

— Все, что вы хотели знать и, вероятно, не знали: кто вы, откуда, к кому принадлежите. К кому принадлежите, доктор. — Забыв о больном зубе, он улыбнулся, но потом быстро возобновил кряхтение и гримасничанье. — Однако сейчас у них другая тактика. Возрожденных уже предостаточно, теперь они ищут среди них тех, кто изберет прежний образ жизни по первому же зову.

— Что еще за возрожденные?

— Люди, которых нашли в мешанине разбавленных кровных линий и вынужденных переселений. Разве с вами еще не связались?

— В некотором смысле.

— Какая безответственность. — Двумя отточен-

ными движениями он поправил поникшие усы, выразив тем самым свою озабоченность и разочарование. — По-моему, это безответственность. Но у них на все есть свои резоны. Послушайте, — сказал он. — Они вам не говорят, так хоть я скажу: вы принадлежите к древнему забытому роду. Его история почти полностью утрачена. Гены доказывают эту вашу принадлежность. Ваша история уходит корнями в глубь веков. У меня, к сожалению, нет конкретных сведений о вашем древе, но у Артура они, несомненно, есть.

— Кто такой Артур?

— Грант Артур. Человек, который вас нашел. Вы принадлежите к ульмам, — сказал Фрушстик. — Ваш народ древний, как египтяне, и даже старше евреев.

— Да вам надо все зубы выбить только за то, что вы говорите про евреев!

— Погодите! — вскричал он, отшатываясь в кресле — подальше от моих кулаков. — А что мы такого говорим про евреев? Ничего плохого! Мы солидарны с евреями и используем их просто в качестве отправной точки, ориентира. А кого мы, по-вашему, должны использовать? Индейцев? Лично я считаю, они больше подходят для этой цели. Обвинения в язычестве, массовые

убийства, последующая история алкоголизма и суицидов. Закат некогда великой нации. Однако им недостает мирового охвата. Историю евреев гораздо удобней использовать для сравнения. Какая тут конкуренция? Разве можно состязаться в глубине пережитых страданий?

— В Твиттере это звучит так, будто вы им завидуете.

— В Твиттере?.. — Фруштик приподнял брови. — Значит, они действительно начали работать с населением. — Он задумался и нервно почесал бледную ложбину, что пролегала между двумя половинками его усов от носа до верхней губы. — Было много споров о том, как это опасно — привлекать к себе внимание. Но Твиттер… это очень серьезно. Что ж… я помог вам разобраться в ситуации?

— Нисколько. Зачем вы пришли?

Он уставился на меня недоуменным взглядом.

— Зачем я пришел? Зачем я пришел?! Доктор, включите свет и загляните в мой бедный рот!

— Вы говорили, что улетаете в Израиль. Что случилось?

Он покачал головой, вздохнул и снова потянулся к усам: на сей раз погладил их с осознанной меланхолией.

— Вы садист, доктор. Настоящий садист. Мой нерв подорвали ракетой «Р-11», а вы требуете от меня рассказа о неудавшихся религиозных поисках. Где ваше сострадание?

Я прислонился спиной к раковине, скрестил руки на груди и закинул ногу на ногу.

— Ладно, ладно. Так и быть. В самом конце я не сдюжил. Слишком давно живу. Меня воспитали христианином, я столько лет молился… Видимо, ген поклонения Богу у меня в крови, хорошо это или плохо.

— То есть вы не смогли усомниться?

— Да. Хотя у меня были на то все причины. — Он выпрямился и сел в кресле по-турецки. — Вы когда-нибудь слышали о Клиффе Ли, генетике? Докторе Клиффорде Ли из Тулейнского университета?

Фруштик рассказал, что доктор Клиффорд Ли многие годы занимал должность профессора в Центре генетики Тулейнского университета в Новом Орлеане, пока Грант Артур не рассказал ему, что он ульм. Годом позже Ли вместе со всей семьей переехал в Израиль, где начал работу над выявлением генетических маркеров ульмов. Свои исследования и опыты, рассказал Фруштик, внезапно заговоривший как заправ-

ский ученый, Ли сосредоточил на модальных гаплотипах, микросателлитах и полиморфизмах уникальных событий, словом, на генетической информации, необходимой для того, чтобы доказать ульмское происхождение конкретного человека.

— Он разработал тест, точность которого составляла от шестидесяти до семидесяти пяти процентов, — сказал Фруштик. — Восемьдесят процентов, если вы мигрировали с Синая в долину Рейна до прихода ашкеназов. Эти две группы, понятно, несколько перемешались между собой, но, учитывая их печальную историю, не настолько, чтобы это повлияло на результаты теста.

— Теста на что?

— На ульмские корни. Никаких гарантий он не дает, лишь примерную оценку. Вероятность моего ульмского происхождения, к примеру, составляет семьдесят процентов. Недостаток информации, полученной в результате теста, Артур восполняет с помощью подробного досье.

— Для чего?

— Вы меня вообще слушаете, доктор? Чтобы доказать, что вы — ульм.

Генеалогические исследования Гранта Артура были крайне тщательными и исчерпывающими.

Фруштик до сих пор помнил, как он был потрясен, когда Артур впервые выложил перед ним его досье. Там были имена предков, места и даты рождения и смерти, словом, все разветвления рода. Артур собирал информацию с миру по нитке, прочесывал все имеющиеся архивы: метрические книги, реестры, кадастры, хранилища военно-исторических документов. С одной целью — найти утраченное. Он не просто возрождал души; он восстанавливал порядок, разрушенный столь основательно, что за свой короткий век Артур никогда бы не сумел достичь поставленной цели. От этого он брался за дело с особым азартом.

— В моем досье чего только не было: завещания, данные переписей, данные из поземельных книг… — сказал Фруштик. — Он собирал информацию в государственных архивах, архивах больниц, иностранных судов. Лицензии… некоторые были на иностранных языках, но Артур прекрасно владеет множеством языков. Портовые книги, нотариальные книги, бортовые журналы… Так и представляю себе, как он трясется в поезде через тундру или приземляется на турбовинтовом самолете в богом забытых странах, тащит по пустыне свой туго набитый саквояж с портативным сканером, волосы вскло-

кочены, глаза покраснели от недосыпа, в животе урчит, но зато впереди — очередная библиотека и новое имя. Оно, это имя, давало ему силы двигаться дальше, и он двигался, и будет двигаться, до тех пор, пока не испустит дух между двумя точками на карте неведомой земли. Имейте в виду, — сказал Фруштик, — Артур — великий человек. Простой смертный никогда не поймет, как ему все это удается. Он проследил мою родословную до тысяча шестисот двадцатого года. Вы можете себе такое представить? До знакомства с ним я думал, что я — наполовину немец, а наполовину… Бог знает кто.

Я никогда особо не задумывался о генеалогии. Потратить кучу времени на поиски давно умерших людей, затем выстроить их в определенной последовательности, точно черепа на заборе, чтобы получить родословную одного-единственного человека, не имеющую никакого исторического значения… Нарциссический досуг ностальгирующих зануд. Но цифра 1620 впечатлила даже меня.

— Он начал с девичьей фамилии моей матери, Легрейс. От Легрейсов он двинулся назад к де Виттам, от де Виттов — к Стриклэндам, от них к Шортам, далее к Краммам и Крамерам.

Он нашел в моем роду людей с фамилиями Бор и Морхаус. Я о таких даже не слышал, а ведь это мои предки, мой народ… Вы не представляете, как приятно узнать, что ты не просто так живешь на свете, что твой род уходит корнями в глубокое прошлое. Меня теперь преследует мысль, что я мог умереть без этого чудесного знания. Я бы так и остался неприкаянным, так и катался бы по поверхности жизни, ничего не зная о своем наследии.

— А как Грант Артур узнал, что он — ульм?

— От своего отца. Но тот рассказал ему об этом уже на смертном одре, потому что очень стыдился своего происхождения. Отец назвал Артуру имя одного человека в Квебеке, где имелось небольшое сообщество. Квебекцы рассказали ему про ерсépticos, и он отправился в Испанию. Там, в Кастилии — ла-Манче жил человек, который только что потерял обоих родителей и думал, что вместе с ними похоронил последних носителей языка, на котором те говорили только дома. Грант Артур нашел этого человека в Альбасете — и приветствовал на языке его покойной матушки. Бедняга от радости зарыдал.

— Что еще за ерсépticos?

— Он расскажет, когда покажет ваше досье.

Наверняка он уже нашел имена ваших предков. Всех, вплоть до… не знаю. Артур выложит их перед вами поколение за поколением, и вы увидите свои связи, свою принадлежность.

— Как он вышел на меня? Как он вообще находит людей?

— В ходе исследований. Они естественным образом приводят его от одного человека к другому. Мы все связаны, доктор. Он лишь развязывает узлы. Вы увидите, как менялись фамилии ваших предков: как они англизировались, подстраивались под языки различных стран, избавлялись от особых примет… Вы все увидите. Но сперва вы должны кое-что для него сделать.

— Что?

— Услышать и принять весть.

— Какую еще весть?

— Что Господь велел своим людям сомневаться. Если новые возрожденные смогут принимать это на веру, Артуру не придется строить родословные для каждого из нас. Вы понимаете, какой это труд? Все эти бесконечные поездки, кропотливые исследования? Они его убивают. Он уже почти ослеп. Ли тоже работает на износ, чтобы довести свой тест до совершенства и хоть как-то ему помочь. И Артур, и Ли смогут вдохнуть свободней,

если одной вести будет достаточно.

Под дверью раздался какой-то шорох. Я открыл ее и увидел Конни: она явно подслушивала.

— В чем дело?

— Мы гадали, куда ты запропастился.

— Кто — мы?

— Я, Эбби и Бетси. С кем ты там разговариваешь?

— Ни с кем. С пациентом. Займись делами, хорошо?

Конни неохотно удалилась. Я снова посмотрел на Ала Фруштика. Он теребил свои усы, словно это была губная гармошка. Мою личность похитил какой-то сумасшедший, и теперь он сидит в моем кресле, преисполненный жалости к себе из-за некоего духовного поражения. Я закрыл дверь и ушел. Пусть Фруштик и его абсцесс подождут — может, образумятся.

Ко мне вновь подошла Конни.

— Кто такой Грант Артур?

— Понятия не имею. Но я буду очень тебе признателен, если ты перестанешь подслушивать. И кстати, найди мне айпад, хорошо?

Я занялся ретинированным зубом, затем — гипертрофированной челюстью скрежетателя, искренне веря, что тем самым наказываю Ала

Фруштика. Но в действительности я наказывал только себя. За работой у меня в голове рождались все новые и новые вопросы, я столько всего хотел прояснить и уточнить. Скрежетателя я лечил в спешке. Какой же я все-таки дурак и гордец! Мне наконец подвернулось что-то стоящее, надо действовать, а я…

Я рванул в кабинет № 5, но там было пусто. Лис вырвался на свободу.

На столе лежала записка: «Я бы остался, но, похоже, я не заслуживаю лечения».

Эрзац-Израиль

Глава шестая

Когда лето перевалило за середину августа, я вновь встретился с Зукхартом. Я хотел официально воспользоваться его услугами: попросить найти для меня полное издание Кантаветиклов.

— Я заинтригован, — сказал он, поглаживая растительность на руке. — Но и настроен весьма скептически. Я беседовал об этом деле с несколькими коллегами, весьма учеными людьми, и никто ни о чем подобном не слышал. Впрочем, как и о выживших потомках древних амаликитян. Историки, библеисты, кураторы музеев, посредники вроде меня… никто ничего не знает.

— А мнение скольких специалистов вам нужно, чтобы поверить?

— В том-то и дело. Я не смог найти даже одного.

— Но если бы все-таки нашли: ученого, историка или кто вам там требуется. Я спрашиваю вот о чем: сколько нужно людей, чтобы ученый мир официально признал существование некоего явления?

— Мой дорогой друг. — Для пущего эффекта Зукхарт даже прекратил заниматься самоудо-

влетворением. — С самого начала времен люди во что только не верили, причем всем сердцем и душой. Цифры здесь ничего не решают.

— Но когда речь заходит о религии, где вообще сложно что-либо доказать, цифры решают многое, я не прав? Сколько человек должно признать некую систему верований, чтобы она стала официальным вероисповеданием?

— Систему каких верований? — спросил Зукхарт. — Что Митра — бог Солнца? Что Нинурта — Мардук силы? Что Ра каждое утро побивает змея Апопа, чтобы поддерживать Маат? Что Тор с помощью своего молота защищает людей от великанов-йотунов? Что черви, выползшие из тела убитого Имира, превратились в ночных эльфов? Что Кронос оскопил отца серпом и бросил его чресла в море, где от его семени родилась Афродита? Что Иафет — прародитель англосаксов, потому что он был сыном Ноя? Что Господь поразил Озу за дерзновение — попытку выпрямить накренившийся ковчег? Что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную?

— Да, да! Я про все это!

— Между десятью верующими и десятью мил-

лионами есть безусловная разница. Первых мы назовем сектой, вторых — религией. Лично я особой разницы не вижу. Но без определенной критической массы дело иногда принимает странный оборот.

— Если хотите знать мое мнение, то чем больше людей, тем страннее их вера.

— Вы себе представляете, кто такие историки? — спросил Зукхарт. — Со всем уважением к моим многочисленным друзьям, историк — это стервятник, и все его коллеги тоже стервятники. Эта шайка-лейка способна оставить от трупа нового исторического открытия одни кости. Я их не виню, им надо писать научные труды, выступать на конференциях. А теперь, зная это, подумайте над своим вопросом.

Он окинул взглядом рассыпанные на столе документы: распечатки файлов, которые я выслал ему по электронной почте. Кантонменты с моего сайта.

— Кто-то приходит к вам с вестью, что вы принадлежите к некой традиции, к некоему народу. У них есть религия, пусть и весьма схематичная, и они имеют некие этнические особенности. Даже на генетическом уровне. Они образуют расу и могут это доказать. Несмотря на широко-

масштабные преследования и гонения, их род просуществовал тысячи лет и жив по сей день. Я правильно обрисовал картину?

Я кивнул.

— Так почему же о них никто не слышал? Почему стервятники с исторических факультетов мира до сих пор не набросились на этот чудесный благоухающий труп и не обглодали его дочиста, выставив на всеобщее обозрение?

— Потому что эти люди вынуждены таиться.

Зукхарт перестал ласкать себя и нахмурился, выпятив розовую губу.

— Откуда вам это известно? — Он взглянул на бумаги. — Вы нашли это здесь… среди этих?..

— Нет.

— Как вы узнали, что они вынуждены таиться? И как им удалось затаиться настолько, что на их след не напал ни один историк?

— Послушайте, я не хочу показаться простофилей. Я, как и вы, твердо убежден, что меня пытаются обжулить. Я даже обратился к адвокату, специализирующемуся на информационном праве. Как только афера будет доведена до своего логического конца, у меня появятся основания для судебного иска. Воровать чужие личные данные запрещено законом. Но быть может… быть

может, мы ничего не слышали об этом народе, потому что их почти полностью сжили со света? Выберите любой народ — евреи, индейцы, вальденсы, — никто и в подметки не годится ульмам. Их всегда было мало, считаные единицы, и поэтому они пропали с полей всех радаров.

— Вы слышали про вальденсов?

«Мысли трезво!» — подумал я. Но без толку — я был на крючке. Я потратил столько времени на переписку с самим собой — человеком, называвшим себя Полом О'Рурком, врачом-стоматологом, что теперь знал больше историков. Но действительно ли я хотел поверить? Отчасти я надеялся, что Зукхарт вернет меня на землю, к своему старому доброму «я», которое еще не утратило последних остатков самоуважения, и скажет мне, что вальденсы — тоже вымысел.

— Мне говорили, этот народ подвергался похожим гонениям. И еще чукчи — в России. Они тоже давно живут на грани полного вымирания.

— Как-как вы сказали?

— Чукчи. Их осталось около пяти сотен.

Он записал незнакомое слово.

— Кто вам про них рассказывал?

— Не только про них. Еще про пунанов, инну и энавене-наве, — добавил я.

— А это кто?

— Обездоленные народы, находящиеся на грани вымирания.

— Пожалуйста, перечислите еще раз…

Я произнес названия по буквам, и Зукхарт все записал.

— А почему их преследовали?

— Чукчей?

— Да нет, ульмов.

— Ну, даже язычники во что-то верили. А эти люди не верят ни во что, кроме необходимости сомневаться в существовании Бога. Кому такое понравится? Люди нервничают.

Вновь показался неприличный розовый лепесток его нижней губы.

— Но все-таки, — наконец произнес Зукхарт, — каждый реально существовавший народ оставил за собой хоть какой-то след в истории. Даже эти… — Он бросил взгляд на свои заметки, — …чукчи. А где следы вашего угнетенного народа?

— Прячутся у всех на виду, наверное.

— По-моему, вы недоговариваете.

— Вовсе нет.

— Прячутся у всех на виду?

— А вы почитайте любой учебник истории. Обязательно найдете там пассажи про «массы»

и «поселян». Про «коренных жителей». Про «рабов», «местных» и «кочевников». Про «еретиков» и «богохульников».

— Хотите сказать, имеются в виду ульмы?

— Не всегда. Иногда «массы» — это просто «массы».

— То есть в истории человечества им не нашлось даже имени.

— Это лишь предположение.

— Вот этого человека? — Он указал на распечатки. — Этого Пола О'Рурка?

Я кивнул. Он положил ручку на стол и откинулся на спинку кресла.

— Все это можно допустить, но с очень большой натяжкой. И мы по-прежнему не имеем права игнорировать базар под названием «ученый мир».

— Но с таким багажом исторических знаний, как у вас, — сказал я, — разве вы станете спорить, что есть такие уровни подавления, которыми никого не удивишь даже на современном этапе истории?

Зукхарт сделал губы бантиком и задумчиво помассировал щитовидку.

— Но как представить себе народ Бронзового века, сомневающийся в существовании Бога? — наконец сказал он. — Да люди тогда боялись даже

туч, молились деревянным тотемам… — Он покачал головой.

— Вот мое предложение. — Я протянул ему чек.

Он изучил его и удивленно вскинул брови. Затем встал и протянул мне руку.

— Что ж… по крайней мере, фомам неверующим никто не платит.

Плотцы знают, кто они и откуда, — написал мне он. — *Поэтому я ничуть не удивлен, что ты в них влюбился. Нас всегда манят люди с глубокими корнями и традициями. Однако традиции эти нам неизменно чужды, и результат всегда печален. Но я тебя не виню. Чувствовать свою причастность к чему-то большему, любить и быть любимым — самые естественные желания человека.*

Откуда ты знаешь про Плотцев?

Ты сам мне про них рассказывал.

Я никогда не говорил, что влюбился в них.

Я не ясновидящий, Пол. Просто умею соединять точки.

Проблемы со сном у меня начались после смер-

ти отца. Мама задергивала шторы, включала ночник, укрывала меня одеялом, и я поудобнее устраивался в полумраке, надеясь быстро уснуть. Но сон не приходил. Я непременно должен был уснуть первым: если бы первой уснула мама, в квартире остался бы один бодрствующий — я, а это было почти так же страшно, как остаться одному на всем белом свете. Остаться одному — самый большой страх моего детства. Раз уснула мама, значит, уснули и остальные люди в доме, и я буду бодрствовать, пока все взрослые спят. Надо уснуть! Очень надо! Но все было напрасно: что бы я ни делал, ночь разрасталась и темнела. Сон, точно зараза, распространялся от нашего дома по всему кварталу, затем по всему городу, а потом и по всему миру. В целом мире я был единственный, кто не спал.

Мои усердные попытки заснуть окончательно прогоняли сон, и тогда я понимал, что вообще никогда-никогда не смогу заснуть. Ужас быстро охватывал все мое существо, и никакие мамины ухищрения — добрые книжки на ночь, молитвы, несчетное число «спокиночей», которые я заставлял ее говорить перед уходом, — ничто не могло справиться с этим ужасом. Минут десять-пятнадцать я лежал, парализованный,

в кровати, а потом начинал звать: «Мам?!» Иногда она отвечала: «Да» или «Что?», но обычно: «Чего тебе?» Немудрено: она пятнадцать минут желала мне спокойной ночи, потом уходила и снова возвращалась, чтобы развеять очередной мой пустяковый страх, и вообще множество раз проявляла нечеловеческое терпение, прежде чем закрыть дверь в мою комнату — и все это после тяжелого рабочего дня, готовки и уборки, — конечно, она уже еле дышала от усталости. И по-прежнему оплакивала отца. Горевала и пыталась смириться со своей участью. Пыталась разобраться в происходящем и одновременно обеспечить мне нормальное детство. Но обеспечивать нормальное детство — это одно, а иметь дело с девятилеткой, который из ночи в ночь отказывается спать, — совсем другое. «Чего тебе?» — раздраженно спрашивала она, словно хватая за руку непослушное дитя. Но я притворялся, что не замечаю ее тона, и игнорировал подступающий ужас перед следующей закономерной стадией нашего еженощного ритуала. Я закутывал этот ужас в обмен любезностями, столь естественными перед отходом ко сну, и кричал сквозь тонкие стены: «Я только хотел пожелать спокойной ночи!» «Спи, Пол», — гово-

рила она. Спустя несколько минут я повторял: «Спокойной ночи, мам!» — и она говорила: «Мы уже сто раз пожелали друг другу спокойной ночи, Пол, сто раз!» Еще спустя несколько минут — все это время я изо всех сил боролся с желанием это сделать, — я кричал: «Спокойной ночи, мам!» — «Мы уже попрощались. Много-много раз. Все: последний раз говорю, спокойной ночи!» Я ни в чем ее не виню, это происходило из ночи в ночь и страшно ей надоело, а поделать она ничего не могла. К тому моменту мы оба уже знали, что нас засасывает в повторяющийся кошмар, и вопросов оставалось только два: сколько я продержу маму без сна и до какого каления ее доведу? Я переставал притворяться и начинал орать: «Мам, ты не спишь?!» Из дальней комнаты доносился ее отчаянный крик: «А-а-а-а!» Еще чуть позже я снова спрашивал: «Ты не спишь?» — и она отвечала: «А ну засыпай!» Потом, много позже, я выкрикивал: «Мам?» — и не получал ответа. «Мам?» — Нет ответа. «Мам! Мам! Мам!» Наконец она отвечала: «А НУ БЫСТРО СПАТЬ! СПАТЬ, Я СКАЗАЛА!!!» Я испытывал огромное облегчение. Раз она так злится, значит, точно не спит, и я не один. Потом она переставала отвечать, сколько бы раз я ни звал, и тогда я под-

ходил к ее комнате и спрашивал уже чуть тише: «Мам, ты не спишь?» Тишина. Я открывал дверь и спрашивал с порога: «Мам, ты не спишь?» Она лежала в кровати с открытыми глазами и смотрела в потолок. Но я все равно спрашивал: «Мам, ты не спишь? Мам? Ты не спишь?» Не поворачиваясь и не глядя на меня, она отвечала: «Сплю».

Утром мы просыпались либо в ее кровати, либо в моей, или же я лежал на диване в гостиной, а она — рядом на полу, укрывшись моим пледом «Ред Сокс».

На следующий день после нашего разговора с Зукхартом в клинику пришел инвестиционный банкир по имени Джим Кавано. Даже банкиры с Уолл-стрит выглядят как дети, когда сидят в моем кресле с голубым слюнявчиком на груди. Я бы не удивился, если бы стоматологов на ранних стадиях обучения учили брать пациентов на руки и укачивать.

От него хорошо пахло. Кажется, я уловил нотки кардамона и белой березы. Люди вроде Кавано, работающие в финансовых организациях и юридических фирмах, всегда источают ароматы дизайнерских парфюмов и лосьонов после бритья. Я представлял, как эти испарения конкурируют — на молекулярном уровне — и всту-

пают в жестокие кровавые битвы со своими соперниками в каждом конференц-зале, каждом коридоре, каждом кабинете и каждом салоне личного самолета. Единожды нюхнув Кавано, я понял, что его свирепые душистые флюиды выходят с каждого поля битвы неразбавленными победителями.

Когда я сел рядом, он читал что-то в я-машинке. Его пальцы гладили и постукивали экран, придавая цвет и объем мельчайшим подробностям его портрета. Он оторвался от экрана, чуть помедлил — какой-то глюк души — и ответил на мое рукопожатие. Затем спрятал машинку в карман, и она еще долго там вибрировала и тренькала. Я включил свет и взял протянутый Эбби зонд. Опасения миссис Конвой оправдались: в одной из моляров внизу справа зиял черный кариес, на десне вспух огромный свищ. Я убрал свет.

— Вам больно?

— Да, желчный пузырь побаливает. И спина ни к черту. Но я над этим уже работаю.

От него просто обалденно пахло. Лишь самые реакционные гетеросексуальные импульсы не дали мне уткнуться носом в его шею.

— Я имел в виду зубы.

— Зубы? Нет, с зубами все в порядке. А что?

Я постучал по кариозному зубу.

— Не больно?

— Нет.

— А здесь?

— Нет.

По идее, он должен был испытывать адскую боль. Выходит, он принимал какие-то анальгетики — а то и все существующие разом.

— Вы что-нибудь принимаете?

— Только то, что доктор прописал.

— Когда вы последний раз были у стоматолога?

— Полгода назад?.. Нет, вру. Лет пятнадцать назад? И я не пользуюсь зубной нитью, можете не спрашивать. И питаюсь отвратительно. Выпиваю двадцать банок «колы» в день, и то — в лучшем случае, обычно больше. Это ведь полезней, чем нюхать кокаин, правда? Хотя для зубов вряд ли. Я знаю, что метамфетамин вреден для зубов, но кокаин — не метамфетамин, так ведь? В плане зубов? А почему вы меня допрашиваете? Я начинаю нервничать. У меня ни разу в жизни не было кариеса.

— Теперь есть.

— Но я к вам даже не собирался!

— А куда вы собирались?

— На эту проблему можно закрыть глаза?

В общей сложности я насчитал у него шесть кариесов, а десны были поражены пародонтозом.

— Также наблюдается некоторая подвижность, — сказал я. — Вот здесь и здесь.

— Подвижность?

— Зубы у вас шатаются.

— Зубы?!

— Возможно, удастся их спасти…

— Возможно?!

— Но тянуть с этим нельзя.

— Ничего не понимаю, — сказал он.

Иногда я встречаю такую реакцию у пациентов. Растерянность. Это что, правда случилось? Со мной? А как же мое образование, моя карьера, моя национальность? Я голосую за республиканцев! У меня полная медицинская страховка, включая стоматологию! Нет, ваш диагноз определенно нужно пересмотреть, доктор.

Я не получаю удовольствия от того, что открываю пациентам глаза на правду: их зубы в опасности, здоровье ослабло, и впереди — очень много боли. Но мне нравится наблюдать, как испаряется их чувство собственного превосходства. Высокое положение в обществе больше ничего тебе не дает, ты ничем не отличаешься

от простых смертных. Ты смертен, и это ужасно. Ты — маленький человек, а мир огромен, небо безгранично, и нормальная еда — очень-очень далеко, тебе не дотянуться. Добро пожаловать в новый мир, он уже никуда не денется. Да и не девался, он всегда был здесь, ты просто не видел его за плечами водителя, швейцара и того азиата, что подает тебе еду навынос.

— Послушайте, — сказал я. — Спасти ваши зубы можно. И десны тоже. Вы избавитесь от неприятного запаха…

— Какого неприятного запаха?

— И если после всех этих процедур вы будете ежедневно пользоваться нитью и ирригатором, полоскать рот, дважды в день осторожно чистить зубы мягкой электрической щеткой, правильно питаться, то ваши зубы станут как новенькие, и вы сможете забыть об этих проблемах навсегда. После пятнадцати лет полного пренебрежения собственным здоровьем это самое настоящее чудо, правда?

Первую половину дня я убил на лечение банкира. Его я-машинка то и дело вибрировала, но ответить он не мог, потому что сидел в кресле стоматолога.

— Слава богу, он послал меня, а не кого-нибудь

другого! — сказал Кавано, когда я закончил. — Будь моя воля, я бы никогда не пошел к стоматологу. Думаете, он все знал?

— О ком вы говорите?

Он сел, и на меня вновь пахнуло райскими кущами, этими дивными fleurs буйной маскулинной весны.

— О Пите Мерсере.

— Миллиардере?

— Да. И моем боссе. Он просил передать вам это.

Кавано вручил мне конверт. Внутри была записка:

Мне бы хотелось с вами побеседовать. Я поручил Джиму дать вам номер моего мобильного. Пожалуйста, позвоните как только сможете. П.М.

Мы еще не говорили о суициде твоего отца, — написал он. — *Если бы он знал о своем месте в мире, возможно, он бы не покончил с собой. Грозит ли тебе такая опасность? Мысли о самоубийстве закрадываются? Как часто? Я знаю, что ты заблудился, но друг мой! Ты ведь потомок великого народа!*

Чего тебе от меня надо? — ответил я. — *Чего*

тебе надо, чего тебе надо, чего тебе надо?

Чтобы ты помог мне возродить этот народ.

Городской воздух колыхался и дрожал от зноя. Солнце было везде и нигде, оно дышало в шахтах и коридорах города, заполняя улицы обессиливающим жарким пульсом. От этого я и остальные пешеходы испытывали дискомфорт на уровне кожных пор. Пот скапливался над каждой губой и в каждой впадине. Такси ослепительно сверкали на солнце. Тенты и навесы потрескивали. Асфальт, которым заливали ямы на дорогах, плавился, а листья деревьев замерли от ужаса в неподвижном воздухе.

Я договорился встретиться с Питом Мерсером в Сентрал-парке. Он не хотел беседовать в офисе.

Я не знал, чего ждать. В жизни не встречал ни одного миллиардера. Наверно, это очень дисциплинированный человек. Встает на рассвете, занимается спортом — четкая, повторяющаяся изо дня в день последовательность силовых упражнений и кардио, — и успешно поглощает необходимую дозу клетчатки. Больше всего от такого строгого режима выигрывают его ЖКТ и банковский счет. Каждая его минута расписана, даже количество выпитой жидкости строго отмерено

заранее. Он бреется каждый день, независимо от настроения, а заодно посещает маникюршу, душится и умащается лосьонами, надевает свежий костюм и галстук. Словом, это такой человек, которым я бы никогда не стал — даже если бы в запасе у меня оказалась тысяча жизней.

Однако на скамейке меня поджидал человек в поношенных камуфляжных штанах и туристических ботинках. Он ел пятидолларовый сэндвич, купленный у уличного торговца. Невозможно сохранять достоинство, поедая такую штуку. Ему приходилось наклоняться вперед, роняя капли соуса на землю между широко раздвинутыми ногами. Он держал в горсти штук шестнадцать салфеток разной степени загрязненности, и еще полдюжины смятых валялись рядом на скамейке. Завидев меня, он вскочил и, еще дожевывая, принялся вытираться, чтобы пожать мне руку хоть сколько-нибудь чистой частью тела.

Я сел на скамейку. Волосы у него были пострижены коротко и расчесаны на консервативный пробор. Единственное, что выдавало его возраст, — пакетики «Эрл Грея» под глазами и чуть дряблая кожа на шее. Словом, выглядел он совершенно непритязательно — но при этом мог скупить весь Манхэттен к югу от Канал-стрит.

— Спасибо, что согласились встретиться. Я с большим интересом читаю ваши твиты. «Мы обрели утешение в интимности маргинализации». Когда это было? Сегодня?

Мои твиты! Он решил, что это пишу я!

— У меня сложилось впечатление… — начал я. — Вы публично опровергли…

Он пожал плечами.

— А что мне опровергать? У них нет задокументированной истории и каких-либо сведений о прошлом. Мифы противоречат Библии. Только сказки о чудесном спасении, не подкрепленные никакими фактами. Как вы писали… «угнетенные донельзя»? Что-то в этом духе. В лучшем случае мы располагаем неким генеалогическим древом и не внушающими доверия образцами ДНК. Неужели этого достаточно, чтобы заставить кого-либо что-либо опровергать?

— Но ваша контора только что опровергла подозрения…

— Если бы по миру пошли слухи о том, что я дышу кислородом, я бы попросил своих подчиненных опровергнуть эти подозрения. Я ценю свою личную жизнь.

— Я тоже.

Он вручил мне пакет с сэндвичем.

— Купил вам обед.

— Спасибо.

— Я, правда, не знал, вегетарианец вы или нет. Они вроде все вегетарианцы.

Интересно, кто это — «они»?

— Нет, я слишком люблю мясо.

— Я тоже, — сказал он.

Я открыл пакет. Из пробоины в фольге сочился горячий соус.

— Спасибо, что согласились встретиться, — повторил Мерсер. — Вы наверняка очень занятой человек.

— Не занятее вашего, — сказал я.

— И спасибо, что полечили Джима. За это вам признательна вся контора.

— От Джима очень хорошо пахнет, этого не отнять, но ему стоит всерьез заняться своим здоровьем.

— Как и нам всем, — сказал он. — Почему вы решили стать стоматологом?

— Все оральная фиксация виновата.

Он громко расхохотался. Далеко не все находили эту шутку смешной. Да это и не шутка вовсе, просто обычно люди ждут от меня более приличного ответа. Они не любят, чтобы им напоминали о потенциальных извращенских замашках их

врача, особенно врача-стоматолога, который регулярно засовывает руки им в рот. Реакция Мерсера мне понравилась. Люблю людей с чувством юмора.

— В юности я влюбился в одну девушку, — сказал я. — Ее рот стал для меня откровением.

— Я тоже любил пару ртов, однако же стоматологом не стал.

— Мой труд оплачивается куда хуже, чем ваш. Вам бы не понравилось.

Он снова засмеялся.

— Да уж. Но делание денег — это пустая трата времени.

— Вы еще не пробовали убедить пациента пользоваться зубной нитью.

— Непростая задача?

— Я сам иногда сомневаюсь в пользе зубной нити. Но сомнения быстро проходят.

— Я раньше никогда не пользовался нитью, — сказал Мерсер, — а потом вдруг начал и обалдел, сколько всякой дряни скапливается у меня во рту. Типа: ого, да это ж целая голяшка! Ни фига себе! А тут полведра попкорна!

— Наверно, у вас глубокие десневые карманы.

— Что, они так и называются — десневые карманы? Какая гадость.

— Гадость? В следующий раз я вас позову на удаление ретинированного зуба. Надо крепко схватить щипцы, потом сделать ими несколько «восьмерок» и рвануть изо всех сил. Иногда, бросая зуб на поднос, мне кажется, что нервы еще шевелятся.

Мерсер вытаращил глаза от ужаса.

— Лучше делайте деньги, — подытожил я.

Он встал и отнес мусор в урну. Я не ожидал, что он мне понравится.

За день до этого я посмотрел в Интернете видеоролик. Мерсер выступал перед Комитетом США по надзору и правительственным реформам — рассказывал о финансовом кризисе 2008 года. Тогда он поставил все против системы и выиграл. Безо всякой иронии Мерсер заявил, что этот парадокс лишь доказывает эффективность работы системы. Представитель Калифорнии выразил несогласие и настойчиво попросил Мерсера объяснить свою «удачу». «Удача тут ни при чем», — ответил Мерсер и подробно описал ход своих мыслей на конец 2007 года. Мы слишком долго позволяли себе безрассудную роскошь — выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса, мы пытались защититься от рисков посредством неконтролируемой торговли кре-

дитными дефолтными свопами. Мерсер сделал нелогичный ход, который — и вот еще один парадокс рыночной экономики — на самом деле оказался вполне логичным. «В этой стране умные люди всегда делали деньги на эксплуатации правящих сил. Кто находится у руля — либералы, консерваторы, демократы, республиканцы, — совершенно неважно. Пусть они действуют, а мы изучим их действия и найдем благодатную почву для эксплуатации. Дают беспроцентные кредиты? Взвинтим цены на активы. Индексируют курс валют? Спекулируем на внешнем долге. Правящие круги призваны защищать капитализм, особенно в Америке. Мы должны быть умнее правящих кругов», — сказал Мерсер представителю правящих кругов.

«Если позволите провести аналогию, мистер Уоксмэн, которая сейчас покажется вам весьма натянутой, я замечу, что экономическая система Америки — да и всего развитого мира — своей концентрацией власти и коррупционностью напоминает Католическую церковь в века, предшествующие Протестантской Реформации. Эту систему контролирует небольшая группа инсайдеров, которые охотно пойдут на все, что поможет им получать огромные прибы-

ли и ни с кем не делиться. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Почему страдающие от такой системы до сих пор не взбунтовались? Если в случае с церковью люди боялись вечных мук, то сейчас люди — я имею в виду тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, сдает машину в автосервис, сам ходит в супермаркет и все такое, — просто не знают, сколь велики масштабы надувательства. Те же, кто хоть чуть-чуть догадывается, безропотны. И вот пока они несведущи и безропотны, их будут эксплуатировать, а они будут терять и терять».

Под роликом была пара сотен комментариев, полных бессильного гнева.

Я выудил из пакета сэндвич и принял на скамейке ту же позу с широко раздвинутыми ногами. В такую жару я почти не ем, но обижать Мерсера не хотелось. Он вернулся к скамейке и, пока я жевал куриную шаверму, поведал мне свою историю.

Он поехал на могилу матери в Рае. На кладбище, когда он уже возвращался к машине, к нему подошел человек с туго набитым саквояжем. Мерсер решил, что это журналист, но потом увидел, что человек совсем не похож на журналиста.

— А как выглядят журналисты? — спросил я.

— Легкомысленными. Или заносчивыми.

— А Грант Артур какой?

— Он выглядел как человек, принесший себя в жертву делу.

Первым делом Артур сообщил ему, что знает, кто он такой — Пит Мерсер, — но этот самый Пит Мерсер не знает, кто он такой. Быть может, эти слова показались Мерсеру любопытными или даже задели его за живое — как бы то ни было, он остановился и решил выслушать Артура. С какими только просьбами не обращались к Мерсеру: основать стипендию для изучающих внеземные цивилизации, пожертвовать деньги на освобождение живущих в неволе слонов, поддержать кампанию по включению рыцарского поединка в число олимпийских видов спорта, подкупить российский парламент и помочь слепой женщине со слепой собакой купить дом в Хэмптонсе. В обычной ситуации Мерсер не усадил бы незнакомца в машину и не стал бы слушать пространных сказок о великом истребленном народе и утраченном наследии. Но на сей раз он именно так и сделал; исследования Гранта Артура его потрясли.

— До встречи с ним я ничего не знал о своей семье. Ну, понятное дело, кроме имен родителей

и бабушек-дедушек. Некоторые документы, собранные Артуром, датировались шестнадцатым и пятнадцатым веками. Минут сорок ушло только на то, чтобы их выложить. Потом мы расстались, и первым делом я отдал все бумаги независимому специалисту по генеалогии. Попросил проверить все имена и даты. Она не нашла ни единой ошибки или фабрикации до тысяча шестисот пятидесятого года.

— А потом что?

— Она зашла в тупик. Последний документ Артура датировался тысяча четыреста семьдесят четвертым годом. Оказалось, это очень приятно — узнать, что твой род уходит корнями в такое далекое прошлое, — произнес Мерсер. — Вы испытали похожие ощущения? Или у вас было по-другому?

Я почувствовал себя… не у дел. Фруштику выложили всю информацию о его роде, теперь вот и Мерсеру. А я чем хуже?

— На меня у них другие планы, — сказал я. — Мне ничего такого не показывали.

— Ничего?

— О моей генеалогии — ничего.

— А анализ ДНК у вас взяли?

Я помотал головой.

— Тогда откуда вы знаете?..

Я рассказал ему про сайт клиники, страничку на Фейсбуке и аккаунт в Твиттере.

— Они сделали вам сайт без вашего разрешения?

Я кивнул.

— И все эти твиты писали не вы?

Неужели он был так любезен, купил мне сэндвич, смеялся над моими шутками и вообще решил со мной встретиться исключительно из-за моих твитов?

— Боюсь, что нет.

— Так вы, возможно, и не принадлежите к ульмам. Они вас просто используют!

— Возможно.

Он отвернулся и посмотрел вдаль. Затем хлопнул себя по ляжкам и встал.

— Что ж…

— Вы уже уходите?

— Не хочу отнимать ваше драгоценное время. — Он протянул мне руку. — Огромное вам спасибо за помощь.

Я наконец-то встал и пожал ему руку.

— Разрешите поинтересоваться, чем же я вам помог?

— Серьезные люди не занимаются хищением

личных данных других людей, не пропагандируют свою идеологию от чужого имени. На вашем месте я бы нанял хорошего адвоката. Боюсь, вы стали жертвой аферы, и я тоже. Любопытная вышла история… — добавил он, прежде чем уйти. — Жаль, что она так быстро закончилась.

Он наверняка прав, подумал я. Это всего-навсего афера. Стремительный уход Мерсера из парка напомнил мне, что можно мыслить здраво, оставить всю эту смехотворную чушь позади и никогда к ней больше не возвращаться.

В выходные я отправился в торговый центр — надо было многое обдумать. Что я чувствовал? Облегчение? Разочарование? Опять гнев?

Когда несколько лет назад я прекратил покупать вещи, сэкономленные деньги я стал копить — с намерением сделать что-нибудь хорошее для мира. Вместо того чтобы приобрести некую вещь, я записывал ее цену в блокнот, а в конце года складывал все цифры и жертвовал получившуюся сумму на какое-нибудь хорошее дело. Гаити. Борьба с голодом. Молодые семьи, отважившиеся жить вместе с рогатым скотом в какой-нибудь богом забытой глуши. Насколько я могу судить, толку от моих денег не было никакого. На Гаити по-прежнему царит нищета, голод

тоже никуда не делся. Я не ждал, что смогу избавить мир от всех болезней и напастей, однако все мои попытки привели лишь к одному: к увеличению спама в моем почтовом ящике. Поднимать экономику и тем самым повышать уровень жизни — это одно, а пытаться сделать мир лучше посредством нескольких пожертвований — совсем другое. Я лишь убедился в ничтожности своих усилий и оттого впал в тоску.

После встречи с Мерсером я решил начать покупать. Причем теперь я мог покупать с чистой совестью, шопинг меня ободрял и утешал. А после того как мне открыли глаза на собственную наивность, я очень нуждался в ободрении и утешении. Но, бродя по коридорам торгового центра, я никак не мог найти того, что мне действительно нужно — и чего у меня до сих пор не было. Я решил не завышать планку и вошел в магазинчик «Холлмарк», чтобы испытать на себе натиск сентиментальных открыток, вазочек в форме сердца и табличек с вдохновляющими афоризмами (А вот и табличка, которую вы искали! — «Возлюби Бога»). Потом я отправился в «Брукстоун», магазин дорогих новомодных изобретений, и посидел там в массажном кресле. Заодно испытал какую-то навороченную супер-

технологичную подушку. Но массажное кресло у меня уже было — давным-давно, пока я от него не избавился, — а когда речь заходит о подушках, новым технологиям я все же предпочитаю старые.

После «Брукстоуна» я зашел в «Поттери барн». В детстве, когда мой дом был обставлен дешевой, обшарпанной и до боли знакомой мебелью, сходить в «Поттери барн» было для меня все равно что оказаться в раю. Чтобы люди полюбили ходить в церковь, думал я, надо чтобы в церкви все выглядело и пахло, как в «Поттери барн». У меня даже была мечта: в один прекрасный день окружить себя всем, что продается в этом магазине, всеми этими плетеными корзинками, ароматизированными свечами и фоторамками из матового серебра. Но это было давно. Я уже прошел ту фазу, когда моя квартира выглядела точной копией магазина «Поттери барн» — через некоторое время я полностью сменил мебель и декор. Все, что там продавалось, теперь казалось мне дешевым ширпотребом. Покупать такие вещи — значит умалять собственное достоинство и благородные порывы души. Нет, мне хотелось не купить их, а просто вернуть то ощущение — острое желание скупить весь «Поттери барн».

Примерно то же самое постигло меня и в музыкальном магазине. Надо прикупить новой музыки, решил я. Помнится, были времена, когда новая музыка не раз выводила меня из депрессии. Но уже на букве «Б» я нашел то единственное, что хотел купить. Альбом «битлов» «Rubber Soul» 1965 года выпуска. Понятное дело, этот альбом у меня уже был — сначала на виниле, затем на кассете, на диске, а теперь и на айпаде, миниайпаде и айфоне. Я мог в любой момент достать свой айфон, подключить его к магазинным колонкам и послушать «Rubber Soul» от начала до конца. Но я хотел не этого. Я хотел купить «Rubber Soul» как первый раз в жизни. Переставить иглу с выводной канавки на вступительную часть «Drive My Car» и впервые услышать эти звуки. Но, понятно, это было невозможно. Зато я мог купить это ощущение для другого человека. Я взял с полки диск, оплатил его на кассе и вышел из магазина, обновленный и взбудораженный. Первый же подросток, которому я предложил любимый альбом, — пухлый парень, с тоской разглядывавший витрину магазина «Гейм стоп», — отказался и заявил, что ему больше пригодятся наличные. У двух других ребят не оказалось CD-плейеров. В итоге я оставил «Ре-

зиновую душу» на скамейке рядом со списанной в утиль урной, в которую кто-то бросил клок припорошенных перхотью волос.

Наконец я вошел — как делают рано или поздно все посетители торгового центра — в зоомагазин «Лучшие друзья». Большинство лучших друзей — невероятно крохотные щенята биглей, корги и немецких овчарок — были заперты в белые вольеры, где они целыми днями спали от безделья, почти не шевелясь, и лишь изредка лизали себе лапы. Что может быть лучше для подъема настроения, чем вот такой очаровательный щенок? Который развеет тучи цинизма своим безудержным восторгом и умением радоваться даже сущим мелочам? Вот зачем я приехал в торговый центр: за собакой. Освобожу одного из этих красавчиков из камеры № 9 и больше никогда не буду одинок.

А потом я вспомнил пору, когда мы с Конни — готовясь к семейной жизни и рождению детей, — решили завести собаку. Мы привезли ее домой, и у меня началась паранойя: я только и думал о том, сколь короток собачий век. Разговаривать об этом с Конни, когда она смеется и играет с щенком, было неправильно, однако я ничего не мог с собой поделать. Мне хотелось

радоваться новому щенку, пока он еще щенок, ведь щенята так быстро вырастают. Это меня и тревожило: сначала он быстро вырастет, а потом быстро состарится. Человеческому глазу этот процесс незаметен, но с каждым днем пес начнет неминуемо приближаться к смерти. Когда он умрет, мы с Конни будем скорбеть — а это худшее из всего, что может случиться с человеком (после смерти, естественно). Так зачем самому на это напрашиваться? Что мы натворили?! Поддались импульсу и купили собаку, не подумав о ее скорой кончине? Я сказал Конни, что хочу вернуть щенка в магазин. Я не мог даже опуститься на корточки и поиграть с ним — только сидел на диване и рыдал, умоляя Конни отвезти собаку обратно. У меня язык не поворачивался назвать щенка щенком и тем более Бини. Бини, ага! Я называл его просто «собакой». Конни залезла на диван и изо всех сил постаралась меня понять. Разумеется, она решила, что это как-то связано с моим отцом. Но Бини Плотц-О'Рурк и Конрад О'Рурк не имели друг к другу никакого отношения. Вряд ли Бини когда-нибудь застрелится в ванной после неудачного курса электрошоковой терапии. Бини хотел лишь радоваться сущим пустякам. Вы представляете, каково это — видеть

чужой восторг от сущих пустяков, когда тебе самого пожирают мысли о смерти? В итоге Конни оставила Бини в своей квартире. Иногда я гладил его, когда заходил в гости, но не больше того. И магазин «Лучшие друзья» я покинул с пустыми руками.

К тому времени остальные посетители центра начали действовать мне на нервы. Они были не просто странные, а какие-то больные, увечные, изъеденные диабетом и вечными долгами. Поначалу я пытался убедить себя, что таких людей не большинство, что это просто место неудачное и скоро мимо непременно пролетят духи здоровья и красоты, с голыми грудями, раскинутыми руками и шелковыми знаменами на плечах. Однако мимо проходили лишь одинаково неполноценные уроды, жирные свиньи и тощие крысы, за которыми плелись неказистые дети и шаркающие глухие старики. Вот они, мои соотечественники. Я нашел утешение в единственной привлекательной женщине, которая, несомненно, пришла сюда за дорогой сумочкой или парой дизайнерских туфель. Она шагала решительно и бодро, не обращая внимания на калек и орущих детей, и через мгновение скрылась из виду. Я сдался и пошел

ужинать в «Ти Джи Ай Фрайдис».

Официант, принимавший мой заказ, был с ног до головы в форменной одежде. Этот прикид часто становится поводом для насмешек в любом уголке Америки, но мне было отрадно его видеть, потому что я не забыл, как мальчиком радовался редким ужинам в «Ти Джи Ай Фрайдис». Видя эту форму, я вспоминал, с каким воодушевлением мама, папа и я принимались выбирать самые недорогие блюда в меню. Теперь у меня были деньги, я всегда заказывал несколько закусок, самый дорогой стейк, десерт и пару коктейлей ядовитых цветов. Есть не хотелось. Я вообще больше не испытывал чувства голода, но не мог отказать себе в этом удовольствии. Оно никогда не приедалось. «Поттери барн» и «Резиновая душа» приелись, однако возможность не ограничиваться куриными пальчиками с медово-горчичной заправкой в «Ти Джи Ай Фрайдис» приносила мне чувство морального удовлетворения по сей день.

За едой я стал гадать: можно ли мое отношение к «Поттери барн» и «Резиновой душе» перенести и на людей? Пришлось признать, что с семьей Сантакроче так и случилось: когда-то они были для меня всем, а теперь стали ничем.

Произойдет ли то же самое с Конни и Плотцами? Мне не нравилось думать о Конни как о некой использованной и выброшенной за ненадобностью вещи, и обычно я мог сказать себе, что это не так. Но в тот день, меланхоличный и пресыщенный чересчур богатым ассортиментом товаров, я решил, что больше не знаю, чего действительно хотел когда-то от Конни — самой Конни или этого чудесного ощущения потери собственного «я», влюбленности в нее, в ее семью и иудаизм — все это я потерял, если вообще когда-то мог назвать своим.

По дороге домой я остановился выпить пива в пивной лавке. Оказываясь в такой лавке, я всегда ищу «Наррагансетт» — его пил мой отец, когда смотрел по телевизору бейсбол. В поисках нужного напитка на пыльном стеллаже с редкими сортами, я наткнулся на теплую упаковку пива «Ульм», сваренного в Ульме, Германия. «Так, значит, не афера?» — подумал я.

Слушай, да такое постоянно случается. Можешь не извиняться, — написал он. — *Думаешь, ты первый сказал: хмммммм, как-то это все подозрительно? Нет, ты не первый и не последний. Мы все в какой-то момент давали задний ход. Никто не хочет остаться в дураках. Мы были бы*

горсткой легковерных идиотов, если бы нас никогда не мучили сомнения. Это испытание твоей веры, Пол. Испытание, которое ты с честью выдержал. Испытание, которое сделает тебя сильнее. Парадокс, не правда ли, что религия, основанная на сомнении, требует от своих адептов столько всего принимать на веру?

Я ответил:

Сколько вас? Сто? Двести?

По моим приблизительным подсчетам — около двух-трех тысяч. Но все разбросаны по миру.

Когда миссис Конвой встала в открытых дверях и позвала: «Маккинси?» — Конни вдруг повернулась ко мне и сказала: «Я должна кое в чем признаться».

Я придвинулся ближе. В замкнутом пространстве приемной, в окружении крутящихся офисных стульев и стеллажей с папками, придвинуться ближе означало просто обернуться. Конни сидела на стуле, одетая исключительно в оттенки серого — серую юбку, темно-серые и светлеющие книзу колготки, серую футболку с темно-серой птицей, — а шею повязала объемным полупрозрачным синим шарфом. Еще на ней были синие

теннисные туфли, ни в коей мере не претендующие на звание спортивной обуви. Волосы она собрала сзади с помощью невидимок — казалось, смотришь на железнодорожное депо с высоты птичьего полета.

Что за удивительное изобретение — невидимка для волос! Один зубец прямой, второй — чуть изогнутый на одном конце, и на кончиках обоих — крошечные шарики из твердого янтаря. Невидимка никогда не менялась: добрые медсестры в гражданскую войну закалывали косынки точно такими же. Хотя эти штучки призваны держать волосы в строгости, у Конни на голове всегда красовались самые модные и броские невидимки. Помню, как я любил выбирать их из ее прически, одну за другой, осторожно, чтобы не дернуть волосы, и складывать на тумбочку. В конце концов по ее плечам рассыпался каскад кудряшек, приятно пахнущих и немного влажных.

— Ладно, я просто скажу как есть. Помнишь, я тебе говорила, что я — непрактикующая атеистка? Так вот, это неправда. То есть некоторое время я была атеисткой, но теперь — нет. То есть… я не на сто процентов уверена в том, что Бога нет. Иногда я почти не сомневаюсь, что он все-таки

есть.

— То есть ты веришь? Ты верующая?

— Иногда.

Я был потрясен.

— Иногда?

— Почти всегда.

Я был вне себя. Сколько раз она открыто выражала свое скептическое отношение к Богу? Сколько раз она закатывала глаза, когда какой-нибудь идиот по телевизору рассказывал женщинам, как беречь свое тело во имя Бога? Или порицал однополые браки — тоже во имя Бога? Или выступал в защиту огнестрельного оружия с дисковыми магазинами на сто патронов — ибо Бог хочет, чтобы у всех было оружие? Сколько раз она согласно кивала, когда я произносил очередную речь в духе Хитченса?

— Так ты всегда была верующей?

— Не всегда.

— А когда — не была?

— Когда мы встретились.

— То есть до нашего знакомства ты верила?

— Ты очень убедительно вещал. Ты вообще умеешь говорить убедительно.

— То есть… я *убедил* тебя стать атеисткой?!

— Я была влюблена! Мне крышу снесло! Я хо-

тела меняться!

— Ты мне врала?

Первый год наших отношений, даже полтора, прошли как в тумане. Я даже не могу сказать, насколько мы были влюблены друг в друга — всюду была сплошная любовь, днем и ночью любовь, любовь, любовь. Единственное, что меня немного напрягало, — это ее поэзия. Насколько я могу судить, она была неплохим поэтом. Я не всегда понимал, о чем она пишет, но и стихи других поэтов, которые она читала мне вслух в постели, или в парке, или в книжном магазине, я тоже понимал далеко не всегда. Видимо, непонятность — признак хорошей поэзии. Что ж, пусть так, я не возражаю. Но в тот первый год, даже полтора, Конни совершенно перестала писать. Я-то думал, чтобы называть себя поэтом, надо писать стихи. А Конни не писала. Поначалу я не особо напрягался, потому что мне больше нравилось проводить время с ней, чем без нее (а сочинение стихов требует одиночества). Но время шло, она все не писала, и в один прекрасный момент я спросил ее почему. «Не знаю, — ответила она. — Наверное, потому что я счастлива». «Чтобы писать стихи, надо быть несчастной?» — «Нет… наверное, нет. А может, и да. Может, мне на-

до. Когда я счастлива, мне совсем не пишется. Я счастлива и так». — «То есть если ты начнешь писать, это будет означать, что ты несчастна?» — «Скорее, что я успокоилась, пришла в себя. Что я могу думать не только о тебе, о нас, но и о чем-то еще. О стихах». Наверное, это было хорошо и правильно. Но все же иногда я гадал, кто такая Конни, когда не пишет стихи? Она больше не поэт. Поэты пишут стихи. Выходит, она — просто секретарша в стоматологической клинике. Секретарша и любовница врача-стоматолога.

Достаточно будет сказать, что теперь она снова писала — сочиняла вовсю. Зато я узнал: Конни страдала тем же недугом, что и я. Все то время, пока мы встречались, она не писала стихов, пренебрегала семьей и вообще задвинула прежнюю Конни подальше, превратившись в Конни-которая-любит-Пола. Бедняжка, она угодила в рабство, точь-в-точь как я. Она любила меня так сильно, что невольно врала, пытаясь выставить себя в выгодном свете. Меня охватила черная тоска: в такой же черной тоске я проварился несколько недель после нашего расставания. Ну надо же, оказывается, мы были идеальной парой.

— Неудивительно, что ты с такой неохотой

ходила в гости к родным. Тебе мучила совесть.

Конни не ответила.

— Зачем ты мне призналась?

— Хотела, чтобы ты знал: в вере нет ничего дурного.

Конни подкатилась еще ближе, буквально на пару дюймов, — теперь она могла бы взять меня за руку. Но не взяла. Просто положила ладони на колени.

— Вера не делает тебя слабым или глупым в глазах других, — сказала она.

— Разумеется, не делает.

— Если для веры у тебя есть правильные причины.

— Какие же?

— А вот это ты мне скажи.

Я уставился на нее и вдруг понял, что она не просто так решила признаться.

— Что бы с тобой ни происходило…

— А что со мной происходит? — спросил я.

— …если ты выбираешь Бога по правильным причинам…

— Я не выбираю Бога. Ни по каким причинам.

— Тогда зачем ты влез во всю эту историю?

— Никуда я не влез. Бог тут ни при чем. Это традиция. Древний народ, раса с собственным

генотипом. И я никуда не влез.

— Тогда почему сайт до сих пор работает? Почему ты не перестал названивать своему адвокату и требовать решительных действий? Почему всякий раз, когда я на тебя смотрю, ты сочиняешь очередное письмо? Если ты никуда не влез, Пол, почему все происходящее занимает в твоей жизни больше места, чем пациенты?

Я ушел, оставив ее одну в этом жутком закутке, нагоняющем клаустрофобию. Прошел через коридор в приемную и засунул голову в окошко. Конни сидела за столом в той же позе, только слегка откинула голову.

— Хорошо, давай, — сказал я.

Она вздрогнула и крутнулась на стуле.

— Давай не будем вмешиваться в дела друг друга. Кому это надо? Быть может, — сказал я, — если не досаждать другому рассказами о своей жизни, это поможет нам наконец стать честными друг с другом.

Я высунулся из окошка и пошел работать.

А я обязан сомневаться в Боге? — написал я. — *Не то чтобы я очень хотел верить. Бог знает: я бы лучше вообще о нем не заикался.*

Сомневаться — очень важно.

Но почему? Вы сомневаетесь не во всех богах и не в Боге в целом. Вы сомневаетесь в конкретном Боге — том самом, который явился собственному пророку и велел ему сомневаться. Как можно сомневаться в Боге, которого видел собственными глазами?

То, что когда-то было лишь теологической необходимостью, теперь стало практическим императивом. Мы каждый день теряем людей, Пол! Даже тех, кто уже возрожден! Красота мира, полет ласточки, страх смерти — неважно, по какой причине, но они перестают сомневаться и начинают верить. Мы сами себе враги. В этот самый миг наши ряды редеют. История нашего угнетения христианами, евреями и мусульманами — ничто по сравнению с отступничеством. Нас убивали за сомнение, но мы вынуждены сомневаться, чтобы сохранить свой род.

Как можно сомневаться в Боге, которого видел собственными глазами? — повторил я свой вопрос.

Парадокс Бога, просящего свой народ сомневаться, разрешен в Кантаветиклах, в кантонменте 240. Его еще называют Откровением Ульмета.

Я сидел в Громоящике, когда наткнулся на четвертую или пятую инкарнацию статьи об ульмах на Википедии. Эту версию, в отличие от всех предыдущих, строгие редакторы наконец одобрили. Куда же подевался trekkieandtwinkies, стал гадать я, и его усердные попытки запретить создание статьи об ульмах? Я немного порылся на странице и нашел их (попытки) целыми и невредимыми в разделе «Обсуждение». Предназначенный для редакторских споров, раздел «Обсуждение» дает редакторам место выпустить пар и поорать друг на друга вдали от глаз обычных читателей — дабы не ставить под вопрос авторитетность размещенной статьи. Спор по поводу статьи «Ульмы (или ольмы)» был в самом разгаре. В нем участвовали юзеры EDurkheim, drpaulcorourkedds, BalShevTov, HermanTheGerman, abdulmujib, openthepodbaydoorshal, Jenny Loony и другие. Все они горячо оспаривали доводы друг друга — ну прямо как мы с миссис Конвой, когда пытаемся решить, что такое «знать» Бога. Trekkieandtwinkies считал, что статья не имеет права на существование, но других редакторов зацепило одно весьма громкое заявление о «современной израильской агрессии». Упоминание Израиля привлекло к статье кучу внимания,

и редакторы разбились на два лагеря: те, кто выступал за публикацию статьи, симпатизировали Палестине, а те, кто хотел удалить статью, постили произраильские комментарии, не имеющие никакого отношения к ульмам. Проульмская, антиизральская фракция привела семнадцать ссылок на новые статьи и пресс-релизы с примерами этой самой «современной израильской агрессии» против палестинцев, египтян, африканцев, арабов, европейцев и американцев — то есть почти всех, кроме обсуждаемого народа. «Ульмов изгнали из Сеира (Израиль) в 1947 году, — писал автор статьи, — что также свидетельствует об израильской агрессии [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]».

Я выполз из Громоящика, все еще читая статью, которая, хоть и превратилась в политический инструмент, на самом деле была чем-то гораздо бóльшим. Я быстро разделался с пациентом в кабинете № 1 и вернулся к чтению. Этим я занимался всю первую половину утра: между пациентами доставал я-машинку и читал, перечитывал статью, запоминая самые интересные фрагменты.

О происхождении ульмов говорилось в тех книгах Библии, где упоминались амаликитяне:

от Бытия до Псалтири. Греки называли ульмов метиками и anthropoi horis enan noi, т. е. «людьми без храма». С приходом христианства ульмы систематически подвергались самым разным гонениям и преследованиям. Издавались великогерцогские указы и постановления органов местного самоуправления: о насильственном обращении в христианство, штрафах, пытках и смертной казни. Кантаветиклы этот кочевой народ считал своей «переносной родиной». В тринадцать лет всех мальчиков непременно стригли. В статье также имелась схематическая карта судеб народа: когда и где в Средние века вымирали последние диаспоры ульмов. Первые упоминания об ульмах были найдены на территории Верхней Силезии, где они занимались поставками соли для королевского двора.

Именно с мыслями о поставщиках соли в Верхней Силезии я очнулся, держа в одной руке зонд, а в другой бор. Какая неожиданность, право слово. Почему я держал их в руках одновременно? Если я производил осмотр, то зачем мне бор? Если я собирался сверлить, зачем мне зонд? А я собирался именно сверлить, потому что от мыслей о поставщиках соли в Верхней Силезии меня отвлекло жужжание бора. Но что я хотел

сверлить? Передо мной был распахнутый рот, непроизвольно пульсирующий под резким светом. Я окинул взглядом все, что располагалось ниже: женский деловой костюм, капроновые колготки, черные туфли без каблуков, которые не мешало бы почистить. Женщина. Вероятно, некий специалист. Ее глаза, выражавшие животный страх, закатились в самые дальние уголки глазниц и на меня не смотрели. Я бросил взгляд на экран компьютера. «Меркл, Дорис». Миссис Меркл долгие годы была постоянным клиентом нашей клиники, а я даже не помнил, как с ней поздоровался. («Доброе утро всем и вся!») Я покосился на Эбби — та сверлила меня необычайно агрессивным взглядом. Я видел только ее глаза, но в них было столько тревоги и потрясения, что мне пришлось отвернуться. Такого с Эбби еще не бывало. Немыслимо! «У вас что, какое-то минутное помутнение?! — вопрошали эти глаза. — Разве можно забываться, когда у вас в руке работающий бор?!» Я отложил и бор, и зонд, чтобы пробежать глазами карту пациентки. Вскоре я обнаружил, что миссис Конвой ничего туда не записала. Конечно, была вероятность того, что миссис Конвой и не видела пациентку этим утром, что та пришла прямо ко мне, без чистки,

на какую-нибудь срочную процедуру. Я взглянул на поднос — посмотреть, как разложены инструменты. Обычно по подносу видно, что делает врач. В попытках истолковать собственный поднос я понял, что помутнение у меня отнюдь не минутное. Я не знал, чем занимаюсь с миссис Меркл. Вот что бывает, подумал я, пытаясь найти на подносе руководство к дальнейшим действиям, когда позволяешь мыслям бродить где им вздумается. Совершенно неважно, о чем эти мысли: о поставщиках соли в Верхней Силезии, позорных продажах атрибутики «Ред Сокс» или о том, почему мне нравится порнуха с участием клоунов. Я должен быть максимально сосредоточен, когда работаю с пациентом — таков мой долг. Но поднос не предоставил мне никаких сведений — верней, сведений была масса, и все противоречивые. Что это такое? — чуть не заорал я на Эбби. Ну кто так раскладывает инструменты?! С каких это пор стоматологический поднос стал похож на ящик с инструментами и всякой ерундой, куда мы обычно заглядываем в поисках нужной вещи? Однако я ничего не сказал Эбби, я даже посмотреть на нее не отважился, потому что с тех пор, как я выключил бор, прошло уже изрядно времени, и все присутствующие — Эб-

би, я и миссис Меркл — начали догадываться, что я не в себе. Осмотр ротовой полости миссис Меркл поверг меня в полную растерянность. Там не хватало одного клыка и одного резца. Неужели я их только что вырвал? Да нет, всюду были бы кровь и марля, а моя рука бы слегка ныла от приложенных усилий. Возможно, я решил соорудить для миссис Меркл двойную коронку или мост. Но тогда почему у меня в руке был бор? И что делают на подносе гуттаперчивые штифты, корневые дрильборы и газовая горелка? Скажу так: в редкие дни я готов поднять бокал за страхование профессиональной ответственности, и сегодня был как раз такой день. Вот бы просто взять и отпустить ее домой, подумал я. «Ну все, миссис Меркл, дело в шляпе! Подъем!» Но это абсурд, куда я ее отпущу без двух зубов? Так просто здесь не отделаешься. Ее глаза вернулись из далеких краев и искательно уставились на меня: уж слишком много времени прошло с тех пор, как я сделал последнее (первое?) уверенное движение. Почему вы медлите, спрашивали эти глаза, почему у вас такой растерянный и глупый вид? Я не мог даже определить, обезболил я миссис Меркл или нет. Жестом я пригласил Эбби выйти за мной в коридор. Другого выхода у меня

не было: карта молчала, поднос сказал слишком много, а рот лишь усугубил мою растерянность. Я встал вплотную к Эбби и зашептал:

— Послушайте, Эбби, пусть это останется между нами, хорошо? Я понятия не имею, что надо делать! Зачем ко мне пришла эта пациентка?

Эбби стащила с лица маску и сказала:

— Я не Эбби.

Это была не Эбби! Да и глаза у нее были не Эббины! А уж рот — тем более. И ростом она не вышла. Раньше я и не догадывался, что Эбби — очень высокая девушка.

— Как это вы не знаете?! — вопросила незнакомка. — Вы разве не стоматолог?

Вообще-то я не собирался признаваться в своей беспомощности чужому человеку.

— Вы кто такая? Где Эбби?!

— Кто такая Эбби? — спросила незнакомка.

— Кто такая Эбби?! Эбби! Моя ассистентка!

— А… она пошла на прослушивание.

— Прослушивание?

— Ну да, мне так сказали.

У меня заболела шея — так долго я смотрел на нее сверху вниз строгим взглядом. Ну конечно, то была не Эбби, даже близко не Эбби. Разница оказалась весьма существенной, с тем же успе-

хом эта девушка могла бы вчера слезть с дерева, где жила среди гремлинов.

— Почему Эбби ходит на прослушивания? — спросил я.

— Откуда мне знать? — возмутилась ее низкорослая заместительница. — Я же здесь не работаю!

Мимо прошла миссис Конвой. Я поведал ей о случившемся.

— Как такое могло произойти?! — вопросила она.

Я ответил, и она сказала:

— Багуэлл опять вернулся в «Астрос»?! Сколько раз я вам говорила не думать о Багуэлле за работой? В каком вы кабинете?

Миссис Конвой на минуту отлучилась и тут же вернулась.

— Ко мне она не заходила.

Если миссис Меркл пришла прямиком ко мне, миновав миссис Конвой, значит, у нее было что-то срочное. Но что?

— Мне кажется, у вас нет выбора. Придется спросить саму пациентку, — заключила заместительница.

Миссис Конвой ее даже поначалу не заметила, такая она была маленькая. Мы оба уставились

на нее сверху вниз.

— Хотя у нее весь рот обколот. Вряд ли она сможет членораздельно говорить.

— Обколот?! — воскликнул я. — Кто ее обколол?

Тут к нам подошла Конни.

— Что случилось?

— Кто ее обколол? — переспросила заместительница, глядя снизу вверх то на Конни, то на миссис Конвой. У нее был злобный взгляд маленького собакоподобного гоблина. — А вы уверены, что он стоматолог?

Я повернулся к Конни.

— Ты помнишь, как записывала на прием миссис Меркл?

— Разумеется. Она спозаранку позвонила.

— Да?! — вскричал я. — И что с ней? Что мне с ней делать?!

Сегодня утром у миссис Меркл выпал старый мост — булькнулся прямо в миску с хлопьями. Видимо, пришло его время. Любой идиот на моем месте понял бы, что бедная женщина пришла его заменить.

Закончив с миссис Меркл, я пришел к выводу, что должен что-то поменять в своей жизни. И на сей раз никаких полумер вроде посещения

торгового центра.

Начал я с уничтожения собственной электронной почты. Исчезли все письма, подписанные «Полом О'Рурком», затем и вся переписка YazFanOne с многочисленными незнакомцами, заинтересовавшимися темой ульмов. Далее в корзинку отправилась переписка с Конни. Короткий обмен любезностями с Сэм Сантакроче («Мы живем в Питтсбурге, все чудесно», — написала она о себе, своем муже и двух детях). Переписка с другом Макгоуэном. И все остальное — долой!

Я позвонил в телефонную компанию и расторг с ними договор. Вытащил из мобильного симку, согнул несколько раз и выбросил, сунул я-машинку под струю горячей воды и раздраконил ее с помощью зонда. Часть выбросил в канализационную решетку, а часть — в Ист-ривер, по дороге на обед.

Вернувшись в клинику, я позвонил своему провайдеру и отключил Интернет дома и на работе. Буквально в считаные часы мы оказались полностью отрезаны от мира. Невероятно! Значит, выход все-таки есть, надо только постараться?..

— Куда пропал Интернет? — вопросила Бетси, злобно глядя на айпад.

— Не знаю, — ответила Конни. — Я перезагру-

зила роутер, или как там эта штука называется. Если ничего не изменится, позвоню провайдеру.

Прошло всего несколько минут, а они уже едва с ума не сходили. Миссис Конвой грозно тыкала пальцем в экран айпада, потом сдалась и покачала головой, словно айпад не просто ее разочаровал, а нанес ей личное оскорбление, обидел ее чувства. Она бросила его, но спустя несколько минут вернулась — ну прямо как заядлый курильщик — и снова принялась тыкать пальцем в экран. Удары стали громче и настойчивей, словно она ломилась в запертую дверь, умоляя ее впустить. Тем временем Конни ждала, когда ей ответит первый освободившийся оператор провайдера: трубку она держала возле уха, а сама то и дело возвращалась к экрану и кликала на одну и ту же безответную иконку. Наконец, полностью отчаявшись, она рухнула в кресло и начала кричать что-то типа «Почему это случилось со мной, Господи?!», «Черт!» и еще «Фак!».

В остальном же день был чудесный. Никаких писем, ответов, ожидания ответов, словом, никаких отвлекающих факторов. В целом свете — только я и буры, боры, скальпели, шпатели, матрицы, гипсы, пасты, травильные гели, спреи, коронки, амальгамы, пластмассы, зонды, экскава-

торы, зеркала, пинцеты, клещи, щипцы и прочие орудия моего ремесла. Я словно впервые в жизни открыл для себя чудеса стоматологического оборудования. Все инструменты были такие блестящие, гладкие, завораживающие — само совершенство. Отринув соблазны Интернета, я заново открывал для себя собственный кабинет, стулья, кресла и кафельные полы.

Спустя полчаса ко мне пришли. Я как раз закончил свою лучшую пломбу за последние два месяца, если не за десять лет. В руках у них были айпады и я-машинки, глаза пылали кровожадным гневом, словно я причинил физический вред ребенку или домашнему питомцу.

— Ты шутишь, — сказала Конни.

— Это правда? — вопросила миссис Конвой тоном женщины, которая обращается к человеку, долгое время скрывавшему свое криминальное прошлое. — Вы отключили Интернет?

— И долго ты собирался нас дурачить?

— Я никого не дурачил! — Я поднял руки в воздух. — Честное слово, я собирался сказать. Вам обеим.

— Неужели?

— Но потом я начал за вами наблюдать. Вы вообще себя со стороны видели? Да вы наркоманки!

Обе! Это для вашего же блага! Бетси, помните, вы пытались донести до меня мысль о том, как прекрасен мир? Вы же сами на него больше не смотрите! Плевать вы хотели на его красоту! Я делаю это ради вашего блага, чтобы вы не забывали, как прекрасен Божий мир.

— Прошу прощения, но я никогда об этом не забывала.

— Нет, Бетси, забыли. Я все видел. Вы не можете выбраться из того мира в Божий, и это сводит вас с ума.

— Нельзя разделять эти два мира, — сказала миссис Конвой. — Онлайн или оффлайн — все это Божий мир. Он создал все сущее.

— «Эбони теребит свою мохнатку»? — уточнил я. — Это тоже он создал?

— Как это понимать? — спросила она меня. Затем повернулась к Конни: — Силы небесные, что это значит?

— Пол, зачем ты отключил Интернет?

— Он отвлекает нас от работы. Такого чудесного, лишенного стрессов рабочего дня у меня не было с две тысячи четвертого года.

— Но как же мы теперь будем работать?

— «Дентек» никуда не делся. А больше нам ничего и не нужно.

— О нет, ошибаетесь, глубокоуважаемый, — сказала Бетси. — Базой пациентов дело не ограничивается. Для всего остального нужен Интернет.

— Что ж, будем возвращаться к старым методам.

— Но мы никогда не пользовались старыми методами! Нам придется осваивать их заново!

— Мы — нет, а Бетси наверняка все знает. Она работает в нашей сфере с доисторических времен.

— Как бы я ни любила ваши остроумные шутки, — сказала она, — это нелепо. Я даже не помню, когда последний раз работала без компьютера. Вы спятили, если надеетесь вернуться в прошлое. Может, тогда уж будем давать пациентам виски внутрь и сверлить ручными борами?

— Чем мы с вами занимаемся? — спросил я. — Чистим и полируем, пломбируем, выдираем старые зубы и вставляем новые. Зачем для этого Интернет?

— А соответствие нормам HIPAA?

— А бухгалтерия?

— А электронная почта?

Я всегда знал, что Макгоуэна можно найти в тренажерном зале. Он посещал его с набожной регулярностью. И хотя мой силуэт уже больше

полутора лет не появлялся в дверях спортклуба, я до сих пор был его членом — попросту не удосужился расторгнуть договор. Каждый месяц они снимали с моего счета деньги, каждый месяц я говорил себе, что надо этим заняться, и каждый месяц не находил сил.

Мне хотелось извиниться перед Макгоуэном за то, что не поддерживаю наши отношения. Одно время мы были очень близкими друзьями. Оба стоматологи, оба фанаты «Ред Сокс». Я вошел в зал и огляделся — Макгоуэна нигде не было. Тогда я забрался на бегущую дорожку. И вспомнил, сколько удовольствия доставляет мне физическая нагрузка. За последние полтора года я ни разу даже приседания не сделал, даже пальцев не размял. Спорт давался тяжело, поэтому я начал с медленной ходьбы и постепенно ускорял шаг. Двадцать минут спустя я уже делал милю за семь минут. Это было чудесно. В таком темпе я продержался два часа двадцать девять минут и пятьдесят семь секунд. То есть пробежал примерно двадцать одну милю. Сжег три тысячи сто девятнадцать калорий. Наверное, отсутствие физических нагрузок сделало меня уязвимым и подверженным чужому влиянию, решил я; все исправит лошадиная доза серотонина, норад-

реналина и дофамина.

К концу моей пробежки Макгоуэн уже пришел и тягал штангу. Я не знал, обрадуется он встрече со мной или нет. Но страха я больше не испытывал. Откуда Макгоуэну было знать, что такое дисбаланс нейротрансмиттеров? Мы поздоровались, он улыбнулся, затем сделал потрясенное лицо — мое тело производило пугающее количество пота, — и спросил, как идут мои занятия лакроссом.

— Чем-чем?

— Разве ты бросил тренажерку не ради лакросса?

— Ах да. Его я тоже быстро бросил.

Всю тренировку мы болтали, как закадычные друзья. Я был рад, что он на меня не злится. И слегка озадачен. Он что, забыл, как я удалил его из списка контактов? Неужели мое предательство ничего не значило — а стало быть, и вся наша дружба? Пока мы разговаривали — я сидел на каком-то тренажере, Макгоуэн тягал штангу, — мне вдруг пришло в голову, что я ему никто, просто собеседник в тренажерном зале, и что нас связывает лишь профессия да любовь к бостонскому бейсболу. Я вспомнил, почему удалил его из списка контактов. И мне стало невыразимо

грустно. Я заплакал, но не хотел подавать виду, и слезы просто текли по моему спокойному лицу, словно капли пота. Так я рыдал минуты две-три, и Макгоуэн ничего не замечал. Придя в себя, я попытался встать и уйти, но не смог. Пробежка сказалась. Я в прямом смысле слова не мог пошевелиться. Макгоуэну пришлось тащить меня в раздевалку, а оттуда — на улицу, где он вызвал для меня такси. Затем он доехал со мной до дома, помог подняться по лестнице и войти в квартиру. Только тогда я понял, что он — настоящий друг и что быть настоящим другом, в сущности, нетрудно, а значит, я, скорей всего, никогда и никому быть настоящим другом не могу, ни при каких обстоятельствах.

Весь следующий день я с трудом передвигался из кабинета в кабинет, от пациента к пациенту. Боль в ногах легко объяснялась, но почему мне было больно стискивать зубы и сжимать пальцы? Я с трудом держал в руках зонд и в итоге отменил все назначенные визиты.

Она была последней пациенткой, которую я принял в тот день. На длинных песочного цвета волосах — бейсболка «Ред Сокс». Причем не новенькая, а поношенная: легко было представить, как эту кепку тысячи раз срывали с головы, наде-

вали обратно, растягивали, пинали, безвозвратно теряли и снова находили, топтали, переезжали, жевали, стирали и сушили на солнце, как менял форму ее козырек, как она пропитывалась потом под палящим зноем, как ее заливало дождем, грязью и машинным маслом. Швы вокруг буквы «В» уже начали расходиться. То была ценная вещь, фамильная реликвия, которую впору было продавать на аукционе. Женщина в такой бейсболке мгновенно завоевала бы мое сердце. И завоевала.

Как только я вошел в кабинет, она обернулась и с ходу заявила:

— Я пришла не лечиться.

Я закрыл дверь.

— И зачем же вы пришли?

Она шагнула от окна прямо в мои объятья. Нет, конечно, она остановилась куда раньше, у раковины, и мне оставалось лишь мечтать, чтобы эхо ее каблуков не стихало. На столе лежал кожаный саквояж с двумя пряжками. Она расстегнула их и сняла солнцезащитные очки — вокруг одной дужки обмоталась прядь ее чудесных волос, пришлось распутывать. Затем она предложила мне сесть. Я тут же сел.

— Кто вы?

Она вытащила из сумки стопку бумаг:

— Научный ассистент.

— Чей? И что вы изучаете?

— Разное.

Она была очень высокая, выше шести футов ростом, и под ее атмосферным влиянием — она вся была ветер и свет, — я едва не выпалил: «Я люблю вас». Каким-то чудом мне удалось сдержаться. Да, я моментально попал в рабство, так оно обычно и бывает, всякий раз это случается быстро и легко, и я тут бессилен.

— Давайте начнем, — предложила она, сосредоточенно раскладывая бумаги на столе.

— Что значит — «разное»?

Она вручила мне мое собственное свидетельство о рождении.

— Начнем с этого, хорошо?

— Что это?

— Документ вам знаком?

— Да… это мое свидетельство о рождении! Слушайте, где вы его взяли? Кто заверил копию?

— А это свидетельство о заключении брака между Синтией Гейл и Конрадом Джеймсом, от пятого ноября тысяча девятьсот семьдесят второго года.

Она передала мне свидетельство о заключении

брака моих родителей. На нем стояла подпись и печать начальника канцелярии округа.

— Это ваши родители?

— Да.

Затем она быстро выложила на стол свидетельства о рождении моих родителей, свидетельство о смерти моего отца, свидетельства о рождении моих бабушек и дедушек, их свидетельства о заключении брака и о смерти. Эрл О'Рурк и Сандра О'Рурк, в девичестве Хэнсон; Фрэнк Мерили и Вера Мерили, в девичестве Уорд. Имена и фамилии следующего поколения я видел впервые. Если верить незнакомке, они принадлежали моим прадедам и прабабушкам.

Она сосредоточилась на одной ветви моего семейного древа, идущей от прадеда со стороны отца.

— Сейчас вы увидите, что не всегда были О'Рурком.

Она вручила мне следующий документ.

— Как вас зовут?

— Клара.

— Клара…

— Да, Клара. В ваших руках — свидетельство о рождении Окли Рурка. Окли был вашим прапрадедом. Он превратился в О'Рурка в результате

решения окружного судьи, который приговорил его к тюремному сроку за конокрадство. — Она вручила мне ордер на арест, выданный в штате Колорадо. — О. Рурк по ошибке превратился в О'Рурка. Так обычно и меняются фамилии: из-за ошибок, опечаток, перестановок букв. Видимо, Окли обрадовался смене фамилии, потому что в штат Мэн он переехал О'Рурком… Вот. — Она дала мне купчую на землю. — Вероятно, решил начать с чистого листа. Он остался О'Рурком до конца своих дней.

В свидетельстве о смерти стояла та же фамилия.

— Это мое генеалогическое древо, — сказал я. — Вы показываете мне мое генеалогическое древо.

— Отцом Окли был Лютер Рурк.

— Вы не представляете, как я рад, что вы показываете мне мое генеалогическое древо.

— А до Лютера был Джеймс Рурк. Он вам приходится прапрапрапрадедом. Только его фамилия писалась иначе: не Рурк, а Рурх. Смотрите вот здесь… и здесь.

Она вручила мне еще два документа.

— Это все ваша работа?

— Нет.

— А в чем заключается ваша работа?

— Я не работаю. Я учусь.

— Что вы изучаете?

— Судебную антропологию. Прошу вас, взгляните на документы.

Эти бумаги были потрепанные и хрупкие, старинные. Всюду колониальный курсив, куча всяких «посему» и «дано в том».

— Дедушкой Джеймса по отцовской линии был Исаак Борух, Б-О-Р-У-Х. Исаак родился в Белостоке и позднее переехал в Америку. Чиновники миграционной службы допустили ошибку и записали его Рурхом, как следует из этого… и этого.

Я изучил документы. Был Борух, а стал Рурх. Две вехи семейной истории: до и после.

— Так я родом из Польши?

— Нетрудно представить, как происходят такие метаморфозы. Халатность чиновников, глухота и лень бюрократов…

— Сколько времени у вас ушло на эти исследования?

— Я только ассистент. Теперь слушайте: все эти документы не имеют никакого значения. Нет, имеют, конечно, но лишь в качестве вступления к тому, кем вы были до Борухов. Фамилия «Борух» помогла вам пересечь границу. Америка впускала далеко не каждого.

— Нас могли не впустить?

— Если бы все вскрылось — да.

— Что вскрылось?

— Ваша фамилия до того, как вы стали Борухами.

— И что это за фамилия?

— Я не располагаю этим документом.

— А кто располагает?

— Он ждет вас в другом месте. Но за ним придется съездить.

— Что за место такое?

— Сеир.

— В Израиле?

— Да.

— Почему я должен за ним ехать?

— От вас хотят получить некое доказательство вашей веры.

— Кто хочет?

— Все мы.

— И поэтому я должен лететь в Израиль?

— Да.

Она начала застегивать пряжки саквояжа.

— Вы уже уходите?

Она надела очки.

— Я свое дело сделала.

— Мы еще увидимся?

— Зачем?

— Не знаю… сложновато все это переварить.

— Если у вас есть вопросы, вы знаете, к кому обращаться.

— Я бы хотел обратиться к вам.

— Как мило. Приятно было познакомиться, доктор О’Рурк.

Она протянула мне руку. Я ее взял. Она была точно такой, как я представлял, и в тысячу раз лучше.

Глава седьмая

Стеклянная клеть понесла меня вверх, мимо матриц и ульев. Когда я вышел из лифта, передо мной расстилалось открытое пространство, полное трейдеров в белых оксфордах, вершащих судьбы мира. Здесь пожинали урожаи доллара, беспощадно рубили его на корню. Экзотическая красотка предложила мне кофе или воду с огуречным настоем. Я отказался и решил вместо этого почитать журнал с Мерсером на обложке. Заголовок гласил: «Он не раскололся».

Свой первоначальный капитал Мерсер заработал на золоте, в конце 70-х. Инфляция росла жуткими темпами, золотой стандарт отменили, и люди были напуганы. А когда люди напуганы, поведал Мерсер интервьюеру, они начинают мыслить примитивно, и блеск металла их успокаивает. Это финансовый эквивалент поклонения солнцу, но, в отличие от Бога Солнца, золото по-прежнему чего-то стоило, а его цена поднималась и падала в зависимости от уровня людского страха. У Мерсера было чутье на страх. На самой заре своей карьеры он отлично заработал на золоте. А в начале 80-х переключился на ценные

бумаги. С фондовой биржи он ушел в январе 87-го, за девять месяцев до черного понедельника, и снова выбрал золото — его чутье «Форбс» назвал «сверхъестественным». К концу года Мерсер располагал ста миллионами долларов, которые он вскоре опять перевел в ценные бумаги. Впереди было десять прекрасных и прибыльных лет. В 97-м он вновь ушел с рынка, напуганный Азиатским финансовым кризисом. Люди решили, что он спятил: к тому времени, когда кризис достиг своего пика, интернет-компании были в самом расцвете сил и буквально печатали деньги. Мерсер промахнулся. Но уже через несколько лет пузырь доткомов лопнул, и тут все узнали, что половина денег Мерсера надежно вложена в золото. Его стали считать пророком.

Вторая красотка материализовалась из воздуха и кошачьей походкой повела меня по коридору к уединенному убежищу Мерсера. Он сидел на стуле у дальней стены напротив своего стола и наблюдал, как двое рабочих под руководством прораба снимают картину Пикассо.

— А, здравствуйте! — сказал он, завидев меня, и похлопал по свободному стулу рядом с собой. — Присаживайтесь, посмотрим на это вместе. «Метрополитен» забирает подарок.

Рабочие снимали картину очень бережно, словно в замедленной съемке. Прораб в костюме и галстуке с тревогой наблюдал, а потом стал делать осторожные жесты, показывая, как лучше укладывать ее в ящик. Это было самое дорогое в мире изображение бюста, обнаженной натуры и зеленых листьев.

— Ваша? — спросил я.

— Была моя. Но вы наверняка знаете, что говорят о картинах.

— Что?

— Увидишь один раз — и перестаешь замечать.

На его лице мелькнула улыбка, которая показалась мне крайне приватной, не предназначенной для чужих глаз. В этой улыбке не было ни намека на веселье или радость.

Мерсер вновь повернулся к рабочим, и они начали тщательно упаковывать ящик в бумагу. Затем положили его на какое-то хитроумное устройство и выкатили из комнаты, словно пациента из операционной. Прораб в костюме и галстуке еще несколько минут рассыпался в благодарностях за столь щедрый подарок, и Мерсер принял их спокойно и благородно. Когда мы остались одни, Мерсер снова сел.

— Вероятно, скоро мы отсюда съедем, — сказал он. — Забыть на стене Пикассо было бы в высшей степени глупо.

— Съедете?

— Я устал делать деньги. Меня больше не интересует то, что держало на плаву эту контору.

— Вы же сказали, это была афера.

Вновь он улыбнулся этой потаенной улыбкой.

После визита Клары я включил Интернет на работе и дома, достал из корзины всю переписку, купил новую я-машинку. С помощью ноутбука восстановил все фотографии, контакты и приложения. В голосовой почте меня спокойненько, будто ничего и не произошло, дожидалось сообщение от Мерсера. Все было как всегда. Я попытался вырваться, но не смог. Интернет опутал весь мир.

Я не знал, зачем снова понадобился Мерсеру. По его собственному признанию, он был нелюдим. Возможно, он хотел убедиться, что я не разглашу его тайну. Уж очень решительно он покинул тогда парк.

Оказалось, его решимость оказалась не долговечнее моей. С тех пор как мы расстались, он тоже побывал в «торговом центре», и в его печальной улыбке я прочел абсолютное смирение.

— Вы туда уже ездили? — спросил он.

— Куда?

— На Сеир.

— Это место существует?

— Существует. Дыра та еще, воняет козлиной мочой, но существует.

— В Израиле?

— А почему вы настроены так скептически?

— Не понимаю, как это они впускают всех подряд.

— Не всех. У этой страны все в порядке с запретами.

— Как же им удалось добиться разрешения?

— В прошлом году в Давосе я встретил своего приятеля, заместителя министра финансов. Я спросил его: «Что за слухи ходят об ирредентистском движении в пустыне Негев?» Он посмотрел на меня холодным рыбьим взглядом и ответил: «Не понял твоего вопроса». Теперь этот приятель всячески меня избегает. Может, они и подписали какое-нибудь соглашение, черт его знает.

— Что за ирредентистское движение?

— Движение за возвращение территорий тем, кому они принадлежат по праву.

— У них есть право на землю?

— Почему нет? Они — первые жертвы геноцида.

Мне вспомнился наш первый разговор с Зукхартом. Он тоже назвал войну против амаликитян геноцидом. Но как столь древняя вражда могла иметь геополитическое значение в современном мире?

— Разве такое возможно? — спросил я Мерсера.

— Ну, они там живут, это факт. Как им это удалось — другой вопрос. Но если какая-то страна и способна откликнуться на просьбу о репарациях жертвам геноцида…

— Даже геноцида, который произошел тысячи лет назад?

— За что купил, за то и продаю.

Мерсер поведал мне, что Грант Артур заключил с израильским правительством хитрое соглашение: ульмы будут находиться в стране не с разрешения, но и не без разрешения властей. В официальном смысле они просто не существуют.

— Я планирую туда вернуться.

— В дыру?

— Да. Там я почувствовал себя как дома. Еще нигде я не чувствовал себя как дома. Разумеется, мне рады везде, и я могу поехать куда захочу.

Но это не одно и то же.

— И почему вы испытали это чувство именно там?

— Дело в остальных, наверное. В людях.

— Вам нужны люди? — Я подумал о том, сколько красавиц, трейдеров — да кого угодно — он мог бы купить на свои деньги.

— Правильные люди.

В дверь постучала секретарша Мерсера. Она принесла пакет из «Макдоналдса». Для меня тоже.

— Знаю, это дрянь, ну и черт с ним, — сказал Мерсер. — Я на этом вырос. Если не хотите, не ешьте, я не обижусь.

— Никогда не отказываюсь от угощения, — сказал я.

Он засмеялся.

— Учтите, бесплатных угощений не бывает. Вы мне должны уже два обеда.

Мы зашуршали пакетами и какое-то время молча жевали. Затем он сказал:

— Я рад, что вы согласились встретиться. Я обязан перед вами извиниться.

— Ну что вы.

— Я только и ищу повода, чтобы назвать все происходящее аферой и выбросить из головы.

— Даже после того, как сами там побывали?

— Ну побывал, ну и что? Да, они построили какую-то инфраструктуру, но это еще не делает их древним народом, возрожденным из пепла истории.

— Они просили у вас денег?

— Отчасти я даже жалею, что нет. Это бы подтвердило мои подозрения, и я мог бы с чистой совестью назвать их аферистами. Выбросить все из головы. Но прошел уже год, а они просят только об одном: не болтать.

— Не болтать?

— Они не хотят привлекать к себе внимание. Боятся, что это нарушит их договоренности с Израилем. По крайней мере, раньше боялись. Видимо, что-то изменилось, раз они теперь в Интернете.

— Какие они — эти люди?

Он куснул бургер и принялся задумчиво жевать.

— Они как евреи, которые только что обрели Израиль. Пока высокие технологии не порушили им весь кибуц. Теплые, сплоченные. Трудолюбивые. Попадаются и подонки, но их мало. Как правило, это специалисты, люди с высшим образованием. Сомневающиеся. Скептики.

Они рады, что их вероисповедание не требует от них безусловной веры в Бога. — Он сунул руку в пакет и вытащил горсть жареной картошки. — Но вернемся к нашей первой встрече в парке. Я спросил вас про анализ ДНК, генетический тест. Вы тогда сказали, что на вас у них другие планы. Что вы имели в виду?

Я пересказал ему слова Фруштика о второй волне возрожденных, которых они могли бы привлечь без исчерпывающих исследований Артура и научных изысканий Ли. Они надеялись, что потенциальный ульм способен уверовать без доказательств, просто услышав послание из Кантаветиклов.

Затем я рассказал, что недавно ко мне приходили. Теперь я тоже знаю все про свой род. Сказав это, я испытал большое облегчение: пусть твиты писал не я, но генеалогическое древо — это уже кое-что. Даже если главная его часть дожидается меня в Израиле.

— Я очень рад, что они вас не использовали. Вы даже не представляете, как я рад. Обманом человека можно лишить не только денег.

Он вытер пальцы салфеткой и бросил ее в пакет. Теперь, когда со стены сняли Пикассо, его кабинет выглядел непритязательно, если

не считать бесконечного вида за окном. Отнюдь не так я себе представлял кабинет миллиардера, семнадцатого в списке самых богатых людей Америки.

— Вы произвели на меня неизгладимое впечатление, — признался он. — Если бы они выкинули со мной такой же номер, как с вами, я бы никогда им не поверил. Но вы не отвернулись, не ушли.

— Я все еще имею некоторые сомнения.

— Вряд ли вам удастся полностью от них избавиться.

— Вы тоже меня удивили. Своей решимостью. Надо же было так моментально отвергнуть все, во что вы уже поверили.

— Это да. — Он кивнул. — Однако мы оба здесь.

— Да уж, — подтвердил я.

Разумеется, мы находимся в Израиле, — ответил он на мое следующее письмо. — А ты думал, я пишу тебе из подвала в Тусоне? И целыми днями только и делаю, что жду ответа? Пол, хочешь верь, хочешь — нет, но у меня куча хлопот. То, что мы делаем, требует некоторой отдачи. Иначе бы я уже давно заскочил в гости, поздоровался. Показал бы тебе, каким ты станешь, если познаешь самого себя.

Чем вы там занимаетесь?

Занимаемся?

Да. Вы ведь не ходите в церковь, так? Не молитесь?

Нет, мы не молимся. Мы общаемся, беседуем. Знаю, звучит по-идиотски, но это не так. Первым делом мы показываем людям полные сведения об их роде. Затем — скудные остатки исторических сведений (см. приложение). А потом просто прилагаем все усилия, чтобы человек почувствовал себя как дома. Конечно, у нас тут не «Ритц», даже близко. Большинство приезжают просто в гости. Мы никого не просим сжигать все мосты и полностью менять свою жизнь. Мы лишь хотим, чтобы возрожденные знали о себе правду. У нас есть праздники и все такое, но основных — только два. Благовещение и Праздник Парадокса. В остальное время костяк занимается фермерством, а гости — учатся. Мы с нетерпением ждем каждого вечера. Именно вечером мы вместе радуемся обретению настоящего дома и друзей, которые всю жизнь были лишены этого, и это наконец найдено. Мы зажигаем свечи и просто наслаждаемся обществом друг друга, поем и беседуем за общим столом.

Главное — это люди, понимаешь? Люди, которые сидят за столом и разговаривают. Вот чем мы занимаемся на Сеире.

После прочтения более поздних кантонментов может сложиться впечатление, что группа, которую под знаменем сомнения умудрился собрать Сафек — он же Агаг, царь Амаликитский, — в основном состояла из отверженных, бывших рабов, еретиков, блудниц и мужланов Неолита да еще парочки прокаженных, которые сели на обезвоженных верблюдов и кочевали по негостеприимным библейским землям. Странная штука: никто им не докучал. Они просто шли куда глаза глядят — не сказать, чтоб они были совсем неприметны, — мимо лагерей и караванов аммореев, хеттеев, иевусеев, ферезеев и гергесеев, словом, всяческих негодяев, бандитов и психопатов Ханаана, готовых напасть на все, что движется и проявляет признаки слабости, — и никто им ничего не делал. Наоборот, время от времени они даже устраивали совместные пиршества и лакомились козлиными костями, запивая их вином. Поначалу Сафек, который до сих пор не видел в этих краях ничего, кроме кровопролития и войны, даже немного пугался, но потом вспомнил обещание Господа:

«И не было у нас города, который дал бы нам имя, и не было короля, который назначил бы капитанов и превратил бы нас в орудия войны; не было у нас и законов, кроме одного. Смотри, и да освятится сомнением сердце твое; ибо Господа может познать лишь Господь. И мы пошли за Сафеком, и не исчезли».

Тут-то, в 42-м кантонменте, присланном мне по электронной почте, и происходит первый случай отступничества. Один из последователей Сафека испытывает ужасные экспоненциально возрастающие муки и страдания. Он хороший и надежный парень, и никто не понимает, почему именно он должен был потерять жену и детей, а затем покрыться проказой, ослепнуть, предпринять самоубийство, сойти с ума и вообще испытать массу неудобств. Посреди повествования в него ни с того ни с сего ударяет молния, на него набрасывается лев, и сердце у бедолаги взрывается. Люди не верят своим глазам, и все они обращаются к Сафеку за разъяснениями. Не он ли обещал им спокойную жизнь в обмен на соблюдение Божьего завета? Однако то, что случилось с — вы угадали — Иовом, мало похоже на спокойную жизнь. Людей подмывает бросить все дела и молиться до одурения: вон как плохо

кончил не молившийся Иов. Лучше молиться и жить нормально, чем сомневаться и страдать. Понятное дело, Сафек вышел из себя. Бедному Иову досталось, но по сравнению с царем Агагом, на глазах которого покромсали на куски весь его народ, страдания Иова — жалкие цветочки. Сафек рвет, мечет и рубит головы направо и налево. Тут появляется новый герой, некий Елифаз, брат Сафека. Да-да, вы не ослышались, у Сафека, оказывается, все это время был брат. Соблюдение Божьего завета, спокойно объяснял Елифаз, пока Сафек продолжал пинать пыль и раздавать подзатыльники раскаявшимся, спасает их от мародеров, воров и разжигателей войны, а про несчастья, болезни, бедность, голод и просто невезение разговора не было. Они, как и все остальные, — заложники судьбы, с той лишь разницей, что не могут списывать все на Божью волю. Что они знают о Боге, спросил Елифаз, кроме того, что его не существует? Ведь если бы он существовал, разве позволил бы он бедному Иову так страдать? Свою мысль он завершает длинным перечнем загадок в духе: «Ты ли дал коню силу и облек его шею гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас». На лагерь опустилась великая ти-

шина, и только мухи жужжали над трупом Иова.

— Где вы это взяли? — спросил Зукхарт, глядя на меня из-за письменного стола. — Я каждый день проверяю ваш сайт, там ничего такого нет.

— Получил по электронной почте.

— От кого?

— От Пола К. О'Рурка.

Зукхарт читал распечатанный текст, который мне прислали в последнем письме: скан пожелтевшего свитка. Две колонки убористого текста были написаны, по словам Зукхарта, на арамейском. Верхний край свитка кто-то растрепал или погрыз. Английский перевод прикрепили отдельным файлом: все кантонменты и стихи были пронумерованы, а названия мест и имена людей имели диакритические значки. Сафек был «Să-fĕk». Амаликитяне — «Ă-măl-ė-kītes».

— Как интересно… — проговорил Зукхарт, изучая распечатки. — Как интересно… — повторил он, взбивая волосы на руках и сжимая их между пальцами, словно парикмахер в процессе работы. Через пять минут он стащил с носа очки, выпрямился в кресле и уставился на меня.

— Авторство Книги Иова всегда было предметом жарких споров, — наконец сказал он. — Некоторые слова и выражения, безусловно, ара-

мейские по своему тону, а отсутствие каких-либо отсылок к историческим событиям заставило многих ученых оспорить ее негебраическое происхождение. Автор почти наверняка жил до Моисея. Особенно меня заинтересовал этот Елифаз. Он единственный — кроме Иова, — кто упоминается одновременно в Библии и… в этом вашем источнике. Описываются они по-разному, но имя одно.

— И чем же вас это заинтересовало?

— Видите ли, Елифаз был родом из Фемана, Эдом. А Амалик был внуком Исава, предводителя племени идумеян. Идумеяне и амаликитяне — родственные племена.

Я ничего не понял. Он попытался объяснить еще раз:

— Сюжет о сотворении мира в Книге Бытия во многом напоминает вавилоно-аккадский эпос «Энума элиш». Библейский рассказ о Потопе восходит к «Эпосу о Гильгамеше» или, вероятно, даже к индуистской мифологии. Конечно, эти описания грубее и проще библейских, однако же они были первыми. Это уртексты, прототексты.

— Понятное дело, — согласился я. — Одни позаимствовали сюжет у других, другие — у третьих.

А все вместе — ерунда на постном масле.

— Нет, послушайте, — он двинул задом и подкатился ближе к столу, — если Книга Иова изначально была написана на арамейском, и если это идумейский текст, чему мы имеем основания верить, поскольку Елифаз родился в Эдоме, и если идумеяне и амаликитяне действительно состояли в близком родстве, воевали с сынами Израилевыми, жили на горе Сеир, тогда перед нами… если оригинал этого плохо отсканированного документа подлинный и если перевод верен, перед нами вполне может быть…

Зукхарт умолк.

— Что?

— Первый черновик Книги Иова, — сказал он.

* * *

Конни на самом деле была не так уж и красива. Да, конечно, она обладала всеми атрибутами красоты: эти волосы, эти карие глаза в крапинку. У нее была чудесная грудь, совершенство которой охотно подчеркивали любые блузки, блейзеры и зимние пуховики, не говоря уж о майках и купальниках. Наблюдение за тем, как Конни жарит омлет топлесс — она сделала это лишь однажды, по моей настойчивой просьбе, и я сфо-

тографировал весь процесс, обещая себе потом удалить снимки, — на целый день наполнило меня радостью и верой в счастливые браки. Она была хорошо сложена — в классическом понимании, — поэтому ей, как манекенщицам и манекенам, шли любые наряды, и она могла с легкостью следовать всем модным тенденциям, не боясь, что тот или иной фасон не подойдет ее нескладной фигуре. Никогда ей не приходилось отказываться от вещей из-за плоского зада или отсутствия талии, ненавидеть всех женщин с размером S, называя их стервами и потаскухами. Кожа у нее была упругая и загорелая, как парфлеш, и ее пупок превращался в тонкий овал, когда она потягивалась. Но если приглядеться — если приглядываться каждый вечер, из года в год, — можно было заметить, что нос у Конни расположен чересчур близко к верхней губе, в результате чего эта самая верхняя губа казалась короткой или чересчур миниатюрной, а нос по сравнению с ней выглядел хоботом, что нарушало гармонию и симметрию остальных ее черт. Пока мы встречались, я мог это игнорировать, поскольку не игнорировать такой пустяк было бы неблагородно с моей стороны. Это бы означало, что я фокусируюсь

на поверхностном, и поверхностное стало бы умалять глубокое, важное и тонкое, требующее неустанного и кропотливого труда, как, например, дружба и уважение. К тому же Конни ничего не могла поделать со своей верхней губой. Просто она унаследовала гены отца — не повезло, что уж. У Говарда Плотца верхняя губа отсутствовала как класс.

Всякий раз, ловя себя на мысли об этом недостатке Конни и ее сходстве с мужчиной (пусть этот мужчина и вызывал у меня исключительно восхищение), я сознательно начинал думать о чем-нибудь другом. О ее груди, уме, нежности. Зато после расставания усеченная верхняя губа бывшей девушки и ее нос с раздутыми ноздрями начали меня преследовать. Они бросались мне в глаза всякий раз, когда мы разговаривали, и вместо того, чтобы переключить внимание на что-нибудь другое, я приглядывался получше и мысленно поздравлял себя, что избежал печальной участи — ужасаться им до конца дней.

А теперь, ко всему прочему, Конни оказалась верующей.

После разговора с Зукхартом я вернулся в клинику и некоторое время сидел в приемной, разглядывая Конни. Дисгармония ее черт в тот

день была просто вопиющей, я едва не отвернулся. А ведь когда-то этот недостаток меня умилял! Он доказывал, что Конни — такой же человек, как и все остальные. Интересно, если бы я раньше знал о ее тайной вере в Бога, смог бы я романтизировать и это? Если бы она с самого начала призналась мне в своей религиозности, а я оказался бы чуть более уязвим и мягок, как в пору своего увлечения Сэм Сантакроче, смог бы я открыть душу страстному призыву и честно, без предубеждения задуматься о допуске Бога в мою жизнь? Был бы я готов к переменам, как оказалась готова Конни?

Что толку об этом думать, Конни ни в чем мне не призналась, а я не оказался мягок и уязвим. И теперь испытывал по этому поводу огромное облегчение. Конечно, я выставил себя дураком перед Плотцами, но все могло быть гораздо хуже. Я мог обратиться в иудаизм. Пошел бы на прослушивание в еврейский хор. И где теперь эти Плотцы? Где иудаизм? Во что превратилась Книга Иова — по сравнению с ее первым черновиком? И во что превратилась Конни в сравнении с Кларой, девушкой в помятой бейсболке «Ред Сокс», которая с любовью собрала сведения о моем генеалогическом древе и поделилась ими со мной?

О Кларе у меня остались лишь смутные воспоминания. По сравнению с Конни, сидевшей прямо передо мной в безжалостном свете офисных ламп, на фоне захламленных стеллажей с папками, с огромным хоботом, свисающим над сморщенной губой, Клара казалась мне безупречной красавицей с идеальными пропорциями. Я вдруг понял, что больше не люблю Конни. Наконец-то переболел. Невероятно! Я даже забыл свои ощущения сразу после нашего разрыва, когда я рыдал сутками напролет и не знал, как жить дальше.

Тут меня вырвали из забытья — кто-то сел рядом. Ну надо же, Конни! Я бросил взгляд на стол за окошком — ее там не было. Пока я внимательно ее разглядывал, она встала, вошла в приемную и села рядом со мной. Иногда я ловлю себя на том, что полностью ушел в свои мысли, хотя за секунду до этого думал, будто слежу за происходящим вокруг.

— Привет, — сказала она.

— Привет.

Тут Конни сделала нечто неожиданное. Она потянулась к моей руке, лежавшей на подлокотнике, перевернула ее ладонью вверх и накрыла своей ладонью. Ее ноги оказались повернуты так, что правым коленом она коснулась моего

левого колена, а левое отставила в сторону, чтобы удобней было смотреть мне в глаза. Конни улыбнулась — эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Ей с трудом удалось приподнять один уголок рта.

— Я хочу тебе кое-что сказать, — сказала она.

Когда кто-то говорит, что хочет тебе кое-что сказать, обычно ты этого знать не хочешь.

— Я встретила мужчину.

Чары повседневной магии тут же рассеялись, окончательно и навсегда.

Его звали Бен. Он поэт. У них все серьезно.

Я помолчал, а потом спросил:

— Серьезно — это как?

Она тоже помолчала, а потом ответила:

— Ну, ты понимаешь. Серьезно.

Я снова помолчал и спросил:

— Ты его любишь?

Она помолчала — долго, так что я сразу все понял. А потом сказала:

— Не знаю, мы недавно начали встречаться.

Я помолчал, а потом спросил:

— Он еврей?

Она помолчала. Я подумал, что задал неприятный вопрос и сейчас Конни отпустит мою руку, но она сжала ее чуть крепче и спросила:

— Это имеет значение?

Имеет, еще как. Наверно, он тоже верил в Бога. Но я промолчал, а потом сказал:

— Рад за тебя.

Она помолчала, а потом спросила:

— Все хорошо?

Я помолчал, а потом ответил:

— Конечно.

Посмотрел на нее и улыбнулся. Но я не мог управлять своей улыбкой и тем, как ее истолкуют.

Я пожалел, что все сложилось именно так, а не иначе. Что я не смог быть лучше — во всех отношениях. А больше всего я жалел, что совершенно ничего не знал о себе, даже в такие минуты, когда искренне думал, что знаю: ведь секунду назад я был уверен, что переболел Конни.

Ее распущенные волосы лежали на плечах двумя четкими волнами. Я прикоснулся к одной. Не верилось, что я столько времени разглядывал Конни, а прическу заметил только сейчас.

Глава восьмая

Спустя несколько месяцев после открытия первого кабинета в Челси я написал Сэм Сантакроче старомодное письмо и отправил его на адрес ее родителей, думая, что оно обязательно найдет адресата: Сэм не могла далеко уехать от папы с мамой, а может, и вовсе никуда не уезжала, так и жила в своей детской спальне на втором этаже. Я говорю себе, что не знаю, зачем написал это письмо, но на самом деле знаю: мне хотелось сообщить ей о своих профессиональных успехах и дать понять: все беды и невзгоды детства — а заодно и штат Мэн — я оставил далеко позади. Ах, как бы ей повезло, говорило мое письмо, если бы она все-таки вышла за меня, несмотря на мой атеизм, о котором я заявил во всеуслышание за семейным столом. Ответ пришел спустя пару недель, на электронную почту (аккаунт YazFanOne я завел еще во времена диалапа). Помню, как без конца его перечитывал, снова и снова — будто оказался на фронте, куда весточки от любимой доходят крайне редко или не доходят вообще. «Что значит «ты всего лишь хотел быть одним из нас»? Ты запросто мог

стать членом семьи, у тебя была масса возможностей. Ты не знал? Тебе надо было только принять моих родителей такими, какие они есть, но ты не пожелал. Они бы не отказались от веры ради тебя, Пол, а на меньшее ты тогда был не согласен. Ты хотел, чтобы все переняли твой образ мышления. У тебя были очень твердые принципы, и ты никому не уступал. Насколько я помню, тебе больше хотелось быть собой, нежели «быть одним из нас». И иногда общаться с тобой было довольно неприятно — по крайней мере, раньше. Сейчас-то, я уверена, все изменилось, ведь ты добился такого успеха».

Я так растерялся, что не ответил.

Сидя в приемной, я увидел очередной заголовок на обложке глянцевого журнала: «Харпер и Брин — настоящие семьянины». Гетеросексуальность Харпера всегда была под вопросом, а Брин с трудом оклемалась после страшного удара, когда во время съемок финальной серии «Брин» ее лишили родительских прав на трех детей. Но теперь они вместе, счастливы и ждут ребенка, утверждал некий «источник» и «друг семьи». Я порадовался, что они наконец-то нашли свое счастье — после стольких-то лет адской невезухи. И, признаться, я им немного завидовал.

Харпер и Брин — семьянины. Это для них самое главное, несмотря на злопыхателей, папарацци, лишний вес, даже полицию, — а я, дурак, отказался от всех семей, которые встречались на моем пути. Я отказался от Сэм и Сантакроче, а теперь вот от Конни и Плотцев. Но это бред, Плотцы никогда не были «моими». Плотцы всегда были сами по себе и никогда бы мне не достались, даже если бы мы с Конни поженились, потому что я был О'Рурк. Плотцы ни за что бы не приняли О'Рурка в свои ряды — не потому что я гой, а потому что, будучи О'Рурком, я совершал странные и настораживающие поступки. Но теперь мне придется смириться с фактом, что я даже не О'Рурк. Я — Борух из Белостока, вернее, нет, если верить богине в бейсболке «Ред Сокс», я — даже не Борух из Белостока, а черт знает кто и черт знает откуда. Харпер и Брин знают, кто они такие — настоящие семьянины. А я кто?

— Доктор О'Рурк?

В дверях стояла Конни.

— Подойдите, когда будет минутка.

Я закончил работу и подошел.

— К тебе гости — мой дядя.

— Твой дядя?!

— Стюарт.

— Твой дядя Стюарт?! — Я скинул белый халат. — Он здесь? Пришел ко мне? Сколько мы с ним не виделись? Что он тут делает?

— Я ничего ему не говорила. Он сам все узнал.

— Что узнал?

— Я пыталась объяснить.

Последние слова я толком не услышал. Только лихорадочно думал, как я выгляжу: собранным? Уважающим себя?

Когда мой отец был в маниакальном состоянии, он отрывал меня от земли и сжимал в медвежьих объятьях. Увидев Стюарта сквозь окошко приемной, я захотел поступить так же. Он сидел на стуле, положив руки на колени, и терпеливо ждал. Я с трудом заставил себя не набрасываться на него с объятьями. Посмотри на него! — сказал я себе. Разве на такого человека набрасываются с объятьями? Никогда, даже если очень хочется. Попятившись от окошка, я едва не отдавил Конни ногу. Обнаружив, как она внимательно наблюдает за моей реакцией на приход ее дяди — да еще сразу после нашего разговора о ее новом ухажере, — я понял, что сегодня она узнала обо мне много нового. Наконец-то сообразила, кто я такой, и, несомненно, испытала огромное облегчение, что вовремя от меня избавилась.

Еще я понял, что радоваться дяде Стюарту — глупо. Встреча с ним должна была меня расстроить, не более того.

Он встал. Просто остановись и протяни ему руку, твердил я себе, но сам неумолимо шагал вперед. Я не мог остановиться. Я сделал еще шаг и обнял его. Он был вовсе не здоровяк, как мой отец, и даже не попытался обнять меня в ответ. Я подержал его несколько секунд — насколько позволяли приличия (они не позволяли объятий вовсе), — потом отпустил и дважды хлопнул по спине, словно близкого приятеля, а не человека, рядом с которым я надеялся сидеть за столом во время седера.

— Стюарт, как я рад вас видеть!

Он улыбнулся, и его улыбка показалась мне теплой и искренней — наверное, причиной тому был мой явный энтузиазм.

— Какими судьбами?

— Мы можем поговорить наедине?

— Разумеется!

Ведя его в свободный кабинет, я стал громко жаловаться на то, что после переезда из крохотной клиники в Челси решил не устраивать на новом месте личного кабинета, о чем теперь горько жалею.

— Так что говорить придется здесь, — сказал я, жестом приглашая его в пустую смотровую.

Там я сразу предложил ему офисный стул. Дядя Стюарт быстро сел и безмятежно положил руки на колени. Я скрестил руки на груди и прислонился к стоматологическому креслу. В очередной раз я убедился в том, сколь аскетичным и властным может быть его молчаливое присутствие. Разумеется, я тут же сморозил глупость:

— Вы решили воспользоваться моим предложением?

— Это каким?

— Можем сделать снимки, хорошенько почистить зубы. Убедиться, что все в порядке.

— Нет, — сказал он.

Нет, он пришел обсудить то, что пишут в Интернете от моего имени. Я поерзал на месте.

— Надеюсь, Конни вам объяснила, что это не я пишу.

— Объяснила.

— Хорошо. Потому что это не я пишу.

Дядя Стюарт сидел необычайно спокойно на этом стуле, который так и просил, чтобы на нем покрутились — хотя бы чуть-чуть.

— А вы знаете, кто пишет?

— Вы имеете в виду, знаю ли я имя конкретного

человека?

— Да. Ведь должен же у этих высказываний быть автор.

Вероятно, это тот же самый человек, с которым я переписываюсь, подумал я. Но его звали так же, как меня, а я не хотел говорить об этом дяде Стюарту — и понадеялся, что Конни не сказала.

— Нет, имя мне неизвестно. Сначала появился сайт, потом страничка на Фейсбуке, теперь вот и Твиттер.

— Конни также упомянула, что вы… принимаете на веру некоторые из этих высказываний.

— Я?!

— Например, что амаликитяне уцелели и их потомки живы по сей день.

— Я атеист и никогда этого не скрывал.

— Верно, — сказал он. — Но ваше мнение о Боге не имеет никакого отношения к вопросу о существовании некоего народа. Вы знаете, кто такие амаликитяне?

— Ну так… немного.

— Сегодня, когда мы вспоминаем об Амалике, мы вспоминаем не просто о древнем враге иудеев, но о вечном и заклятом враге. Это антисемитизм во всех его проявлениях. Осквернённые синагоги. Террористы-смертники. Ксенофобские

речи. Амаликитян можно сравнить с нацистами. Амалик был первым нацистом.

Дядя Стюарт достал платок и высморкался, затем убрал платок на место. Я всегда восхищался людьми, которые умеют изящно сморкаться на глазах у других.

— Сегодня Амалик живет в радикалах и фундаменталистах. Также у его имени есть метафорическое значение. Это соблазн. Отступничество. Сомнение.

— Сомнение? — переспросил я.

— Надеюсь, вы не обиделись, — сказал дядя Стюарт. — Сомнение в существовании Бога вовсе не делает вас заклятым врагом и ненавистником евреев.

— Я вообще не враг евреям.

— Да я так и не думал, — заверил он меня.

— То есть вы верите, что эти посты в Интернете выкладываю не я?

— Если вы так говорите, верю.

— Это не я.

— Однако то, что пишется от вашего имени, расстраивает меня и всех остальных, — сказал он.

Он вытащил из кармана я-машинку и молча открыл мою страницу в Твиттере. Протянул телефон мне.

Проблема еврея заключается в том, что страдания удваивают его веру в несуществующего Бога.

Еврей не может позволить себе сомневаться, потому что без Бога его страдания лишены всякого смысла.

Я отдал телефон дяде Стюарту.

— Стюарт, это возмутительно.

— Но вы ведь атеист. Вы наверняка согласны с общим посылом.

— Нет, это возмутительно.

— Почему?

— Еврей то, еврей это. Я сам — не еврей, и такие слова меня коробят.

— Но ведь кто-то все это пишет.

— Не я.

— Вы верите, что принадлежите к этому народу?

— Нет. Нет, разумеется, нет! Это… крайне маловероятно.

— Вы помните, как приходили ко мне в офис? — вдруг спросил он.

Я помедлил. Интересно, Конни подслушивает? Скорее всего. Стены в клинике этому благоприятствуют. А рядом наверняка стоит миссис Конвой.

— Помню, — тихо ответил я.

— Вы спрашивали про Эзру.

Я кивнул. Мне не хотелось, чтобы Конни знала о моей встрече со Стюартом: я тогда гадал, как мне стать похожим на Эззи. С формальной точки зрения: стать практикующим, но неверующим евреем. Из этого ничего не вышло, только дураком себя выставил, ведь я ничего, абсолютно ничего не понимал в иудаизме и жизни вообще. Что заставило меня подражать Эззи? Я извинился перед Стюартом за беспокойство и поспешно отбыл. В течение нескольких месяцев после этой встречи я вспоминал о ней перед сном и, сгорая от стыда, вскакивал с постели.

— К тому времени вы уже много всего прочли об иудаизме, — сказал дядя Стюарт. — Вы помните, что такое мицва?

Внезапно я вновь почувствовал себя как на свадьбе Конниной сестры. Я сидел со Стюартом за пустым столом, музыка чуть притихла, и он спросил меня, кто такие филосемиты. После этого у меня навсегда отбило охоту отвечать евреям на простейшие вопросы об иудаизме.

— Имею представление. Но могу я быть честен, дядя Стюарт?

«Дядя Стюарт!» Надо ж было такому вырваться!

И теперь ведь ничего не поделаешь, сказанного не воротишь. Хорошо еще я не предложил ему сдать анализ кала. Отшутиться тоже не выйдет. Лицо у меня вспыхнуло, и я перестал дышать в ожидании его ответа: сделает он мне замечание или притворится, что не расслышал?

— Конечно, всегда лучше быть честным.

Смилостивился!

— Спасибо, Стюарт, — выдохнул я. — Простите, о чем мы говорили?

— О мицве.

— Ах да. Я имею представление о том, что это такое, но вы, ручаюсь, знаете куда больше.

— Мицва — это закон, предписание, — сказал Стюарт. — В Торе упоминается шестьсот тринадцать мицвот. Мы принимаем их всерьез, каждую из шестисот тринадцати. Это моральные законы и в то же время — божественные заповеди. Три из них, — он показал мне три пальца, — имеют отношение к Амалику.

Его пальцы остались в воздухе.

— Помнить, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы вышли из Египта. — Он прикоснулся к оттопыренному большому пальцу. — Помнить о том, что сделал нам Амалик. И истреблять потомков Амалика, — заключил он, дотронувшись

до последнего пальца. — Звучит жестоко, поэтому многие пытаются смягчить их, истолковать как метафоры. Но другие считают Амалика настоящим врагом, конкретной угрозой в каждом поколении. Каждое поколение должно знать, в каком обличье явился им Амалик, и не гнушаться в борьбе с ним никакими методами. Итак, можете вы мне сказать, кто такой Грант Артур?

— Кто?

— Это имя назвала Конни. Вы его не слышали?

— Пару раз слышал.

Стюарт встал со стула и шагнул ко мне. На минуту воцарилась тишина — я все еще сгорал от стыда, что назвал его дядей.

— В тысяча девятьсот восемидесятом Грант Артур изменил имя и стал Дэвидом Одедом Гольдбергом.

— Откуда вам это известно?

— В Интернете прочитал, откуда же еще? — сказал Стюарт. — Вы знаете, почему он изменил имя?

— Я даже не знаю, кто он такой!

Он рассказал мне несколько фактов из жизни Гранта Артура. Я пожал плечами. Он отвернулся. Когда он вновь посмотрел на меня, на его лице царила скромная терпеливая улыбка. Воз-

дух со зловещим свистом входил в его ноздри и покидал их. Стюарт протянул мне руку, я ее пожал. Затем он поблагодарил меня и вышел из кабинета.

Теперь я знаю, кто ты такой, — написал я. — *Мои друзья все выяснили. Тебя зовут Грант Артур. Ты родился в Нью-Йорке в 1960 году. В богатой семье. Ты переехал в Лос-Анджелес и сменил имя, став Дэвидом Одедом Гольдбергом. Вскоре после этого тебя арестовали за домогательства и запугивание раввина Ошера Мендельсона. Мендельсон обратился в суд и добился, чтобы тебе выписывали запретительный приказ. Я хочу знать почему. Почему ты сменил имя? Почему раввин подал на тебя в суд?*

Тем вечером я поехал в Нью-Джерси, в заведение под названием «Морж». Это было бетонное здание без окон на окраине Ньюарка. В ста футах от него пролегало шоссе, по которому с ревом проносились автомобили, а перед входом была парковка, усыпанная битым стеклом, и раскуроченная телефонная будка. Внутри постоянным клиентам показывали трех моржих: жирную, черную и татуированную. Однорукий диджей в гавайской рубашке и бейсболке с антивоен-

ной символикой в конце каждой песни хлопал себя микрофоном по груди. Он призывал всех клиентов не жмотничать и оставлять чаевые. «Эти девочки танцуют не ради удовольствия, — говорил он. — Дома их ждут голодные дети». Великолепно, подумал я. Стриптизерши с голодными детьми.

После рэпа заиграл Стинг. Потом из динамиков донеслись хлопки микрофоном о диджейскую грудь. Я подошел к татуированной моржихе. Она сидела полуголой за пустым столом и смотрела в телефон: белый свет дисплея подсвечивал ее лицо снизу. Я представился.

— Стив.

— Нарси.

Мы пожали друг другу руки. Несколько минут спустя, отправив эсэмэску, она пришла за мой столик — танцевать приватный танец. У нее была челка как у Бетти Пейдж и пирсинг в пупке. На пояснице чернела монохромная татуировка: шахматный слон. Во время танца на ее лице царило сосредоточенное выражение. Мне показалось, что движения ее тела были для нее такой же неожиданностью, как и для всех остальных.

— Где ты живешь, Нарси? — спросил я.

— «Там, где сосны, там, где сосны, где никогда

не светит солнце», — пропела она в ответ и откинулась назад, показав мне грудь.

Под грудью были вытатуированы кельтские узоры. Нарси как будто обрадовалась, что может с чистой совестью приступить к собственно обнажению. Она скинула майку и начала грубо теребить свою грудь. Я не представлял, кому это может быть приятно, и чуть не попросил ее прекратить.

— Так ты живешь в сосновом бору, — сказал я.

Она прижала грудь к моему носу и положила мои ладони себе на задницу. От нее пахло чем-то терпким: не столько парфюмом, сколько парфюмерным отделом в супермаркете. Нарси неуклюже отстранилась. Мне словно делала массаж слепая женщина — так она танцевала.

— Но откуда ты?

Нарси замерла.

— Откуда ты родом? Какие у тебя корни?

— Мне танцевать или нет? — проворчала она.

Я кивнул.

Она развернулась и потрясла задом, обмахнув бетонный пол посеченными кончиками волос.

Остаток вечера я наблюдал то за девочками на сцене, то за посетителями клуба. Последние были похожи на дворняг и неохотно расста-

вались с сокровищами — однодолларовыми купюрами. Они уходили в ночь без всякой цели и молитвы. То были остатки генофонда, уносимые в море отливом, голые и беззащитные под луной. А я сидел за столиком, жалел себя и до сих пор сгорал от стыда за то, что назвал Стюарта дядей.

В 3:00 ночи (10:00 по тель-авивскому времени) зазвонил мой мобильник. Это был Грант Артур.

Наутро я первым делом подошел к окошку в приемной и заговорил с Конни об увиденном вчера заголовке.

— Допустим, я был бы как Харпер, — начал я.

— Погоди-погоди. Как кто?

— Харпер.

— Кто такой Харпер?

— Ну, Харпер и Брин, ты знаешь.

— Не знаю.

— Да брось, Харпер и Брин! Ты что, не слышала? Брин из сериала «Брин»?

Она посмотрела на меня как на человека, только что пережившего сердечный приступ.

— Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь.

— Ну, Харпер какое-то время был геем? А Брин — порнозвездой, которая уверовала в Бога. «Порнотека»? Слышала про таких?

— Ты как будто пришел из параллельного мира.

— Хорошо, я покажу тебе журнал, если хочешь. Но чисто гипотетически: если бы я был как Харпер, ну… настоящий семьянин.

— Харпер — семьянин?

— Настоящий! Они оба — семьянины. И прямо скажем, не образцовые граждане. Таким обычно плевать на семью с высокой колокольни. Ты что, в самом деле не знаешь, кто такие Харпер и Брин?

— В самом деле.

— Ладно, не суть. Когда я прочитал, как много для них значит семья…

— Ты ведь не веришь всему, что пишут в глянцевых журналах?

— Конечно, нет!

— А звучит так, будто веришь.

— Можно я договорю?

— Договаривай.

— Если бы я захотел детей, — сказал я, — у нас бы сложилось?

— Погоди, что?..

— Если бы я захотел…

— Какая разница? — перебила Конни. — Тогда ты не хотел — и не шел ни на какие уговоры.

К чему задавать гипотетические вопросы о том, что уже решено? Ты даже разговаривать об этом отказывался. Поэтому гадать, повлияло бы на наши отношения то, что не обсуждалось, это все равно что… все равно что гадать, как бы все вышло, если бы ты был абсолютно другим человеком. Ответ положительный. Если бы ты был абсолютно другим человеком и этот человек хотел бы детей, возможно, у нас бы сложилось.

Я ушел. Потом вернулся.

— Бен как раз такой человек, — тут же продолжила Конни, словно я никуда не уходил. — Он как ты, только абсолютно другой. По крайней мере, он ничего не имеет против детей. И готов это обсуждать. Так что вот мой ответ. Мой ответ — да, и его зовут Бен.

— Думаешь, я поверю, что ты ничего не рассказывала дяде про твиты?

— Я не рассказывала. Честное слово, Пол.

— Я ведь специально просил, чтобы ты ничего не говорила Стюарту. Я думал, он пришел на осмотр, но нет. Он пришел, потому что кто-то шепнул ему на ушко, какой я мерзкий антисемит.

— Я ничего ему не говорила! Хочешь знать, что я ему сказала? Что кто-то пользуется тобой.

Вот и все.

— А кто ему рассказал про Гранта Артура?

— Разумеется, я. Но только потому, что тобой действительно пользуются! По какой-то причине весь твой гнев, вся ярость, которую ты испытывал в самом начале, куда-то подевались, и ты сутками напролет переписываешься со злоумышленниками, даже про «Ред Сокс» забыл! Можешь сказать, на каком они сейчас месте в турнирной таблице?

Я молчал.

— Соотношение побед и поражений?

Я молчал.

— Поэтому я и назвала Стюарту имя. Я его подслушала, когда ты разговаривал с Фруштиком, и поделилась со Стюартом, а тот уже сам все разузнал. Не потому, что мы родственники, а потому что есть на свете люди, которые обращают внимание на антисемитские высказывания сумасшедших в Интернете. И в данном случае этот сумасшедший очень похож на тебя.

Я склонился к Конни.

— Я все знаю о Гранте Артуре. Я знаю больше, чем твой дядя. Я знаю, почему он переехал в Лос-Анджелес, в кого там влюбился и почему хотел принять иудаизм. А когда его сердце разбили,

он просто совершил несколько глупостей, в результате которых у него начались неприятности с полицией.

— Откуда ты это знаешь?

— Он был раздавлен. Он больше не знал, кто он такой. Он не преступник. Он просто дурак, который влюбился не в ту девушку. Я могу его понять.

Я ушел. Потом вернулся.

— И чтобы ты знала. Я тоже встречаюсь с девушкой. Ее зовут Нарси. Она — танцовщица.

Я вернулся к работе. Обнаружил у пациента со съемным протезом молочницу. Раскрыл тайну измочаленных десен у топ-менеджера крупной фирмы — оказалось, та неудачно сменила зубную пасту. Поглядел на плевательницу, раскрашенную изнутри веселеньким кровавым узором, нажал кнопку — и в сливное отверстие стала уходить желированная кровь.

Затем я пошел в приемную на поиски журнала про Харпер и Брин — хотел показать его Конни. Но его, видимо, кто-то украл. Плохо быть стоматологом. Люди вечно крадут у тебя журналы.

Мерсер только что закончил рассказ о поездке на Сеир и о своих планах на возвращение. Мы сидели в тихом баре, никаких телевизоров

по углам, телефоны убраны, перед нами — только спиртное и бармен. Где-то в глубине зала тихонько пиликал музыкальный автомат. Все говорили тихо, и так же тихо звякал лед в стаканах. Я сообщил Мерсеру, что мне звонил Грант Артур. Спросил, слышал ли он про его несчастную любовь к дочери раввина.

— Мирав Мендельсон, — кивнул Мерсер. — Конечно, слышал. Это первое, что он рассказывает людям о себе.

— Похоже, он ее действительно любил.

— Он тогда ничего о себе не знал. Не знал о своем прошлом, о семье.

— Вы когда-нибудь так любили?

— Так — это как? Любил ли я женщину, которая мне не подходила?

— Которую вы выбрали необдуманно, не глядя, потому что… ну, потому что вам нужна была не просто подружка, а нечто большее.

— А вы?

Я рассказал ему про Сэм и Сантакроче, про Конни и Плотцев.

— Говорят, это свойственно ульмам. Возможно, так и есть, откуда мне знать? Конечно, я тоже любил.

Мерсер только-только переехал в Нью-Йорк,

жил без гроша в кармане, без друзей. И в один прекрасный день оказался на пороге огненного храма, расположенного на первом этаже многоквартирного дома.

— Огненного храма?

— Зороастризм. Слыхали про такую религию?

— Не больше, чем все остальные.

Мерсер прочел немало книг о мировых религиях, и зороастризм привлек его своей первобытностью. Зороастрийцы верят, что сначала был свет и была тьма, и свет боролся с тьмой. По крайней мере, так это приблизительно понял молодой Мерсер. Он некоторое время посещал храм и беседовал там с главным священнослужителем, человеком по имени Кир Мазда, в обязанности которого входило поддерживать огонь в очаге. Мерсеру нравились его усы, две половинки которых отталкивали друг друга, точно магниты. Вскоре Мерсер заметил среди прихожан девушку — и по уши влюбился. Два поколения тому назад ее семья переехала из Ирана в Америку, и теперь эта девушка всеми возможными способами бунтовала против родителей. Они с Мерсером прятались по углам, целовались в метро. Строили наивные планы на будущее. Но реальность взяла свое. Консервативные зороастрийцы

не допускают смешанных браков. Браки детей устраивают родители, так заведено. К тому моменту, когда Мерсеру исполнилось двадцать, его возлюбленная вышла замуж. Свое разбитое сердце он понес на фондовый рынок с целью вернуться в храм уже миллионером и сделать большое пожертвование. Утрата былого величия была не единственной бедой зороастризма: им не хватало денег на работу с населением, на проповедование идей.

— Вы сделали пожертвование?

— После того как я заработал первый миллион, меня это уже не волновало. Сердечная рана заросла. Хотя шрам остался. Зато после первой сотни я купил им храм в Нью-Джерси. Анонимно.

— Вы отомстили анонимно?!

— Мне нечего было доказывать, и в почестях я не нуждался. А потом, я ведь не в девушку влюбился, а в идею — идею борьбы света и тьмы. В человека с пышными усами, в белом халате с золотым поясом, который поддерживал огонь. И в дари. Мне нравилось звучание дари.

Мерсер подозвал бармена. Мы пронаблюдали, как он безмолвно достал с полки бутылку, налил нам драгоценный напиток и вновь уткнулся в экран я-машинки.

— Как я понял, христианином вы не были, — сказал я.

— Отчего же? Я родился и вырос в христианской семье.

Все было просто. В тринадцать лет он прошел крещение и получил именную Библию. Никто не заставлял и не уговаривал его читать Священное Писание, поэтому он так ни разу его и не открыл. Иисус Христос принадлежал ему по праву рождения и был ему другом. Он всегда заботился о Мерсере. Когда Мерсеру было страшно, он оказывался рядом и защищал его. Когда Мерсер совершал дурной поступок, он смотрел на него с укором и печалью во взгляде. Когда Мерсер искал прощения, он дарил ему прощение. Чтобы Иисус всегда его любил, от Мерсера требовалось лишь одно: вера. Никаких жертв, ритуалов, особого образа жизни. Надо было только всем сердцем верить в Христа, и за одно это на Мерсера сходила Божья благодать. То, что он практически ничего не знал о своей душе — и не будет знать еще много лет, — не имело значения. За веру он получал отпущение грехов, вечную жизнь и подарки на Рождество.

— Я с любовью вспоминаю нашу церковь. Людей, которые были к нам добры. Помню,

как после смерти мамы пытался молиться: складывал вместе ладони, склонял голову. А потом думал: допустим, сверху на тебя действительно смотрит Иисус Христос. Он ведь не идиот, так? Он знает. Он все отлично знает. Так что окажи нам обоим милость, встань с колен.

Дверь открылась, и в бар вошла шумная компания. Они купили выпивку и удалились в бильярдную, так что весь остаток вечера мы беседовали под стук бильярдных шаров, за которым следовали крики и стоны.

— Если честно, я их почти все перепробовал.

— Что — все?

— Религии.

Много лет Мерсер посвятил дзен-буддизму и ежегодно ездил в Киото, где у него был учитель. На протяжении тридцати лет стабильно преумножая свое состояние, Мерсер каждый год на десять дней полностью отказывался от благ цивилизации и сутками напролет медитировал, сидя на татами, и попрошайничал на улицах. Словом, он всегда был в поиске, поиске столь напряженном, что он никогда бы не увенчался успехом.

— Двенадцать лет подряд я ездил в Киото. Эти поездки помогли мне увидеть общую кар-

тину, но оставили мое сердце холодным. Знаете, что я думаю о буддизме? Он дает правильные ответы на неправильные вопросы.

Потом он увлекся джайнизмом, антропософией, учением Кришнамурти. Ездил в Непал, Тибет, поднимался на Гималайи. Ему нравился иудаизм. Коран вызывал у него восхищение. «Дианетика» его насмешила. Он не уважал «религии для всех»: унитарианизм, бахаизм и прочие телячьи нежности. Ему хотелось такой веры, которая понимала бы милосердие как справедливость, смягченную благодатью, и при этом не морочила бы ему голову всякими глупостями о том, что к смерти можно приспособиться, что ее можно преодолеть.

— Пусть меня не постигнет самое страшное, пусть я никогда больше не буду страдать и испытывать неудобства, если пожелаю. Но в конце я все равно умру. Умру — и, может быть, в ужасных муках. А что дальше — кто знает?

Тем временем тщетные поиски продолжались, ни одна из существующих религий не давала ему достойного ответа на вопрос: «Зачем я здесь?»

— Жаль, я не смог стать христианином, — сказал Мерсер. — Как это было бы здорово: на левом и правом плече сидели бы всезнайки, готовые

ответить на любой вопрос, решить любую проблему. Все эти праздники и благотворительные ужины, задушевные разговоры с Христом, мирная вечная жизнь…

Он подозвал бармена, и тот подлил ему спиртного.

— Самый интересный опыт на моей памяти — пятидневное… Как же это называлось? Не помню. По сути — депрограммирование, но они называли это иначе.

— Депрограммирование?

— В какой-то момент я просто послал все к чертовой матери. Я страдал днями напролет, из ищущего превратился в разыскиваемого, терял время на всякие дурацкие мысли и переживания. Ради чего? В общем, я захотел избавиться от Иисуса Христа в голове. Ну, то есть от Бога, от Божьего голоса, но, поскольку меня воспитывали христианином, это был Иисус. Иисус судил, Иисус защищал, Иисус говорил: «Включи мозги». Что бы ни происходило, Иисус всегда был у меня в башке. Отпускал комментарии. Навешивал ярлыки. У вас тоже есть этот голос? Вечно подсказывающий, что хорошо, а что — плохо?

— Конечно. Только обычно он говорит мимо кассы.

— А, вспомнил! Реканалирование, так они это называли. Что-то типа реабилитационного центра, находится в Калифорнии. Я давно заметил: все, что не в Азии, находится в Калифорнии. Поехал я туда «реканалироваться». У них куча сотрудников: психотерапевты, неврологи, философы, атеисты… Идея в чем? Перестать думать, будто внутренний голос дарован тебе Богом, и поверить, что это твоя собственная совесть. Которая с годами появляется у каждого. Этакий дар эволюции. Тебя подключают ко всяким приборам и мониторам, сканируют мозг. Ты примериваешь на себя роль Бога. Тебе показывают всякие ужасы, покадровые видео разлагающихся трупов животных и все такое. Девиз: «Соучастие в собственной жизни».

— Вы это на ходу придумываете?

— Как такое можно придумать?

— Не знаю… И что, помогло?

— На некоторое время. Но привычка — вторая натура, со временем ты возвращаешься к прежним установкам и убеждениям, и тогда надо снова лететь в Калифорнию — на донастройку. Они рекомендуют делать это раз в год. Посмотрите в Интернете, сами убедитесь. Отзывы хорошие. А какой там вид на океан!

— Зачем вы все это делаете?

— О-хо-хо! — Он покосился на меня. — Вы правда хотите знать?

— Хочу.

Однажды Мерсер стоял на платформе метро и ждал поезда. Ему было восемнадцать, за душой — ни гроша, он только-только поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать экономику. Был конец зимы, поезда ходили медленно. На платформе собралась изрядная толпа. Внезапно он упал на колени. Те, кто стоял в непосредственной близости, образовали вокруг него небольшое кольцо. Мерсеру показалось, что он не падает, а левитирует. На толпу, которая смотрела на него сверху вниз, он тоже смотрел сверху вниз. Сзади он ощущал некое наполненное светом присутствие: оно поднимало его, делая легким как перышко, но обернуться и посмотреть он не мог. На людей, которые с опаской косились на него, боясь подхватить какую-нибудь неведомую заразу, он глядел с улыбкой. Но они не видели улыбки. Они видели парня, который сперва рухнул на колени, а потом на спину. Мерсер, паривший наверху, где царил некий осязаемый дух, знал об этих людях все: их страхи, волнения, обиды, недовольства, и его улыбка

была благосклонной. Он даже знал их имена и адреса. Он оказался в единственном замершем мгновении вечности, он был бесконечно малой черной точкой (в этом самый кайф, сказал он, чувствовать себя черной точкой), а с другой стороны, испытывал тяжесть веков, полных вакуума и огня, ледниковых периодов, вечного безмолвия неведомых пещер. Выражаясь простым языком, это было прозрение, откровение, религиозный опыт. Возможно, весьма заурядный и посредственный, допускал он. Поезд подъехал. Люди вокруг колебались: вызвать «Скорую»? Известить сотрудников метро? Плюнуть и уехать? Кто-то сердобольный оттащил его подальше от края платформы. Тот — или то, — что секунду назад касалось Мерсера сквозь его собственное парящее тело, исчезло. Он больше не парил. Он лежал на платформе и сквозь пальто чувствовал ее холод. Поезда приходили и уходили. Начался период отсутствия Бога в его жизни.

— Когда мне было двадцать восемь, — продолжал Мерсер, — я совершил поступок, от которого воздерживался десять лет, с того дня на платформе метро. Я поехал в Бруклин. У меня был адрес, но в том доме я никогда прежде не бывал и не ожидал, что увижу на пороге ту самую жен-

щину, однако под звонком значилось ее имя. «Вы меня узнали?» — спросил я. Она кивнула, но точно вспомнить не смогла. Конечно, ведь прошло десять лет.

— После чего?

— После того как мы увидели друг друга на платформе. Она была в толпе в тот день.

— Где вы взяли ее адрес?

— Говорю же, я знал имена и адреса каждого, кто там стоял.

Мерсеру надо было просто уйти — увидеть ее, убедиться и уйти. Но она пригласила его в дом, и он принял приглашение. Они выпили кофе, и женщина спросила его, нашли ли полицейские преступника.

— Преступника? — переспросил он.

— Ну да. Человека, который вас ударил.

Этот человек, полуголый, продрался сквозь толпу на платформе и ударил Мерсера медным чайником по голове. Поэтому Мерсер и упал.

— Вы стояли, никого не трогали, а он на вас набросился.

— Я думал, все было иначе.

— И как же?

— Я знаю, как вас зовут. И где вы живете. Откуда, по-вашему?

— Я рассказала все полиции. Думала, вы спросили у них.

Двадцать лет спустя, когда Грант Артур стал рассказывать ему об ульмах, Мерсер был готов его выслушать. Им Господь тоже больше не являлся. Ни для того, чтобы упрекнуть. Ни для того, чтобы наставить на путь истинный. Ни для того, чтобы утешить. Ни для того, чтобы успокоить. Ни для того, чтобы отпустить им грехи.

— Прошло уже три тысячи лет, а Господь к ним так и не пришел. Ко мне он не приходил больше тридцати. Кто способен понять преимущества сомнения лучше, чем человек, который видел Бога, но память об этом у него отняли?

Мерсер опустил глаза.

— Наверное, вы считаете меня сумасшедшим.

— На свете чего только не бывает, — ответил я.

Он посмотрел на меня тяжелым пьяным взглядом. Я вспомнил, что он пришел в бар гораздо раньше, и сколько бы «штрафных» я ни выпил, нагнать его вряд ли получится.

— И все-таки я был настроен скептически. Даже нанял частного детектива. Азиатку. Если подумать, они могли и ей заплатить…

— Как можно сомневаться в Боге, которого вы видели собственными глазами?

— Так вы еще не читали?

— Что?

— Двести сороковой кантонмент.

— Нет.

— Прочтите. Все вопросы отпадут.

— Что там написано?

Он допил и попросил налить еще.

— Я не сумею передать всю красоту этого кантонмента.

— Ну, хоть самую суть.

— Простите, не могу. И даже пытаться не стану. Это будет несправедливо. Такое нужно испытать самому, это ни с чем не сравнимо. Посетите Сеир.

Мерсер поднял стакан и покачал его из стороны в сторону, как колыбель, глядя на жидкость внутри и сквозь нее.

— Я больше не хочу задаваться вопросами, — сказал он. — Слишком от многого мне пришлось отказаться из-за своей дотошности. Она не принесла мне ничего, кроме несчастья. — Он посмотрел на меня искоса: голова и шея его уже не слушались. — Я не христианин, не буддист, не зороастриец. Не иудей. — Он осушил стакан. — Я — шлюха, Пол. Шлюха, которая заглядывает в окна всех проезжающих мимо машин. Я устал.

Я хочу стать собой.

Мерсер жестом попросил бармена налить ему еще.

— На исходе дней почувствовать, что Господь тебя покинул, — это ужасно, спору нет. Но чувствовать, что Господь игнорировал тебя всю жизнь? Это, мой друг, просто ад.

Настали выходные, и я решил повидаться с Макгоуэном. Мы пошли в бар и пропустили несколько кружек пива. Он рассказал, как идут дела у «Ред Сокс». Я признался, что меня уже много дней преследуют навязчивые картинки: Харпер и Брин вместе ходят в торговый центр, катают детей на качелях, купают их в ванне и готовят им макароны с сыром. Макгоуэн не знал, кто такие Харпер и Брин. Я сказал, что в наши дни отстать от жизни проще простого.

— И кто же они?

— В сущности, обычные нормальные люди. Только знаменитости. Почему я не могу быть нормальным человеком?

— Потому что ты ненормальный. Больной на всю голову.

— Спасибо.

— Нет, в самом деле, Пол, ты больной на всю голову. У тебя вечная депрессия. Чтобы почув-

ствовать связь с миром, ты смотришь матчи «Ред Сокс». И слишком близко к сердцу принимаешь свою работу.

— Я не принимаю работу близко к сердцу. Я просто работаю.

— Ты думаешь о людях, волнуешься за них. Так нельзя. Их беды и горести не должны тебя касаться. Пациент — это огромный рот.

— В следующий раз постараюсь думать именно так.

— Постараешься. Но не сможешь.

Я подумал, что он ко мне слишком строг. Черт, да я всего лишь хотел отблагодарить его за доброту — за то, что помог мне тогда добраться до дома.

— Ты прав. Я больной на всю голову.

В воскресенье я поехал в Пафкипси, в дом для престарелых имени Сары Харвест Додд. Там жила моя мама. Мне бы хотелось сказать, что мы премило поболтали и отлично провели время, но она уже больше пяти лет была овощем. Мозг ей отказал. Она не могла сама мочиться, испражняться и есть. Только бубнила что-то себе под нос и смотрела в телевизор. Она всегда выглядела одинаково: постаревшей лет на десять. Она сидела в инвалидном кресле, в комнате

с длинными цветастыми шторами и столом для пинг-понга, но без сетки. Я сел рядом и начал задавать привычные вопросы: «Как ты себя чувствуешь?» Нет ответа. «Тебе удобно?» Нет ответа. «Подложить подушку?» Нет ответа. «Соскучилась?» Нет ответа. «Чем сегодня кормили?» Нет ответа. «Что смотришь?» Нет ответа. «С тобой здесь хорошо обращаются?» Нет ответа. «Что мне сделать, мам? Чего ты хочешь?» Нет ответа. Тогда я стал рассказывать о себе. «У меня все хорошо. Работа кипит. Все довольны и счастливы. Правда, есть и плохие новости. Мы с Конни расстались. Мы и раньше расставались, но на сей раз уже навсегда. Она встретила другого. Я рад за нее — насколько могу быть рад. То есть очень рад, просто до одурения, ма. Ты помнишь Конни? Конечно, нет, — сказал я. — Ты понятия не имеешь, кто такая Конни. Она к тебе приезжала пару раз. Ты ей понравилась. Честное слово, она тебя даже причесывала. Это в ее духе. Просто с ума сойти. Я тогда чуть не расплакался». Я взял ее за руку. Нет ответа. «Мама», — сказал я. Нет ответа. Ее лицо было повернуто почти в направлении телевизора. «Помнишь, как я не мог спать?» Нет ответа. «Папа умер, и я не мог спать». Нет ответа. «А потом как-то раз ты мне рассказала

про китайцев». Нет ответа. «Я так боялся остаться единственным бодрствующим человеком на всем белом свете. Не знаю почему, но боялся. И ты мне сказала, что я не могу быть единственным бодрствующим человеком на свете, потому что как раз в этот момент в Китае утро и все китайцы просыпаются. Помнишь?» Нет ответа. «Это помогло. Ты знала?» Нет ответа. «Хотя китайцы мне тогда казались очень странными людьми, ну, из-за глаз. Надеюсь, я успел тебе это сказать, пока ты еще не съехала с катушек». Нет ответа. «Прости, что мешал тебе спать. Ты пыталась спасти семью, дать мне нормальную жизнь. И у тебя получалось. Я говорил тебе, что ты сумела дать мне нормальную жизнь?» Нет ответа. «Я когда-нибудь тебя благодарил?» Нет ответа. «Можно, я сейчас поблагодарю?» Нет ответа. «Можно тебя поцеловать? Вот сюда, в лоб?» Нет ответа. Я ее поцеловал. Нет ответа. «Даже сейчас, когда у меня бессонница, я вспоминаю про китайцев — и это помогает. Все благодаря тебе. И когда я наконец-то засыпаю, то сплю как убитый, ма. Каждую ночь я сплю как младенец».

Глава девятая

Зукхарт позвонил сообщить новости.

— Я нашел экземпляр!

— Кантаветиклов?

— Я сам удивлен не меньше вашего. Прямо-таки потрясен. Я подумать не мог, что… и теперь… вы ведь понимаете, какая это находка? Что теперь будет?

— Как вы их нашли?

— Продавец связался с моим коллегой, который наводил справки.

— И кто он такой, этот продавец?

— Он пожелал остаться неизвестным. В нашем деле такое часто встречается. Уверен, вы понимаете…

— Но Кантаветиклы в самом деле существуют?

— Существуют, и в наших руках — полное издание. Полагаю, оно имеет венгерское происхождение и датируется серединой восемнадцатого века.

— Написано на арамейском?

— Как ни странно, на идише.

Я удивился.

— А вы знаете идиш? Можете прочесть книгу?

— Дорогой мой друг, никто не может прочесть книгу на идише. Но не волнуйтесь. Сначала мы убедимся в подлинности книги, затем найдем вам переводчика с идиша, и вы прочитаете ее от корки до корки. Но при одном условии: вы должны поделиться с остальными.

Зукхарт умолк.

— Ну? — спросил он. — Я покупаю книгу?

Сегодня был тяжелый день, — написал он. — *Ко мне подошел человек, который заботится о нашем благополучии: ведет хозяйство, делает ремонт. Умеет снимать плесень со стен и чинить проводку, цитирует Кьеркегора и Псалмы. Он живет с нами уже семь лет, и все семь лет он не знал горя. Но в последнее время ему начали сниться сны. В них он видит свою покойную жену. Она рассказывает ему о Боге. О рае. Сны очень правдоподобные и яркие, он просыпается — и не может их забыть. Чувствует в комнате ее присутствие. Он хочет знать мое мнение о мертвых. Я отвечаю ему строчками из Кантаветиклов. Мертвые мертвы. Он кивает. Это умный и задумчивый человек, я вижу, как он мучается. Он знает, что в некоторых культурах мертвых считают живыми. Они живут рядом с нами, оказывают на нас влияние. Он спраши-*

вает меня, разве это не лучше — чтобы живых от мертвых отделяла лишь тонкая мембрана, которую последние при необходимости могли бы разрывать? Так называемые "чудеса". Я отвечаю ему строчкой из Кантаветиклов. Чудес нет, есть только люди. Но мои слова не помогают ему избавиться от снов.

Думаю, он скоро нас покинет. Такое раньше уже случалось.

Пожалуйста, подумай о визите.

В тот же день ко мне пришел новый пациент, старик с плохими деснами. Он назвал себя Эдди — странное имя для престарелого человека. А впрочем, что тут такого? Если ты Эдди в десять лет, ты будешь Эдди и в восемьдесят. Он с ходу сообщил мне, что больше тридцати семи лет ходил к одному стоматологу. К доктору Раппопорту. Я знал доктора Раппопорта — у него была хорошая репутация. А еще у него была странная гигиенистка (именно по этой причине о докторе Раппопорте знали все стоматологи). Во время работы она просила пациентов держать для нее инструменты. «Подержите-ка это, — говорила она человеку прямо посреди чистки, — теперь это». И человек прилежно держал, пусть и не вполне понимая зачем, а через некоторое время, пригля-

девшись внимательнее, обнаруживал, что у нее нет одной руки. Однорукая гигиенистка! По слухам, дело свое она знала и даже одной рукой управлялась куда лучше многих двуруких. Если есть на свете однорукие гольфисты и однорукие барабанщики, почему бы не быть одноруким гигиенистам? Разнообразные проявления решительности и упертости в людях не устают меня поражать.

Итак, примерно за три недели до назначенного визита к доктору Раппопорту моему новому пациенту позвонили и сообщили, что доктор Раппопорт умер. Пришлось искать нового стоматолога. Но спустя тридцать семь лет Эдди — восьмидесятилетний старик весом около ста фунтов, тоже, прямо скажем, не желторотый птенец, — не хотел искать нового стоматолога. Он любил прежнего. Доктор Раппопорт полжизни лечил ему зубы. Смерть доктора Раппопорта не укладывалась у него в голове. Этот высокий, моложавый, загорелый человек в белом халате не мог умереть. «Да он ведь моложе меня лет на двадцать!» — сказал Эдди. Я понял, что он из той категории пациентов, которые ходят по врачам от скуки. Он любил поболтать, и, несмотря на свою занятость, я дал ему возможность вы-

говориться — в конце концов, он скорей всего и сам откинет копыта через полгода. Я покосился на Эбби — чтобы невербальными методами поделиться с ней своими выводами, — и только тут заметил, что на месте Эбби опять сидит та неприятная карлица. Где же Эбби? Она ведь только что была здесь. Ко мне она никогда не подходила, даже чтобы отпроситься на полдня. Для этого она шла к Конни. В ее представлении я был скорее злобным уборщиком с ведром, шваброй и кривой усмешкой, нежели начальником. Карлица смотрела на меня с упреком; впрочем, вполне вероятно, что в спокойном состоянии ее лицо всегда выглядело именно так. И все же я почувствовал, что на меня смотрят осуждающе. Почему, скажите на милость, она не носит маску? Неужели ей плевать, что зубная пыль забивает ей ноздри и мембраны? Эбби всегда носила маску, подумал я. И снова посмотрел на Эдди. Его лицо — нельзя сказать, что неподвижное, ведь он по-прежнему разглагольствовал о внезапной кончине доктора Раппопорта, — показалось мне печальным, растерянным и прекрасным. У него были большие, широко распахнутые глаза — нетипично для стариков его возраста — и чистые белки. Еще одна унизительная примета старости,

говорил он, наравне с химиотерапией и недержанием мочи, это когда умирает твой стоматолог. Чей стоматолог может вот так взять и умереть? Стоматолог старика. Но даже старики не ждут от судьбы такой подлянки. Когда ты раз в полгода, из года в год, ходишь к одному стоматологу, и он всегда здоров, всегда принимает, это как-то обнадеживает. Значит, жизнь продолжается. Обнаружив, что доктор Раппопорт, несмотря на свою моложавость и жизнелюбие, скончался от сердечного приступа и больше никогда никого не примет, мой пациент осознал, что тоже скоро умрет. Конечно, он и раньше это понимал, просто не задумывался. Но если это случилось с доктором Раппопортом, который был гораздо моложе и практически бессмертен, значит, смерть ждала и Эдди. Это осознание — в числе прочих неприятных вещей — загнало его в глубокую депрессию. Он перестал заботиться о себе, ходить к врачам, делать упражнения от артрита и пользоваться зубной нитью. Только по настоянию друга-терапевта Эдди начал принимать антидепрессанты и благодаря им снова вспомнил о своем здоровье. Но к этому времени оно уже изрядно пострадало. Артритные суставы не позволяли ему достать нить, намотать ее на пальцы и продеть между зу-

бами. Он даже флосстиком пользоваться не мог. На протяжении пятидесяти лет он ежедневно чистил зубы нитью, а тут разучился держать ее в руках. Одного взгляда на его руки было достаточно, чтобы понять причину. Все пальцы на руках Эдди были деформированы и напоминали хоккейные клюшки. Я не понимал, как он вообще что-то может делать такими руками, даже поворачивать дверные ручки или отвинчивать крышки. В конечном итоге, подумал я, все его пальцы срастутся в один, как иногда срастаются зубы у глубоких стариков, и два этих обрубка будут неподвижно лежать на коленях, указывая друг на друга. Надо привести сюда Конни и показать ей руки Эдди: может, тогда она поймет, что мазаться кремом каждые десять минут бесполезно? Сколько ни мажься, все равно тебя ждет вот это. И миссис Конвой надо привести. Пусть посмотрит и объяснит, почему это мне нельзя выкурить сигарету, а потом курить весь день напролет — все равно мы все кончим одинаково. Затем я продемонстрирую им зубы Эдди и расскажу о его нелепой ситуации: полвека он ежедневно пользовался зубной нитью, чтобы едва не окочуриться от известия о смерти его стоматолога.

Наконец я заглянул ему в рот. Опасения миссис Конвой подтвердились: атрофия костной ткани, десневые карманы глубиной 7–8 мм. Обычно я не обнадеживаю пациентов с карманами глубиной 7–8 мм — и сам на многое не надеюсь. Но в тот момент я поклялся сделать все, чтобы пятьдесят лет использования зубной нити не пропали для Эдди даром. Я вытащил у него изо рта зонд, положил руку на его детское плечо.

— Эдди… — сказал я. — Эдди, что же мне с вами делать?

Конни сидела за столом и разбирала бумаги.

— Где Конни? — спросил я.

— Прямо перед тобой.

— Тьфу, оговорился. Где Эбби? Она же приходила с утра!

Конни сделала вид, что страшно занята.

— Конни.

— Да?

— Где Эбби?

— Она уволилась.

— Она… что?!

— Уволилась. Эбби уволилась.

— С какой стати?!

Конни не смотрела на меня.

— Конни, прекрати разбирать бумаги и по-

смотри на меня. Посмотри на меня! Прекрати! — Она прекратила разбирать бумаги. — Что значит «уволилась»? Почему?

— Нашла новую работу. Хочет попробовать себя в новом деле.

— В новом деле? Эбби?

— Да, Эбби. Что в этом такого возмутительного?

— Какое новое дело? — не унимался я. — Она предупредила нас за две недели? О таких вещах надо предупреждать. Мне кажется, Эбби не могла не предупредить.

— Она не предупредила. За обедом сообщила. Верней, перед обедом — здесь она обедать не стала.

— Ты шутишь?

— Она уволилась, Пол. Ей надоело.

— Ей надоело? Погоди-погоди… «Надоело» и «решила попробовать себя в новом деле» — это разные вещи.

— Разные. Но не взаимоисключающие.

Конни объяснила, что Эбби решила наконец-то исполнить свою мечту и стать актрисой. Для этого ей требовалась работа с более гибким графиком. Я уже не впервые слышал об этой Эббиной мечте — стать актрисой. Мне следовало

удовольствоваться этой причиной. Она была вполне веская; люди и не из-за такой ерунды увольняются. А умные люди не суют нос в чужие дела — а то ведь можно и схлопотать. Однако я не унимался. Как это Эбби ушла без предупреждения? Порядочные люди так не уходят. Эбби была упрямым человеком, но все же порядочным. Я пытал и пытал Конни, пока она не призналась, что среди названных причин Эббиного увольнения был мой неприятный характер. Ладно, это для меня не открытие. Кроме того, продолжала Конни, Эбби увидела в Интернете мои твиты. Они ей не понравились, вообще вся моя так называемая интернет-персона ей не понравилась — настолько, что она решила уволиться немедленно, без предупреждения.

— Но это же не я писал! Разве она не поняла?

— Видимо, нет.

— Ты ей не сказала?

— Сказала.

— А она что?

— Либо не поверила, либо ей все равно.

— Но Эбби ведь даже не еврейка!

— А это тут при чем?

— Если кто и должен уволиться, так это ты, — сказал я. — Эбби пресвитерианка или методистка

или еще кто-нибудь в этом духе.

— Пресвитерианка или методистка? Да ты пять минут назад не знал, что она актриса!

— И давно она актриса?

— Вовсе необязательно быть евреем, чтобы не любить антисемитов. В современной Америке такая нелюбовь свойственна многим.

— И потом, если прочесть все твиты разом, становится ясно, что они скорее антимусульманские. Или антихристианские. Антирелигиозные. Если прочесть их все разом.

— Когда будешь искать ей замену, укажи это в объявлении.

— Эбби вообще что-нибудь знает об истории иудаизма? Имеет представление о том, что такое настоящий антисемитизм?

— Настоящий антисемитизм?

Она смотрела на меня как на дурака.

— Что? — не понял я.

— Знаешь, чему меня научила эта странная история с хищением твоих личных данных?

Я вздохнул и жестом попросил продолжать.

— Только евреи имеют право судить о том, что такое «настоящий» антисемитизм или ненастоящий. А ты не входишь в их число.

Я вернулся в кабинет и сел напротив Дарлы,

ассистентки-карлицы, которой, видимо, было все равно, антисемит я или нет. Как же плохо мы с Эбби понимали и знали друг друга, подумал я, а ведь сколько лет просидели в одном кабинете. То, что она ушла, не укладывалось у меня в голове. И даже не попрощалась! Днем она просто вышла из клиники, и я не придал значения ее уходу, даже немного обрадовался — подумал, что наконец-то можно передохнуть и пообедать. Я понятия не имел, что больше никогда ее не увижу, не смогу отвести в сторонку и извиниться за свой угрюмый характер. Мне было искренне жаль, что я такой угрюмый. Такой немногословный, холодный, строгий, снисходительный, замкнутый и абсолютно равнодушный к любым проявлениям ее натуры. Понятно, почему она никогда со мной не разговаривала. Понятно, почему она ушла.

Эбби ушла!

Я стал беспокоиться, что следом уйдет и миссис Конвой. Без миссис Конвой «Стоматология доктора О'Рурка» потерпела бы крах. Миссис Конвой была олицетворением «Стоматология доктора О'Рурка», душой и телом клиники.

Когда я нашел ее, она уже начинала стерилизовать оборудование.

— Бетси, — сказал я. — Мне бы хотелось поговорить с вами об Эббином уходе.

Она отложила инструменты и взяла меня за руку. Я нащупал умелые косточки ее пальцев.

— Я когда-нибудь говорила вам, что вы — замечательный врач? — спросила она.

Когда Бетси только устроилась в клинику, и ее сверхъестественные способности еще потрясали меня до глубины души, я очень хотел знать, что она обо мне думает. Надеялся, что она по крайней мере считает меня достойным партнером. В жизни не видел такой чудесной гигиенистки. Со временем я начал принимать ее навыки как должное, и она превратилась в Бетси Конвой, набожную католичку и бой-бабу с кувалдой в руках. И вдруг, спустя много лет, она решила исполнить мою давнюю мечту — рассказать мне обо мне.

— Спасибо, Бетси.

— Мой муж, упокой Господь его душу, тоже был хорошим врачом. Но не вашего калибра. На своем веку я видела немало хороших врачей, но все они были не вашего калибра.

— Вы не представляете, как я польщен.

Она улыбнулась.

А потом отпустила мою руку и вернулась к ра-

боте.

— Насчет Эббиного увольнения…

— Она решила заняться новым делом. Она всегда хотела быть актрисой.

— Но ушла-то она по другой причине.

Я рассказал ей о сообщениях и постах в Интернете, написанных от моего имени. Вытащил из кармана я-машинку и зачитал вслух последние твиты.

— Неужели вас это не волнует? — спросил я.

— А должно?

— Все это написано от моего имени.

— Написали-то не вы.

— Нет, но разве вас не волнует, что это мог написать я?

— С какой стати?

— С какой стати? Бетси, многие из этих твитов можно назвать антисемитскими. А значит, их автор — антисемит.

— Вы антисемит?

— Разумеется, нет! Однако Интернет как бы намекает, что да. Разве вы не хотите знать наверняка, антисемит я или нет?

— Вы только что сказали, что нет.

— Для этого мне понадобилось подойти к вам и сказать. Когда вы узнали, что Эбби уволилась,

вы могли бы и сами ко мне подойти. Выразить беспокойство. Все-таки речь идет об одном из самых страшных предрассудков в истории человечества.

— Я вас знаю. Вы не такой.

— Разве к вам в душу не должно было закрасться хотя бы крохотное сомнение?

— Пол, я не понимаю, в чем суть ваших расспросов. Вы антисемит или нет?

— Суть в том, что вам даже не любопытно! Вас это не беспокоит! А если я действительно антисемит?

— Вы сказали, что нет.

— А доказать можете?

— Мне нужно закончить работу. Если захотите признаться в антисемитизме, приходите — я буду ждать.

— Самое пагубное предубеждение в истории мира! — вскричал я.

— Верно.

— И я должен прийти *сам*?!!

Я вышел из кабинета. Больше мы эту тему не обсуждали.

Моим последним пациентом в тот день был руководитель коммерческой службы в крупной фирме. Я нашел у него три кариеса, сообщил ему

о своей находке, и в этот момент меня ненадолго позвала миссис Конвой. Когда я вернулся в кабинет, пациент сказал:

— Наверно, я не стану лечить зубы.

Его рентгеновские снимки были прямо перед ним на экране. Он прекрасно видел свои кариесы. Я еще раз заглянул в карту — со страховкой все в порядке, так что дороговизна лечения не должна была его беспокоить. И мне хотелось верить, что он заботится о здоровье своих зубов. Иначе бы он просто не пришел.

— Хорошо, но я настоятельно рекомендую вам заняться зубами. Причем в ближайшее время, дальше будет хуже.

Он кивнул.

— Вы боитесь боли? — осторожно спросил я.

Он искренне удивился.

— Разве лечить кариес больно?

— Нет. Поэтому я и спросил. Может, вы думали, что это больно.

— Нет-нет. Дело не в этом. Боли я не боюсь.

— Тогда разрешите полюбопытствовать, в чем причина? Со временем у вас разовьется пульпит, а вот это уже действительно больно.

— Сейчас я чувствую себя отлично. По моим ощущениям, никаких кариесов у меня нет.

— Но они есть, — сказал я. — Вот смотрите. Здесь, здесь и…

Я начал заново показывать ему снимки.

— Можете не показывать. Я все видел и верю вам.

— То есть вы верите, что проблема есть. Почему бы ее не решить? У вас три кариеса.

— Потому что я хорошо себя чувствую.

Я начинал выходить из себя.

— Хорошо, уделите мне еще минутку, пожалуйста. Посмотрите на экран. Видите эти темные участки? Один, два, три. Три кариеса.

— Согласно снимкам — да. Я это понимаю. Но не согласно моим ощущениям.

— И что же это за ощущения?

— В данный момент я не чувствую, что у меня есть больные зубы. Все отлично.

— Но кариес далеко не всегда сопровождается болью. Для этого мы и делаем снимки. Чтобы показать вам то, что нельзя почувствовать.

— Я понимаю, вы так работаете, и я не имею ничего против. Но я привык действовать по-другому.

— По-другому? Это рентген, им пользуются во всем мире. Не только «мы» так работаем. Все профессиональные стоматологи так рабо-

тают.

— Очень хорошо. Но я привык руководствоваться своими ощущениями, и сейчас я чувствую себя прекрасно.

— Тогда зачем вы пришли?! Если вы чувствуете себя хорошо, а на снимки вам плевать, зачем вы пришли?

— Просто так положено. Каждые полгода надо посещать стоматолога.

— Доктор О'Рурк?

На пороге кабинета стояла Конни.

— Простите, я отлучусь, — сказал я пациенту.

И выскочил из кабинета как ошпаренный.

— Этот болван, — зашептал я, — не хочет лечить кариесы, потому что хорошо себя чувствует! Говорит, у него все отлично, зачем лечиться? Я показываю ему снимки, на что он мне заявляет: это *вы* так работаете! Все профессионалы так работают! А он, видите ли, просто щупает зубы языком, и если по его ощущениям все в порядке, то плевать ему на снимки и мнение профессионалов! Когда я спросил его, зачем он тогда пришел, знаешь, что он ответил? Потому что так надо! Так положено — каждые полгода посещать стоматолога! Неужели все люди так устроены? Это — нормальное явление? Так оно и бывает?

— К тебе пришел дядя Стюарт, — сообщила она.

Я умолк.

— Опять?

В приемной не было никого, кроме Стюарта и молодой азиатки в бежевых слаксах и сдвинутых наверх темных очках. Когда я вошел, она опустила очки на нос, и Стюарт ее представил. Венди Чу. Работает на Пита Мерсера.

— Вы знакомы с Питом Мерсером? — спросил я Стюарта.

— Лично не знаком. Я знаком только с Венди.

Венди выглядела так молодо, что при иных обстоятельствах я бы принял ее за школьницу-отличницу. Она вручила мне визитку. Посмотрев на карточку, я вспомнил, как Мерсер рассказывал про нанятого им частного детектива. «Детективное агентство Чу» — значилось на карточке. Я снова посмотрел на нее. Надо же, а ведь раньше сыщики носили фетровые шляпы и сидели за дверями с матовым стеклом. Куда катится этот мир?

— И как вы познакомились с Венди? — спросил я.

Она ответила сама:

— Чего только не случается, когда два человека

отправляются на поиски одной женщины.

— Какой женщины?

— Пол, — сказал Стюарт, — мы пришли просить вас об услуге. Не могли бы вы после работы съездить с нами в Бруклин?

— Зачем?

— Мерсер хочет, чтобы вы кое с кем встретились, — сказала Венди.

— А где сам Мерсер?

— Он больше не принимает участия в деле.

— В каком деле?

Она промолчала. Ее взгляд за темными линзами очков был нечитаем.

— У меня пациент, — сказал я.

— Мы подождем. — Венди тут же села.

— Что происходит? — спросил я Стюарта.

— Я прошу вас о личной услуге. Съездите с нами в Бруклин.

Я вернулся к пациенту: тот терпеливо дожидался меня в кресле. Я сел рядом, смерил его долгим взглядом и всплеснул руками.

— Почему вы до сих пор здесь?

Он смутился.

— Вы же сами сказали подождать.

— Но почему вы меня послушались?

— Потому что вы — мой врач.

— То есть ждать по моей просьбе вы готовы, а лечиться — нет?

— Я уже сказал, что чувствую себя прекрасно.

— У вас кариес! — воскликнул я. — Целых три!

— Согласно снимкам.

— Да, да, вот именно! Согласно снимкам!

— Но не согласно моим ощущениям, — сказал он.

* * *

Мы сели в машину Венди и поехали в Бруклин, в район Краун-хайтс, где живут в основном евреи. На витринах и вывесках было много иврита, по улицам ходили женщины в одинаковых одеждах с одинаковыми колясками — огромными люльками на больших железных колесах; мужчины в черных костюмах, черных шляпах и с черными бородами выходили из маршруток и разговаривали по мобильным телефонам; бесчисленные дети, невзирая на суровость пейсов и скромность нарядов, скакали и бегали по тротуарам. Солнце садилось, и на улицах был полный порядок. Если бы не тонированные окна проезжавших мимо машин, дрожащие от басов, я бы решил, что мы очутились в семнадцатом веке.

По дороге туда я узнал, что мы должны встретиться с Мирав Мендельсон — женщиной, которую когда-то любил Грант Артур. Я не понял зачем. Я объяснил Стюарту, что все про нее знаю. Мирав родилась в Лос-Анджелесе, в семье ортодоксальных евреев, а потом влюбилась в Артура. Когда семья об этом узнала, ее изгнали из сообщества. Даже сидели по ней шиву, как будто она умерла. Через некоторое время Артур занялся исследованиями, начал узнавать все больше о своих предках, о том, кто он такой на самом деле. Он понял, что его долг — покинуть Мирав, уехать из Лос-Анджелеса и основать в Израиле общину ульмов.

— Звучит мило, — сказала Венди. — Но это еще не все.

Стюарт поведал мне, что Мирав отказалась от иудаизма, вышла замуж за хозяина одной из крупнейших фирм по торговле строительными материалами, родила от него двух детей, а потом они развелись. Повинуясь велению души, в 2007 году Мирав снова взяла фамилию Мендельсон и приняла иудаизм. Сейчас она живет при хасидском центре и рассказывает новообращенным женщинам о традиционных еврейских практиках.

Мы въехали в некое подобие студенческого городка или большого жилого комплекса с собственной синагогой, школой и общежитием, где новообращенные евреи постигали основы религии. Мирав вела вечерние курсы. В конце занятия женщины запели. Мы стояли на улице, ждали и слушали. Никогда не забуду эту песню: непрерывную, изменчивую, исполняемую неумелым хором, в котором солировал единственный женский голос — сильный, живой, напутствующий, славящий Создателя и ведущий всех тех, кто сбивался с ритма, фальшивил, замолкал и хихикал, к единственному мигу звонкой гармонии. То был голос Мирав.

После урока Мирав вышла к нам, мы познакомились, и она повела нас в комнату отдыха. Там пахло старыми книгами и горелым кофе. На стенах — всевозможные образцы народного искусства: изображения менор и волчков, согбенных фигур у Стены Плача, молитвенных шалей, развевающихся под порывами волшебного ветра, танцующих семей, свитков с красочными письменами на иврите. Больше всего мне понравились огромные аппликации: Ноев ковчег, груженный множеством зверей, и дракон, плывущий по спокойному морю, как будто Ка-

рибскому.

Мирав была в длинной черной юбке и головном платке с узором из огурцов. Мне она показалась честной, открытой и жизнерадостной; некоторое время она говорила очень серьезно, а потом вдруг непринужденно засмеялась. Она явно знала, сколько на свете горя и дерьма, но все же умела радоваться жизни. Такие люди поначалу всегда меня пугают, а в следующий миг я начинаю испытывать к ним глубокую симпатию, даже если мы практически не знакомы.

— Принести вам кофе? — спросила она, когда мы сели.

Все отказались.

— Спасибо, что согласились на встречу, — сказал Стюарт. — Знаю, вы уже беседовали с Питом Мерсером, но не могли бы вы рассказать свою историю и нам с Полом?

— Могу, конечно, это совсем не трудно.

И мы отправились в год 1979.

Ее дядя владел небольшим продуктовым магазином неподалеку от дома ее родителей. Днем мама отправляла ее туда за покупками. Однажды по дороге домой к ней подошел Грант Артур и предложил донести сумки до дома. На нем были джинсы-клеш и рубашка из тех, какие

носил только Джон Траволта. Он спросил ее, еврейка ли она, и она кивнула. Затем он спросил, как ей живется, в какую церковь она ходит и не жалко ли ей, что нельзя праздновать Рождество. Мирав ответила, что ее отец — раввин местной синагоги, а из-за Рождества она расстраивалась только в детстве. Еще он спросил, действительно ли еврейская пища так отличается от христианской. И что вообще едят евреи?

— Сначала я подумала, что он надо мной издевается, — сказала Мирав мне, Стюарту и Венди. — Но нет, этот юноша действительно ничего не знал. Он был такой невинный, такой открытый, ему все было любопытно.

В следующий раз он встретил ее у входа в дядин магазин, когда она выходила с покупками. Мирав заподозрила, что он за ней следит, но не поняла, как и откуда. Грант Артур сказал, что нашел раввина — рабби Юклуса из синагоги Анше-Эмес, — который согласился помочь ему обратиться в иудаизм. Рабби Юклус научит его всему, что нужно знать. Сейчас он уже знает про шаббат. Этим иудаизм сильно отличается от христианства. Христиане всегда молятся в воскресенье и не устраивают пиршеств накануне, если не считать праздников и благотворитель-

ных вечеров по сбору средств. Рабби Юклус пообещал как-нибудь пригласить его на шаббат. Знает ли она наизусть все слова, которые надо произносить при зажигании свечей? И все остальные молитвы и песни? Он сказал, что ему очень нравятся еврейские «ритуалы, молитвы и прочие штуки». Ему не терпится прийти домой к раввину и увидеть все своими глазами. Мирав нравилось слушать Гранта Артура, он оживил ее повседневность, и она впервые почувствовала себя особенной. Ей было всего семнадцать.

— Мне так и не пришло в голову спросить, что для него важнее, — сказала она, обращаясь непосредственно ко мне, — иудаизм или я. Да и важно ли, кто его вдохновил — я или нет? Даже не вдохновила — свела с ума! — Она громко и импульсивно рассмеялась. Затем повернулась к Стюарту: — Разве не это мы делаем, когда влюбляемся, — сводим друг друга с ума? — Он ответил ей теплой понимающей улыбкой (никогда не видел, чтобы он так улыбался), как бы говоря, что на своей шкуре испытал это сумасшествие. — Но нет, я никогда не считала, что иудаизм был для него просто удобным способом добиться желаемого. Или что я была таким удобным способом. Думаю, я ему понравилась, но и в нашем

квартале он оказался не случайно. Он хотел стать евреем.

— Я все это уже знаю, — вставил я. — Он мне сам рассказывал.

Мирав перевела взгляд с меня на Стюарта.

— Мне продолжать?

— Прошу вас, — сказал он.

Однажды, возвращаясь вместе из магазина, они решили сделать крюк, чтобы подольше поговорить. Грант Артур признался, что не представляет, как можно быть евреем — столько всего нужно знать. Нужно знать Библию. Нужно знать Талмуд. Нужно знать правила — множество правил. Нужно знать историю. Нужно знать, как молиться. И если хочешь делать все по-настоящему, нужно знать иврит. Раньше он думал, что иврит — это такой древний язык, на котором была написана Библия, но рабби рассказал ему, что иврит — это язык Израиля, язык евреев. А ведь еще есть идиш. Знает ли Мирав идиш? В чем разница между ивритом и идишем? «Это совершенно разные языки», — ответила она. «Так ты понимаешь, о чем я говорю? Надо знать два языка, изучать Ветхий Завет, помнить про все праздники, как они начинаются, почему они имеют такое значение — это слишком много!»

«Идиш знать необязательно», — сказала Мирав. «Ничего, я все равно выучу, — ответил он и показал на бунгало неподалеку. — А здесь я живу».

Дом стоял на небольшом травянистом холмике. Под окнами цвели азалии, от ворот ко входу вела дорожка, мощенная плитняком. Это был дом взрослого человека.

— С родителями? — спросила она.

— Нет.

— С кем-то еще?

— Нет. Один.

— Сколько тебе лет? — спросила Мирав.

— Девятнадцать.

Лишь спустя три месяца Мирав набралась храбрости, чтобы подойти к этим воротам и позвонить. К тому времени у входа уже висела мезуза. А пока они почти каждый день возвращались вместе из магазина, выбирая самые длинные пути, и дома мать всякий раз бросала на нее вопросительные взгляды. Мирав ничего не говорила. Она понимала, что родители никогда не примут в семью такого юношу. Ее отец мог одобрить только жениха, родившегося к югу от Уэст-Холливуда, или к северу от Уилшира, или в кибуце на Кинерете. Своим кузинам Мирав все рассказала; их соучастие и вранье помог-

ло Мирав и Гранту скрывать свои отношения от родственников куда дольше, чем можно было вообразить.

— У нас было очень дружное сообщество, — сказала Мирав. — Можно сказать, закрытое. Или даже ограниченное. Все знали друг про друга всё. И подумать только! — Она опять рассмеялась. — Я в него вернулась! — Снова смех. — Но тогда все было иначе. Времена сейчас другие. Тогда еще было живо поколение евреев, родившихся в штетлах. Они не связывались с джонами траволтами. Их менталитет — принцип «гой всегда остается гоем» — сейчас утрачен, даже здесь, в Краун-хайтс. Они и новообращенных-то не очень жаловали.

Начал Грант Артур с того, что стал называть вещи правильными именами: не «церковь», а «храм», не «Ветхий Завет», а «Тора». Он сменил одежду — купил себе простой черный костюм. Перестал бриться. Носил кипу, а позже стал надевать и талит. После окончания школы Мирав начала помогать дяде в магазине, а он целыми днями читал Тору и комментарии к ней. Он все схватывал на лету. Однажды он поприветствовал ее на иврите. Вскоре Грант Артур ушел к другому раввину — рабби Репальски из храма Бет Элохим,

который много знал и с удовольствием рассказывал ему об Израиле. Эта страна поразила его в самое сердце: он захотел там жить. Скорость ее создания не укладывалась в голове. Впрочем, так оно и бывает, думал он, когда шесть миллионов людей становятся жертвами Холокоста.

— Это как на автостраде, — говорил Артур. — Едет огромный грузовик с табличкой «КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ», а сзади — в это сперва невозможно поверить, но вот ты подъезжаешь ближе и понимаешь, что он везет целый дом! Самый настоящий дом едет по автостраде! Вот это и есть Израиль. Дом, который везут по автостраде.

— Я таких не видела, — сказала Мирав. Она еще никогда не ездила по автострадам, хоть и жила в Лос-Анджелесе.

Несколько дней спустя, почитав еще немного, он заявил:

— Мирав, но ведь совсем не Холокост стал причиной создания Израиля. Израиль зародился гораздо раньше. И даже не в качестве религиозного движения. Именно светские евреи, интеллектуалы чувствовали необходимость создания своего государства. Они знали, что хаскала — это смертный приговор. Ты слышала про хаскалу?

Израиль основали люди вроде Мозеса Гесса — Гесс, Пинскер и Герцль.

Про Герцля она слышала, но про остальных нет. Мирав семнадцать лет училась у Ошера Мендельсона, а Грант Артур за считаные месяцы узнал больше, чем она — за долгие годы.

— Суть в том, — сказала она нам спустя тридцать лет, — что у него был блестящий ум. Честное слово, он за полгода почти в совершенстве овладел ивритом. Я была потрясена — и сказала ему об этом. Он ответил: «Если Бен-Йехуда изобрел его за год, почему я не могу выучить его за полгода?» К тому времени он побывал ровно на одном шаббате.

Мирав не могла пригласить его в гости. Не могла познакомить с родителями. Сколько бы он ни изучал Тору, как хорошо бы ни знал иврит, евреем ему не стать. Либерально настроенные раввины, в синагогах которых мужчины и женщины молились вместе, могли провести его через гиюр, но в глазах Ошера Мендельсона, раввина синагоги Шалом Бнаи Исраэль, человека с твердыми убеждениями и хорошей памятью, принадлежавшего к тому поколению, когда пропасть между евреями и неевреями была глубока как никогда, Грант Артур не мог стать евреем,

потому что он им не родился.

Однажды Грант Артур заявил ей:

— Я стану раввином.

К тому времени она уже побывала у него дома. Видела его спальню (внутрь не заходила) и матрас на полу, на котором лежала единственная белая простыня. Никакого другого постельного белья не было, и кроватей других тоже не было. Во второй комнате стоял шезлонг, в третьей — кресло-мешок. В пустых шкафах и буфетах — ничего, кроме нескольких разномастных чашек и тарелок. Эта картина одинокой жизни человека ее возраста долго не шла у нее из головы. Жизнь без кроватей, без мебели, без посуды, без родственников, без дюжины двоюродных братьев и сестер на кухне! После визита к Гранту Артуру на глаза Мирав в самые неожиданные моменты наворачивались слезы — стоило ей подумать о том, что этот юноша сумел обзавестись собственным домом, но был совершенно неспособен его содержать. Поэтому она решила придать его жилищу хоть некое подобие дома: принесла кружевные занавески, менору, покрывало, сервировочное блюдо, два одинаковых бокала. Грант Артур так расчувствовался, что в слезах поцеловал ее. Его никто никогда не любил, сказал он.

Мирав ждала какого-то продолжения, но не дождалась. Его никто никогда не любил, вот и все. Она тоже заплакала и поцеловала его. Всякий раз, покидая его дом — этот приют отшельника, полный книг, — она забирала с собой ритм его дыхания. В физическом смысле она больше никогда не была так близка с другим человеком; казалось, он дышал внутри ее.

Долгое время дом пустовал. Но однажды она вошла и увидела на стене картину Марка Шагала. На картине были корова и скрипка, козлиные головы, темно-синее небо, луна с ореолом, мешанина покосившихся домов, упавший стул, женщина на облаке. Мирав совсем не разбиралась в искусстве, художниках и стилях, но Шагала знала. Отец показывал ей его картины. Еще она знала, что работы Шагала обычно висят в музеях.

— Что она здесь делает?

— Тебе нравится?

— Это оригинал?

— Разумеется!

— Где ты ее взял? Сколько она стоит?

— Ее купила моя бабушка. Ну, то есть моя бабушка умерла, но я купил картину на деньги, которые достались мне по наследству. Как думаешь, твоему отцу понравится?

Мирав попыталась передать шок, который испытала при виде этой картины в пустом, кое-как обставленном доме. Она знала, что Грант Артур — необычный человек; она не знала, что он родился в такой немыслимо богатой семье. Его отец был адвокатом на Манхэттене, а мама — светской львицей. Грант Артур не разговаривал с ними уже больше года.

— Тогда он очень увлекался историей, — сказала нам Мирав. — Штетлы, Пейл. Казаки и татары. Мне было трудно понять, что он в них находит. Они производили на него неизгладимое впечатление. Наполняли его отвращением, жалостью и чем-то еще. Может быть, романтизмом. Нет, конечно, погромы и Холокост он никогда не романтизировал, но все же в ту пору была у него эта странная тяга. Мне кажется, из-за нее он и купил Шагала.

А теперь о том, как Грант Артур попытался произвести впечатление на ее отца. К тому времени он уже поговорил с рабби Бломбергом из семинарии Йад Аврахам о том, чтобы поступить туда сразу после прохождения гиюра. Он соблюдал кашрут, субботу и все 613 заповедей, которых придерживаются ортодоксальные евреи. Он надеялся, что его обращение, прилежная учеба,

интересы и Шагал произведут приятное впечатление на человека, которого он прочил в тести. Да, его мать не еврейка, но даже среди ортодоксии принято считать, что в глазах Господа обращенные и урожденные иудеи равны.

— Какая разница, что принято или как на это смотрит Бог? Отец все равно тебя не одобрит.

Они сидели на дальнем конце нового стола на шестнадцать персон. Грант Артур мечтал, что когда-нибудь за этим столом будут проходить субботние ужины, рядом будет сидеть его жена и все многочисленные родственники.

— То есть в глазах Бога и государства Израиль я — еврей, но в глазах рабби Мендельсона, отца Мирав, я родился гоем и гоем умру? Но это же бред, Мирав! Неужто галаха ничего для него не значит?

— Галаха! Ты меня не слушаешь, Грант. Законы тут ни при чем. Ты хочешь жениться на его дочери. На *дочери*. Мой муж должен быть евреем, то есть родиться от матери-еврейки. А если ты начнешь качать права, смею тебя заверить, он процитирует мицву, запрещающую евреям заключать браки с гоями.

— Я больше не гой.

— Пока ты не предстанешь перед бейт дином —

ты гой.

Миновал год, и хотя Грант Артур еще не прошел гиюра, он носил окладистую бороду, не выходил из дома с непокрытой головой и сделал обрезание. Он разговаривал так, словно был евреем всю жизнь — жизнь, которую целиком посвятил иудаизму.

— Выходит, ему плевать, — спокойно сказал он Мирав, — что я делаю это по собственной воле, охотно, с любовью, что больше всего на свете я люблю евреев, что по-настоящему счастлив я только в шуле, что иудаизм манит меня мудростью и красотой и что я клянусь почитать эту мудрость и красоту до конца своих дней? И ему плевать, что я хочу произвести на свет множество детей — внуков твоему отцу, — которых буду воспитывать в согласии с еврейскими законами и обычаями? Я пришел к этому сам, по собственному желанию, а ты хочешь сказать, что твой отец предпочтет мне любого, самого заурядного еврея, только потому что его мать была еврейкой?

— Знаешь ли ты, перед какими людьми он стоит во время службы? Некоторые из них едва успели вырваться из Европы до прихода нацистов. Один сидел в концлагере. Эти люди

помнят, как их деревни разоряли только потому, что они — евреи. Мой отец приехал из Киева…

— Я это знаю.

— Он видел, что случилось с его семьей — с отцом, дядями. Он был тогда мальчишкой. Ты знаешь историю, Грант, а мой отец ее прожил.

— Это не делает меня недостойным.

— В глазах моего отца и прихожан его синагоги — делает.

— А в твоих глазах?

— В моих — нет. Мы поедем в Израиль. Создадим новую семью.

— И потеряем ту, которая у тебя уже есть?

— Какая разница, если у нас будет собственная?

— Нас не будут приглашать в твой дом. Никаких шаббатов, седеров, семейных праздников. И мне никогда не найдется места в синагоге твоего отца.

— Я его знаю. Он этого никогда не допустит.

— Но ради чего все мои старания, если не ради этого?

Мирав не вполне поняла его вопрос и смутилась. Волнуется ли он, что она потеряет свою семью, или боится каким-то образом потерять ее сам? Но как можно потерять то, что никогда

тебе не принадлежало? Он был знаком с двумя ее кузинами — и только.

В один прекрасный день к его воротам подошел рабби Мендельсон. Он позвонил в звонок и велел позвать дочь.

Они оба долгое время готовились к этой встрече, но оказались не готовы. Отец попросил Мирав познакомить его с молодым человеком, открывшим дверь. Затем спросил, дома ли его родители.

— Мои родители живут в Нью-Йорке, сэр.

— Вы живете один?

Грант Артур кивнул.

— Если это не слишком вас затруднит, можно мне войти в дом?

— Конечно!

Ошер Мендельсон остановился в коридоре и похвалил дом. Он ничего не сказал о скудной обстановке или о Шагале, висевшем на самом видном месте в гостиной. Грант и Мирав молча наблюдали, как он заглядывает в комнату с камином, креслом-мешком и книгами на полу.

— Нельзя ли нам присесть? — спросил раввин.

— Нам вдвоем? Или Мирав тоже?

— Присоединишься к нам, юная леди?

— Если ты этого хочешь, папа.

— Да. Я считаю, так будет лучше.

Они сели за новый обеденный стол, и Грант Артур побежал на кухню за напитками. Он хотел предложить рабби несколько напитков на выбор. Уж что-что, а встречать гостей и устраивать вечеринки он умел — не хуже, чем Мирав умела зажигать свечи с молитвой на устах. Умение это он унаследовал от родителей. Но в холодильнике не было ничего, кроме початой бутылки молока. Поэтому Грант выскочил из дома через заднюю дверь и побежал в магазин (принадлежавший дяде Мирав), где купил три вида сока, два вида содовой, чай и кофе. Но, пока он бегал, задняя дверь захлопнулась от сквозняка, и ему пришлось звонить в переднюю. Конечно, Мирав и ее отец очень удивились: все это время они молча ждали, когда он вернется из кухни. Он еще раз извинился, разложил продукты по местам и спросил, чего они хотят выпить. Мирав ничего не хотела, а ее отец попросил стакан воды.

— Как я понял, — начал раввин, после того как Грант Артур наконец уселся во главе стола, купленного для будущей семьи — раввина и его дочери, — вы знакомы с рабби Юклусом из Анше Эмес.

— Да, сэр.

— Рабби Юклус говорит, что вы хотите стать евреем.

— Да, сэр, хочу.

— Он говорит, у вас блестящий ум. Быть может, вы даже гений. Вы произвели на него неизгладимое впечатление.

— Я целыми днями напролет изучаю иудаизм, сэр. И собираюсь посвятить этому всю жизнь. Надеюсь в будущем последовать примеру еврейских ученых, которыми восхищаюсь больше всего. Это Рабби Акива и Спиноза.

— Благородная цель.

— Я уже немного освоил иврит и читаю Тору минимум по шесть часов в день. Мой любимый поэт — Генрих Гейне. Может, евреем он был не очень хорошим, но стихи писал великолепные.

— Еще я понял, — сказал раввин, — что вы сменили имя, верно? Об этом мне рассказал рабби Бломберг из Йад Аврахам.

— Я сейчас как раз в процессе, рабби Мендельсон.

— И у кого вы учитесь в данный момент?

— У рабби Ротблатта, сэр. Из храма Израиля.

— Ах да, точно. Рабби Ротблатт мне поведал, что сразу после прохождения гиюра вы хотите

поступать в семинарию.

— Да, сэр, я надеюсь однажды стать раввином. Как вы.

— Благородная цель, — повторил раввин. Он сделал глоток воды и поставил стакан на стол. — Очень красивый стол, — восхищенно сказал он.

— Спасибо, сэр.

— И картина на стене — очень хорошая репродукция.

— Это не репродукция, сэр.

Рабби вгляделся в картину и отвел глаза.

— Вы хотите жениться на моей дочери?

— Да, сэр, очень хочу.

— Скажите, — молвил рабби, — могу ли я задать вам несколько вопросов по пройденному материалу? Не поймите меня неправильно, это не допрос. Мы — ваши гости, и я отнюдь не желаю докучать хозяину дома. Я лишь хочу иметь представление о глубине ваших познаний — учитывая, что вы собираетесь стать членом моей семьи.

— Спрашивайте что хотите!

— Вы знаете, что такое седер?

— Седер — это ритуальная трапеза во время праздника Песах, или Пасхи, которой отмечается

годовщина Исхода евреев из Египта и заключение завета между Господом и еврейским народом.

— Вы когда-нибудь бывали на седере?

— Также необходимо добавить, что слово «седер» означает «порядок», и этот порядок расписан в Хаггаде. Я побывал только на одном седере, сэр, по приглашению рабби Гринберга. Это событие изменило мою жизнь.

— Рабби Гринберга?

— Из храма Синая, Лонг-Бич.

— Я с ним не знаком.

— Он был очень добр и пригласил меня на седер, первый в моей жизни седер. Жаль, я не в состоянии передать словами, как много для меня это значило.

— А можете ли вы рассказать мне о Шавуоте? Как вы понимаете этот праздник?

— Шавуот — это праздник, отмечаемый на пятидесятый день омера. Евреи празднуют дарование им Торы на горе Синай при Исходе из Египта. В этом году на праздник Шавуот я всю ночь читал Тору вместе с остальными учениками рабби. Таким образом мы демонстрировали свою любовь к Торе, и могу сказать, что это было одно из самых удивительных событий в моей жизни.

— Вас пригласил рабби Гринберг?

— Нет, сэр. Рабби Мэддокс.

— Вы знаете немало раввинов, — заметил раввин.

— Да, сэр.

Отец Мирав откинулся на спинку стула.

— Разрешите задать вам еще один вопрос. Последний.

— Задавайте, пожалуйста!

— Вы верите в Бога?

Мирав ни разу не пришло в голову задать Гранту Артуру такой вопрос. Он ведь стал евреем! Если не ради Бога, то ради чего?

— Нет, сэр, не верю.

— Не веришь? — переспросила Мирав.

— Вы атеист, не так ли? — добавил раввин.

— Вам рассказал рабби Юклус?

— Юклус, Бломберг, Ротблатт, Мэддокс, Репальски. Все они выступили против прохождения вами гиюра, потому что вы не верите в Бога. Если бы верили, то уже давно стали бы евреем и поступили бы в семинарию.

Он умолк. Все трое смотрели друг на друга в полной тишине.

— Как вы можете верить в Бога, сэр, — спросил Грант Артур раввина, — зная историю своего

народа?

— История моего народа — это история его борьбы за соблюдение Божьего завета, — ответил раввин. — Без Бога мы — никто.

— Но Бог навлек на вас все эти беды!

— Каждый вдох я делаю с мыслью о Боге, — пылко ответил рабби, потеряв остатки напускной невозмутимости. Он держал себя в руках, пока Грант Артур не сообщил ему, раввину, что все его беды — от Бога. Это мгновенно вывело его из себя. — Вам нечего делать в синагоге! — сказал Ошер Мендельсон, поднимаясь из-за стола. — Вы хотите выставить Тору на посмешище.

— Но я не единственный атеист среди евреев!

— Вы — не еврей. И никогда им не станете.

Рабби Мендельсон направился к двери и по дороге сказал дочери, что если она не вернется домой через час, то может не возвращаться вовсе.

— Я впервые встретила человека, отрицавшего существование Бога, — продолжала Мирав тридцать лет спустя, — и он сделал это в присутствии моего отца! Я была бы куда меньше шокирована, если бы он размахнулся и ударил его по лицу. Вы, наверное, думаете, что мне было стыдно перед отцом, что я почувствовала себя

блудницей и потаскухой. Хуже. Гораздо хуже. Странно, правда? Я действительно чувствовала себя опозоренной, но одновременно и обиженной, преданной и… все еще влюбленной. Я была в смятении.

— Вы вернулись домой? — спросил Стюарт.

— Вернулась. Я по-другому взглянула на Гранта, когда он признался, что не верит в Бога. Мгновенное отчуждение. Вам ведь известно, я была замужем и развелась, уж кому как не мне знать, что такое отчуждение! Но в браке оно происходит постепенно. А с Грантом все случилось мгновенно. В моем мире существование Бога было данностью, общепризнанным фактом. Как можно быть хорошим человеком и не верить в Бога?

Однако на следующий день Мирав, несмотря на доводы рассудка, вернулась к источнику своего смятения. Он открыл дверь: густая темная борода, на голове кипа. Самый настоящий еврей. Только теперь он казался ей лишенным некоего стержня, словно актер в костюме еврея, жалкая пародия. Она поняла, что подумал ее отец, когда Грант Артур вчера открыл ему дверь. Зачем он носит эту одежду?!

— Пожалуйста, войди, — сказал он.

— Не могу.

— Прошу тебя! Это была худшая ночь в моей жизни.

— Почему ты так одет?

— Как?

— Как еврей.

— Мирав, умоляю. — Он широко распахнул перед ней дверь.

Входя в его дом, она чувствовала себя Иезавелью у входа в логово Сатаны, где ее растерзают псы, не тронув лишь ноги и кисти рук.

— Я хочу знать почему. Почему ты притворяешься?

— Значит, по-твоему, я притворяюсь?

— А как это называется?

— Это называется «служение».

— Служение? Кому или чему?

— Тебе. Твоему отцу. Еврейскому народу.

— Но евреи не были бы евреями, если бы не служили Господу!

— Евреи остаются евреями, потому что они служат евреям.

— По-моему, ты запутался.

— Мирав, ты хоть понимаешь, сколько всего от меня требуется, чтобы быть евреем? Гораздо больше, чем от твоего отца! Какую я приношу

жертву…

Инстинкты возобладали, и Мирав толкнула его в грудь. Он качнулся назад, но не упал.

— У него есть Киев, и семья, и воспитание! — воскликнул он.

— А у тебя Марк Шагал на стене! — закричала Мирав. — Ты можешь купить все, что захочешь!

— Не все.

Первый инцидент произошел спустя несколько дней, когда он пришел к дому Мендельсонов и стал громко звать раввина.

— Рабби Мендельсон! Рабби Мендельсон! Разве я не следую заповедям, как требует того Бог? Разве не плачу десятину? Разве не соблюдаю пост? Разве не праздную дарование Торы на горе Синай? Разве не сделал я обрезание? Не выучил иврит? Все ради вас! Сменил имя, отпустил волосы! Есть Он или нет, разве в глазах Господа я не стал благочестивым и хорошим человеком? Выгляните в окно и скажите, что вы видите. Чем я не еврей?

Раввин вызвал полицию.

— Почему вы меня не принимаете? — продолжал Грант Артур. — Чем я провинился? Вы любите иудаизм и хотите его защищать? Вам надо стать *христианином*! Выйдите сюда, рабби Мендельсон, ко мне, к христианину, и посмотрите

на евреев со стороны. Эти свечи, озаряющие лица ваших близких, эти стихи, это ваше единство. Вот тогда вы по-настоящему полюбите евреев!

В конце улицы замелькали полицейские огни. Грант Артур не сбежал. Полиция сделала ему строгий выговор и запретила возвращаться к дому Мендельсона.

— Зачем ты изучаешь Тору? — спросила его Мирав. — Зачем напрасно тратишь время?

— Хочешь сказать, без Бога Тора лишена своей красоты? Своей мудрости?

— Но Бог живет на каждой ее странице! В каждой строчке!

— Добродетели евреев — тоже. Их соблазны, причуды, человечность. Их ум, страсть. Их борьба. Их милосердие. Для всего этого не нужен Бог.

— Но именно Бог вдохновляет евреев на все это!

— Величие еврейского народа — в источнике их вдохновения. Но Бог — источник только лишь страха.

В следующий раз, придя к дому Мендельсонов, Грант Артур заранее попросил у раввина прощения за грубость.

— Ответьте: где Он?! — спросил он затем, и его голос свободно влетел в открытые окна. — Пусть

он убьет меня прямо сейчас, если мои действия ему неприятны. Если я не еврей, пусть я сейчас же свалюсь замертво! — Он помолчал. — Что же я не умер? Означает ли это, что я — еврей? Или что Его попросту нет? Или же Он в очередной раз решил постоять в сторонке, пока гой оскорбляет его народ? Сколько оскорблений и обид вы готовы снести, прежде чем отвернетесь от Бога, рабби Мендельсон? Вильяма Норвичского вам было мало? Инквизиции — мало? Погромов, газовых камер — мало? Пусть он убьет меня сию же секунду, если моя ненависть к антисемитам слабее вашей. Пусть он убьет меня сию же секунду, если я не люблю вас как брата. Неужели вы не понимаете, за что я вас люблю, рабби? Или вы слепы, потому что с рождения привыкли закрывать глаза?

На сей раз Грант Артур не стал дожидаться приезда полиции. Они пообещали раввину, что заедут к юноше домой и поговорят с ним, но если раввин больше не хочет его видеть, лучше найти адвоката, подать в суд и добиться защитного предписания.

— Всю жизнь тебе внушали, как это важно — верить, — сказал Грант Артур Мирав. — Твой отец раввин, набожный человек. Ты ходишь

в синагогу, посещаешь занятия, на которых тебя учат бояться Его, любить Его, уважать Его, подчиняться Ему. Я ничуть не удивлен, что теперь ты смотришь на меня как на чужого. В твоих глазах пылает ненависть.

— Какая ненависть? Я ведь пришла, разве нет?

— Ты приходишь на пять-десять минут.

— Но прихожу ведь!

— Не целуешь меня.

— Я не могу тебя целовать, потому что не понимаю тебя, — сказала она.

— Все просто, — ответил Грант Артур. — Господь — это никому не нужный анахронизм.

— Пустые слова. Что они значат?

— Зачем тебе Бог, если у тебя есть иудаизм? Зачем пятнать нечто столь прекрасное?

— Без Бога нет иудаизма!

— Знаешь ли ты, в чем заключается истинный смысл трубления в шофар?

Мирав ненавидела такие вопросы.

— Конечно. Трубный звук шофара возвещает о начале праздников и… пробуждает душу…

— Нет, — перебил ее Грант Артур. — Ты живешь в Лос-Анджелесе, в двадцатом столетии. Трубление в шофар в Лос-Анджелесе двадцатом столетия имеет тот же смысл, что и трубление

в шофар в Гезере или Дивоне эпохи Первого Храма. Испокон веку трубный звук объединяет всех евреев всех времен: лос-анджелесских и гезерских, нью-йоркских и дивонских. Он для людей, а не для Бога.

— Нет. Это не так.

— Почему вы к нему возвращались? — спросил ее Стюарт тридцать лет спустя, в школьной комнате отдыха.

— Не знаю. Меня тянуло, влекло к нему. Я все еще любила. Он солгал мне — или ввел в заблуждение, если выразиться мягче, — и я хотела получить ответы. Я побаивалась его, но все же мне нравилось его слушать, его речи и раньше меня зачаровывали. А теперь он мог говорить откровенно, и ему было что сказать. Я была молода и наивна. Большинство его утверждений шокировали меня и заставляли думать. Так ли обязательно, чтобы мой возлюбленный верил в Бога? Если да, то почему? Потому что я сама верю? А верю ли? Во что я верю? Или же моему избраннику достаточно быть евреем? А он еврей? Он был не похож на других, это я вам могу сказать с уверенностью. Он был настроен решительно. И он хотел меня. Хотел — и соблазнил. Раньше я жила в заточении — и вдруг обнару-

жила, что мне нравятся свободомыслящие люди. Почему я к нему вернулась? Потому что он знал, как меня заставить.

Мирав по-прежнему трудилась в дядином магазине. Однажды в кабинет, где она работала с бумагами, вошел ее отец. Две кузины молча вскочили и вышли из комнаты. Потом вышел и дядя. Отец сел на стул посреди комнаты и долго смотрел на нее, а затем заговорил тихим, вкрадчивым голосом:

— Ты узнала, что он не верующий, и все равно продолжаешь с ним встречаться? — Он умолк, и вся комната погрузилась в тишину. — Он приходит к нашему дому, нарушает наш покой, выставляет нас на посмешище, докучает нам; мы будто вернулись на сто лет назад и живем в гетто! Однако ты по-прежнему порочишь себя и своих родных?

— Все не так просто, папа.

— Ты отдалась мужчине до свадьбы…

— Нет, папа, мы никогда…

— Ты отдалась этому богохульнику, который тебе даже не муж, и продолжаешь с ним встречаться, несмотря на его истинную сущность! Скажи мне, кто он, если не Сатана в обличье еврея?

— Он запутался, папа. Мне кажется, он сбился с пути.

— Он — обманщик, Мирав. Тебе должно хватить ума, чтобы это понять. — Ошер поднялся. — Делай выбор, Мирав. Этот обманщик — или семья. — С этими словами он вышел. Через несколько минут кабинет вновь огласился стрекотом пишущих машинок.

Третий — и последний — визит Грант Артур нанес им в пятницу вечером, после службы и непосредственно перед шаббатним ужином. Семья Мендельсонов сидела за столом, когда за окнами раздался голос Гранта Артура.

— Я тоже хочу праздновать! Хочу быть избранным! Хочу преломлять хлеб вместе с Мендельсонами! Пригласите меня в дом, рабби! Передайте мне свои традиции, и я понесу их дальше! Оставьте мне свои богатства, и я буду охранять их до конца дней! Эй, евреи! Вы хоть понимаете, как вам повезло? У вас есть жены и дочери, отцы и сыновья!

Пока все собравшиеся молча смотрели на силуэт за окном, рабби Мендельсон звонил в полицию. Мирав увидела, что он принес Шагала.

— Разрешите мне купить халу! Позвольте мне петь в миньяне! Читать свиток! Пустите меня

к себе! Вы гоните меня только потому, что в моих жилах течет нееврейская кровь? Ведь по этой же причине тысячи людей унижали и убивали вас! Я не выбирал, в какой семье появиться на свет! Я не виноват! Я люблю евреев! — Грант Артур продолжал вещать до приезда полиции. Когда они приехали, он поднял картину Шагала и закричал: — Я купил ее для вас, рабби Мендельсон! — Он осторожно приставил холст к дереву. — Я видел, как она вам понравилась!

Полицейские вышли из машины и надели на него наручники. Он нарушил предписание, выданное судом два дня назад.

Первые пять месяцев испытательного срока Мирав Мендельсон жила с Грантом Артуром в его доме на углу. Покупала продукты, ездила по всем делам. Обставила дом необходимой мебелью. По пятницам они ходили в синагогу в долине Сан-Фернандо (на это судья выдал ему специальное разрешение), а потом возвращались домой, благословляли друг друга и усаживались за праздничный ужин, после которого пели традиционные песни из сидура.

Но жилось им тяжело, и их отношения были обречены на крах.

С помощью логики и убедительных речей

Грант Артур вынудил ее усомниться в Боге. Путем интеллектуального изматывания показал ей, как хрупка ее вера. Посредством экскурсов в историю продемонстрировал, сколь глупо верить в Бога. Давай вспомним все жестокости и ужасы, постигшие ваш народ, сказал он ей. С каждым днем критическая масса доводов в пользу атеизма нарастала, и через некоторое время Мирав пришла к выводу, что Бога действительно нет. Понемногу, кирпичик за кирпичиком, Грант Артур разрушил стену, которую строили двадцать лет.

Вместе с Богом исчезло и желание вернуться домой. Когда один раз очнешься, к прежним снам и заблуждениям дороги нет. Начинаешь приноравливаться к новой истине, и вскоре горечь в твоем сердце сменяется презрением, говорила нам Мирав.

— Я ужасно обошлась с родными. Наверное, они тоже не лучшим образом обошлись со мной, но их поведение можно было если не оправдать, то хотя бы объяснить многовековыми традициями. Оно было предсказуемо. Мое же поведение нельзя объяснить ничем.

Отказ от веры произошел быстро и жестоко. Очень скоро семена скептицизма, зароненные

Грантом в ее душу, дали всходы, и она начала гадать, почему до сих пор носит одежду, которую ее принуждали носить с незапамятных времен, зачем покрывает голову, посещает службы, зажигает свечи и поет песни. Все это — наравне с сотнями других мелочей — показалось ей нелепым и абсурдным. Грант Артур мог винить только себя. Постепенно она перестала выполнять ритуалы, связывающие ее с прошлым, не находя в них никакого смысла или морального удовлетворения. Такого поворота он не ожидал. Когда она отказывалась покрыть голову, идти с ним в синагогу или покупать еду для шаббатнего ужина, он в ужасе вопрошал ее:

— Зачем ты так с нами?!

— Как? Я ничего не делаю.

— У тебя есть обязательства!

— Перед кем?

— Передо мной. Перед остальными.

— Кто эти остальные? Кого ты здесь видишь?

— Ты еврейка! — вскричал он. — У тебя есть обязательства перед своим народом!

— А что делает меня еврейкой?

— Ты ею родилась!

— А теперь вот выросла. Ответь мне, пожалуйста: что делает меня еврейкой?

Вопрос был не риторический. Грант, будучи атеистом, обратился к иудаизму в поисках чувства причастности и единения, а ритуалы и обряды были необходимы ему, чтобы обогатить и упорядочить одинокую жизнь. Путь Мирав оказался иным. Она пришла к атеизму и обнаружила ничто на том месте, где раньше было все, ветер на месте нерушимого храма и свободу там, где раньше был закон. Она знала, что делает ее еврейкой. В узком смысле — то, что она родилась от матери-еврейки. Но если Бога нет, какое отношение иудаизм имеет к ее *жизни*?

Перестав понимать, что делает ее еврейкой, она окончательно перестала понимать, что делает евреем ее возлюбленного. Однажды — к тому времени они жили вместе уже год, — она вошла в дом и увидела, как он читает Тору — слегка покачиваясь, в кипе, молитвенной шали и филактериях. Обычное зрелище, никогда не вызывавшее у нее вопросов. Раньше она бы и внимания не обратила. Но теперь оно так ее потрясло, что Мирав невольно разинула рот. Подумать только, неверующий нееврей прилежно бубнит еврейскую молитву!

— Что ты делаешь?! — презрительно спросила она.

— Молюсь, — последовал ответ.

— Зачем?

Он не ответил. Мирав не могла свободно подвергать сомнениям мотивы и убеждения Гранта — он ей попросту не разрешал. Но она знала, что он — не еврей. А кто? Недоеврей — только это слово и приходило на ум. Все, что было в его жизни до момента превращения в недоеврея, он отринул. Надел кипу и пережил второе рождение. Ее отец прав, вдруг дошло до нее, пусть они и пришли к этому выводу совершенно разными путями. Он — обманщик и жулик.

— Грант Артур когда-нибудь упоминал в разговорах с вами библейский народ — амаликитян? — спросила Венди.

— Да.

— А ульмов?

— Да. Он заговорил про них после смерти отца. Та поездка в Нью-Йорк сильно его изменила. Он прекратил читать Тору и стал все свободное время проводить в библиотеке. Изучал историю своего рода, генеалогическое древо. Он обнаружил, что принадлежит к некоему древнему вымирающему народу.

Это стало последней каплей. Единственная кузина, которая все еще поддерживала с Мирав

отношения, где-то раздобыла и дала ей взаймы двести долларов. Мирав села в автобус и больше никогда не видела Гранта Артура. В Нью-Йорк она приехала в потертых синих джинсах и дешевой футболке вроде тех, что носила Дебра Уингер в «Городском ковбое» — с пуговицами из искусственного жемчуга.

— Сегодня утром, когда вы рассказывали все это Питу, я хотела задать вам один вопрос, — сказала Венди. — Задам его сейчас: почему вы вернулись к иудаизму?

— О Боже! — воскликнула Мирав. Ее звонкий смех немного разрядил обстановку. — Это ужасно длинная и нудная история. Как бы мне передать ее в двух словах, чтобы вы тут не умерли со скуки? Итак: муж, развод, ошибки, сожаления… Тридцать лет духовной пустоты. — Она опять засмеялась. — Наверное, в конечном счете я поняла, что Грант был прав. Жизнь приятней, когда ты — еврей.

— Теперь поняли, во что вы впутались? — обратился ко мне Стюарт.

— Я ни во что не впутывался.

— Разве?

— Так вы за меня волнуетесь? Все это вы провернули ради меня?

— Отчасти.

— Зачем? Мне казалось, вам нет до меня никакого дела.

— Я борюсь за истину.

— И в чем же истина?

— Вам только что рассказали.

— Я узнал подробности уже известной мне любовной истории. Вы сами слышали — ему было девятнадцать. Несчастный подросток, который всего-навсего искал себя.

— Ну, сейчас-то он уже далеко не подросток, — сказала Венди. — И давно себя нашел.

— Вы хоть знаете, о ком говорите? — спросил я ее, а потом и Стюарта: — А вы?

— Он — вожак подпольной группировки. Злой гений, если хотите.

— Злой гений?! Да он все свободное время проводит в библиотеках и архивах, строя генеалогические древа! Ничего себе злой гений.

— Что ж, мы ввели его в курс дела, — сказала Венди Стюарту. — Моя задача выполнена, до свиданья. — С этими словами она вышла из комнаты.

Стюарт повернулся к Мирав.

— Позвольте нам с Полом поговорить наедине? — попросил он.

— Пожалуйста, — ответила Мирав и тоже вышла.

Мне было очень странно остаться наедине со Стюартом в комнате отдыха ортодоксального религиозного центра в Краун-хайтс.

— Все услышанное вас нисколько не тревожит?

— Я же вам говорил, все это мне известно.

— Все? Он преподнес вам эту историю именно в таком ключе?

Я неловко поерзал на месте.

— Ну, ее версия событий слегка отличается от его версии, — сказал я. — Но так часто бывает.

— Истина — это не просто «версия событий», — сказал Стюарт. — Истина беспристрастна и объективна.

— И вы, стало быть, располагаете истиной в последней инстанции? А вам не кажется, что вы, выбирая между двумя версиями, просто встали на сторону Мирав?

— В чем же разница между этими версиями?

— Во-первых, он сам от нее ушел. Не она уехала, а он. И многое другое не сходится. Артур был ребенком, потерянным и ищущим себя, когда любил Мирав. А нашел он себя лишь после их расставания.

— Вы в это верите?

— Он мне сам это рассказал. Он ни от кого не скрывает историю своей любви.

Стюарт разочарованно посмотрел на меня.

— Что ж, верьте во что хотите. Но страдание — удел не ульмов. Страдание — удел евреев. Это удел погибших и безымянных, сгинувших без вести и давно забытых. Нельзя присвоить себе чужой удел и творить с ним, что захочется. Нельзя превращать его в фарс.

— Я не хотел вас расстроить, честное слово, — сказал я.

— Давайте кое-что проясним: вы здесь вообще ни при чем. Проблема куда глубже и серьезней. Этот человек ушел от реальности. Он нашел в Библии древнюю легенду и превратил ее в миф, а миф теперь выдает за истину. Вот что он делает.

Когда я вернулся домой в тот вечер, как раз начинался пятый иннинг. Я заказал доставку еды, налил себе выпить и дождался конца матча, чтобы перемотать записанную игру и посмотреть ее сначала. Позвонил Мерсеру — уже во второй или в третий раз, — но тот не взял трубку.

После игры я вышел на балкон, прихватив с собой бутылку. Уселся на раскладной стульчик

и стал любоваться Променадом. Если в пятницу вечером ты хочешь почувствовать себя инопланетянином, есть верный способ: выйди на Променад с его прогуливающимися, бомжами и влюбленными парочками. Я налил себе выпить и поднял бокал. За гуляющих. За весь город. «За ваши пикники и солнечные ванны», — сказал я и посмотрел на манхэттенский горизонт, великолепную сияющую громаду на другом берегу. Люди там еще вовсю трудились. «За ваши офисные битвы и коронарные артерии, — обратился я к трудящимся внутри этого улья, — за ваши дизайнерские носки и документы о разводе». В тот вечер я выпил практически за каждого. «За вас, влюбленные парочки, смотрящие на реку с набережной. За ваши фриттаты и домашние порно. За тебя, фотограф с вечной вспышкой, за твой личностный брендинг и неограниченный хостинг файлов. За тебя, прекрасный отрок, уже второй час не расстающийся с я-машинкой». Я пил за всех. Произносил тосты и пил. «За тебя, фанат «Янкиз» в футболке Дерека Джетера, за твои лосьоны после бритья и оправдательный приговор по делу об изнасиловании». Я наливал еще и пил. «За тебя, корпоративный босс, не желающий подбирать за своим шпицем теп-

лое дерьмо, и за всех твоих коллег-трейдеров, бизнес-аналитиков и прочих мудаков: за ваши одинаковые лица и засекреченные номера», — говорил я. «За то, что вы утопили Америку, сволочи! Чтоб вам всем оказаться в камерах, куда крысы приходят подыхать! И за вас, миссис Конвой. За ваши катехизисы и водолазки. За тебя, Эбби. Удачи в новом деле. И за тебя, Конни. За твоего поэта Бена и всех ваших будущих румяных детишек». За дядю Стюарта я пить не стал. О нем, Мирав и Гранте Артуре я старался не думать. Я пил и произносил тосты, чтобы забыть, и продолжал в этом духе до тех пор, пока не вылил в стакан последние капли виски. «Ну, за тебя, придурок на балконе, за твою претенциозность в соусе карри и вполне обоснованный страх умереть от асфиксиофилии. За твое идиотское стремление к обществу людей и добросердечные попытки это стремление удовлетворить. За тебя!»

Я выпил за себя. Видимо, все это я говорил очень громко, потому что моя соседка, тоже вышедшая на балкон, недоуменно таращилась на меня. Я поднял бокал и за нее — она тут же ушла в квартиру. Бутылка закончилась, тосты тоже. Долгое время я просто сидел и почти

неподвижно глазел на яркую претенциозную вывеску VERIZON на верхушке одного из самых высоких небоскребов. Единственный брендированный небоскреб на Манхэттене, чертово пятно на горизонте! И я подумал: ну почему сволочи-террористы не влетели в *это* здание?! Потом я вырубился, а когда очнулся, на Променаде не было уже никого — пусто. Я искал и искал глазами хоть кого-нибудь, ждал и ждал. Вот сейчас люди валом повалят, потерпи еще немного… Но никто не шел. Что за страшный час и почему я очнулся именно теперь? Где они — незнакомцы, за которых я пил? Глупо чувствовать себя брошенным незнакомцами, но именно так я себя и чувствовал. Никогда прежде я не видел Променад столь безлюдным, столь бесповоротно пустым; вместо оживленной и всегда шумной улицы одного из крупнейших городов на Земле я вдруг оказался в некой колонии на Луне, безмолвно плывущей в черном космосе, причем я был единственным ее обитателем. Все это я понял буквально в первую же секунду после пробуждения, и эта секунда была невыносима. Я чувствовал себя покинутым, забытым, никому не нужным. Мне казалось, что все важное и нужное уже было сделано, пока я спал, и теперь, когда я проснулся,

на свете больше не осталось никаких важных и нужных дел. Единственный выход из подобной отчаянной ситуации — найти себе занятие, причем сию же секунду. Первым желанием было достать из кармана я-машинку. Она мгновенно соединяла меня с миром, давала ощущение осмысленности происходящего. Может, мне звонила или писала Конни, или Мерсер, или… Нет. Никто не звонил и не писал. Я готов был практически на все, лишь бы вернуть их — праздных гуляк и влюбленных на Променаде, — чтобы прогуливаться рядом с ними, глазеть мечтательно на горизонт и осторожно слизывать подтаявшее мороженое, а потом пойти домой и проспать семь часов подряд — или нет, не домой, можно еще принять одно из предложений этого города, то единственное и незабвенное, ради чего можно не спать всю ночь и получать от этого удовольствие, — и проснуться не затемно, а на рассвете, и опять выйти на Променад, омытый утренним солнцем, съесть какую-нибудь выпечку на завтрак и выпить кофе на одной из скамеек, глядя на бликующие волны. О, вернитесь, скрывшиеся в ночи! Вернитесь, призраки! Мне и днем-то туго. Не бросайте меня наедине с ночью!

Наконец-то я заставил себя пошевелиться. Вы-

прямился и прислушался. Я услышал гул реки, и острова на другом берегу, и беспорядочный рев последних машин, мчавшихся по скоростной магистрали внизу. Могу лишь предположить, какое действие произвели на меня эти звуки: я почувствовал, что моя жизнь — и жизнь города, и все радостные, приятные мгновения этой жизни — лишена всякого смысла.

Глава десятая

— Ну вот, молодой человек, — сказал Зукхарт, вручая мне книгу.

Я взял ее, осмотрел, повертел в руках. На черной потертой кожаной обложке не было никаких опознавательных признаков — ни автора, ни названия. Я раскрыл книгу. Древний корешок захрустел, как орех. Судя по всему, издание действительно было очень старое. Книга сама собой раскрылась на кантонменте 240 — или на чем-то под номером 240, поскольку прочесть эти странные загогулины я не мог. Я провел пальцем по шву, скреплявшему страницы, но разбирать слова даже не пытался.

— Что думаете? — спросил Зукхарт.

— Откуда вы знаете, что это подлинник?

— Да вы только посмотрите на нее! Я такой диковинной книги в жизни не видел! Не узнаю ни одного имени. Сафек, Ульмет, Ривам… Такое чувство, что эта книга пробурилась к нам прямо из центра Земли.

— Она на идише?

Он кивнул.

— И вы можете доказать, что ей много лет?

— Сто пятьдесят, не меньше.

— Как в этом можно убедиться?

— Вы мне не доверяете? — оскорбился он.

— Ладно, неважно, — сказал я.

Уходя от Зукхарта, я зачем-то — может, по привычке, попросил у него пакет. Он достал свой завтрак — банан и йогурт — и отдал мне освободившийся пакетик из продуктового «Хоул фудс». В нем я и понес книгу.

Разве я не был честен с тобой с самого начала? — спросил он. — *Разве не рассказал тебе про Мирав? И разве не говорил я, что увлекся этой девушкой еще до того, как узнал правду о своем наследии — нашем наследии? Да, я влюбился, да, я заинтересовался иудаизмом. Но это была ошибка, Пол. Я направил свою страсть не в то русло.*

Приезжай, Пол, и увидишь все своими глазами. Пройдешь генетический тест, получишь последнюю крупицу семейной истории. Верь нам, а не им.

Утром следующего понедельника началась процедура уничтожения «ПМ Капитал», и Пит Мерсер ушел с фондового рынка. Он распродал все активы и вернул деньги клиентам — с изрядными процентами, если верить «Уолл-стрит-джорнэл».

В той же статье говорилось, что с начала Великой рецессии каждый второй доллар его фонда был вложен в золото.

На мои сообщения и звонки Мерсер не отвечал.

Что же он будет делать? — гадал я, читая о нем в новостях. Теперь, когда все модели разрушены, все портфели ликвидированы, трейдеры отправлены домой, столы опустошены и мониторы выключены — что будет делать этот человек?

«Уолл-стрит-джорнэл» выяснил, что его личная прибыль после закрытия корпорации составила примерно 4,9 миллиарда долларов. Значит, ответ ясен: делать он может все, что взбредет в голову. За такими деньгами нужен присмотр. Возможно, подумал я, он просто хочет делать это из дома, в окружении компьютеров и мониторов. Ни на минуту не покидать наблюдательного пункта — и из эксцентричного богача превратиться в самого настоящего затворника. А может, он последует примеру американских нуворишей, нынешних миллиардеров, разбогатевших на техническом прогрессе: начнет хвататься за все, что попадется под руку, скупать яхты, футбольные команды, вложит кучу денег в уничтожение малярии. Или же станет дауншифтером: на-

денет новые туристические ботинки, рюкзак и отправится в путешествие по Индии, Непалу и Тибету, будет сидеть у ног золотых Будд и на холмах, с которых открывается вид на заснеженные горные вершины. Несмотря на языковые и культурные барьеры, однажды он обретет то, что ускользало от него все эти годы протирания штанов за письменным столом: душевный покой. Его великолепное финансовое прошлое вскоре забудется, превратившись в слабый отголосок где-то в самом низу цепочки кармических перерождений. Или он женится, заведет детей и посвятит дни тому, что определяет жизнь большинства людей его возраста: пеленкам, детским праздникам и прогулкам в парке. Предаваясь этим безыскусным радостям, он наконец обретет свое место в жизни — к собственному бесконечному удивлению. Или же отправится в Израиль, как и говорил. Может, эти планы еще в силе. Он превратит Сеир в пригодное для жизни место, даже роскошное. В конце концов, чего не сделаешь на пять миллиардов долларов? Можно в прямом смысле слова изменить мир.

Но я не знал, как именно он поступит, потому что не успел близко с ним познакомиться. Мы дважды обедали и один раз напились в ба-

ре, с каждой встречей он открывался мне чуть больше. Меня потрясла глубина его отчаяния. Он мог бы отдавать приказы, плести интриги, строить козни, завоевывать, владеть, брать, одалживать и давить, с головой окунуться в мир непристойного богатства. Но на обед он предпочитал дешевую дрянь из фастфудов. Мечтая о дыре, пропахшей козлиной мочой, он отказался от Пикассо. И ему ничего не стоило напиться в дешевом баре с сомнительным собутыльником вроде меня. Он считал, у нас есть что-то общее. Может, так оно и было. Но его решение застало меня врасплох. Услышав историю Мирав и уничтожив свой фонд, он не начал транжирить деньги и не обзавелся семьей. Он купил пистолет, пошел в лес и застрелился. Этим поступком — отнюдь не эксцентричным, не продуманным, не милосердным, не безбашенным — он продемонстрировал всю глубину охватившего его отчаяния. Труп Мерсера нашли дети, которые гуляли в лесу и услышали выстрел.

Новость о его самоубийстве я прочитал с телефона, в перерыве между приемами. После этого я выбрел в коридор, подошел к Коннину столу и сел рядом. Она наводила порядок в стаканах для шариковых ручек: надевала

на них соответствующие колпачки и выбрасывала те, что остались без колпачков, пересохли или насобирали дряни на шарик. Выглядела она очень сосредоточенной и деловитой. Конни вообще всегда выглядит как нормальный человек, но под этим шикарным экстерьером живут и ежедневно плодятся мелкие патологии. Я стал ждать, когда она спросит, зачем я пожаловал. Так и буду ее донимать? Подстерегать в углах? Чего мне надо? Я держал в руках я-машинку и не мог выдавить ни слова. Новость о смерти Мерсера никак не укладывалась в голове. Всего две недели назад мы с ним сидели в баре, рядышком, вот как сейчас с Конни. Он рассказывал про ад, в котором жил до появления Гранта Артура — тот наконец-то указал ему на источник его неприкаянности. Видимо, после встречи с Мирав Мендельсон он разочаровался в ульмах. Но почему? Он ведь уже знал про Мирав, Грант Артур ему сам все рассказывал. «Это первое, что он рассказывает людям о себе», — были его слова в тот вечер, когда мы пили в баре, и я спросил его про несчастную любовь Гранта Артура к дочери раввина. Грант Артур ни от кого не скрывал историю своей любви. Именно такая любовь, пылкая и безрассудная, — симптом духовного голодания,

от которого страдают все люди его племени. Разве не та же судьба постигла самого Мерсера, когда он влюбился в зороастрийку? Я намеревался обсудить все это с Конни, когда подсел к ней за стол, но я по-прежнему молчал как рыба, а она будто и вовсе меня не замечала, увлеченная сортировкой ручек в стакане — делом безусловно важным и давно откладываемым в дальний ящик. Я наблюдал за ней, но не слишком внимательно. Мерсер дал Венди четкое указание: познакомить меня с Мирав, чтобы я услышал ее историю собственными ушами. После этого я с ним не виделся. Думал ли он, что оказывает мне добрую услугу? Хотел ли он открыть мне глаза на правду? И что мне теперь делать с этой так называемой «правдой» — пойти в лес и застрелиться?

Уж сейчас-то Конни могла хотя бы повернуться и спросить: «В чем дело?» Или даже раздраженно выпалить: «Ну что еще?!» — потом обернуться, увидеть мое потрясенное лицо и спросить уже мягче: «Что случилось?» Но она не оборачивалась, и я молчал. На работе люди обычно застрахованы от полного одиночества, однако сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что в тот день рядом с Конни почувствовал себя не лучше, чем в ночи над пустым Променадом: стряслось

что-то страшное, внезапное и бесповоротное, а я был совсем один. Выкарабкивайся как хочешь. Наверное, именно такое абсолютное одиночество чувствовал Мерсер, когда лег на твердую землю с дулом во рту; в самом конце этот болван, наверное, стал гадать, кто будет по нему скучать, решил, что по-настоящему никто не будет, и с этой мыслью спустил курок. С такой ли мыслью застрелился мой отец? Мог ли я помочь Мерсеру? Наверно, перед расставанием в баре мне стоило крепко схватить его за руку и сипло прошептать: «Сомневайся! Несмотря ни на что! Этот парень открыл некую метафизическую истину — плевать, как он это сделал! Верь ему! Почему бы и нет? Какой у тебя есть выбор? Самоубийство?»

Видимо, никакие мои действия сейчас не привлекли бы внимание Конни (впрочем, я не предпринимал ничего и, наверно, больше не хотел ее внимания). Я пришел к ней не просто поделиться плохой новостью — мне хотелось ощутить ее физическую близость. Ничью другую близость я в тот момент ощутить не мог. Да, была еще миссис Конвой, но та бы неизбежно зациклилась на характере Мерсеровой смерти, ведь самоубийство в ее глазах было смертным грехом,

заслуживающим только вечных мук, а я не хотел сейчас так издеваться над памятью Мерсера. Но главное, мне хотелось побыть рядом с Конни, потому что всей своей сутью, душой и телом, она отрицала смерть. Ее харизма, ее кудряшки, маленькая венка на виске, пульсировавшая железом и теплом, — Конни на каком-то примитивном уровне убеждала меня, что Мерсер совершил глупейшую ошибку. Я находил утешение в ее близости, в шорохе ее кожи, в аромате ее волос, в колеблющемся запахе ее тела, в оцепенелой улыбке, в веселье ее речей, в пусковых механизмах ее мыслительной деятельности. Разговором с Конни я хотел сгладить холодность и остроту внезапного известия. Откуда мне было знать, что я онемею, а она, увлеченная подавлением бунта в стаканах для ручек — сперва в одном, затем во втором, — даже не обернется? В тот миг ни одно из проявлений ее физической красоты не смогло завладеть моим вниманием настолько, чтобы смягчить удар. Ее красота казалась бессмысленной, бесполезной в данном случае и, что еще хуже, недейственной; она словно потеряла свою силу, свою власть надо мной. Неужели он действительно пошел в лес и покончил с жизнью, когда впереди еще было столько

всего? Не так уж это и трудно — жить дальше. Просто делай что-нибудь, подумал я. Займи руки и мозг, игнорируй, действуй вопреки. Но он не хотел просто *действовать*. Он хотел *быть* кем-то: буддистом, христианином, ульмом, да кем угодно, лишь бы чувствовать, что он не один на этом свете, что у него есть единомышленники, такие же заблудшие души, потерявшие себя — и в конечном итоге нашедшие. А когда на свете не осталось никого, кроме Пита Мерсера с чудесным даром делать деньги, он отправился в лес с заряженным пистолетом. Но почему не раньше? Почему теперь, после появления Мирав Мендельсон, а не после расставания с зороастрийкой или разочарования в Киото, в «реканалировании»? Его добила критическая масса разочарований и заблуждений. Деньги, возможности и время — все это ничего не стоит без воли. Воля — это все, а Мерсер свою потерял.

Конни до сих пор молчала, и я тоже, хотя мы сидели совсем рядом, как тогда в баре с Мерсером. Наша с ним дружба только начиналась, а теперь вот погрузилась в мертвую тишину — сродни той тишине, что стояла сейчас между мной и Конни. Я пришел к ней, чтобы снять с души бремя, чтобы с помощью одного-единственного

взгляда на нее подкрепить все свои аргументы против самоубийства… и еще по одной причине, более примитивной и инстинктивной, чем даже моя нужда увидеть ее. В то время я еще не сознавал этой причины в полной мере, но сейчас она для меня очевидна. Я испытывал острую необходимость поместить в свою орбиту другого человека, убедиться в собственном существовании через присутствие и близость кого-то еще, протянуть руку и дотронуться, разозлить ее, льстить ей, докучать, умолять, напрашиваться на оскорбления — что угодно, лишь бы знать, что я еще жив и не один. Однако за все это время — прошло уже минуты четыре или пять — мы не обменялись ни единым словом. Внезапно Конни оторвалась от кружки с ручками, крутнулась на стуле и громко чихнула себе в локоть. Замерла, готовясь ко второму чиху — она всегда чихала два раза подряд, — снова чихнула и стала искать платок, но не нашла. Тогда она встала и ушла в уборную. Дверь за ней закрылась, и через минуту я вернулся к пациенту, гадая, заметила ли она вообще мое присутствие. Ведь мы сидели почти вплотную… Что за стена выросла между нами в эти четыре-пять минут? Когда мы успели стать настолько чужими друг другу? В тот миг мне

показалось, что живых людей порой разделяют столь же непроницаемые преграды, как и те, что отделяют живых от мертвых.

А потом случилось нечто удивительное; я мигом выбросил из головы все черные мысли и едва не побежал обратно к Конни, чтобы выкрикнуть ее имя и вернуть нас обоих к жизни.

Когда я вошел в кабинет, пациентка сразу сообщила мне, что беременна. Живот только-только начинал расти, но ее румяные круглые щеки говорили сами за себя. Новая, пухлая и упругая кровь стучала в венках на ее шее. Она светилась, как спелое яблоко.

Ничего не могу с собой поделать: мне нравятся беременные. Если только они не страдают от недоедания. Иногда я вижу в метро таких тощих девушек с огромным животом и руками-палками — сразу хочется купить им обогреватель. Хочется наорать на их родителей. Помню, однажды я даже подошел к такой голодающей беременной и спросил, не откажется ли она от бесплатного обеда в «Джуниорс». Она была в потрясении: приставать в метро к беременной женщине с обручальным кольцом на пальце! Вообще-то кольца я не заметил. Хотя оно было очень даже заметное. Я попытался объяснить,

что не пристаю к ней, а предлагаю бесплатную еду. Может, она возьмет хотя бы пятьдесят баксов — купит себе подсолнечного масла? Она окончательно рассвирепела. Выяснилось, что она — известная фотомодель, я не раз видел ее на рекламных щитах.

Я спросил пациентку, когда ей рожать. В апреле. Тогда я попросил ее широко открыть рот. Выстукал в одном из зубов зарождающийся кариес.

— Так больно? — спросил я.

— Нет.

— Вероятно, здесь у вас начинается кариес, — сказал я, — но лечение мы отложим до апреля, до родов. Если вам сейчас не больно, то и волноваться не о чем.

Ну-ну, подумал я, слушая самого себя. «Если сейчас не больно, то и волноваться не о чем»! А что, времени полно. Поволнуешься позже. А до тех пор лови кайф. У тебя впереди столько радостного и прекрасного. В самом деле: ты полна здоровья, скоро ты дашь начало новой жизни. Какой смысл зацикливаться на всяком дерьме?

Так устроено большинство людей. Я стал думать, как большинство людей! Я сжился с этой мыслью всей душой, подумал ее сам! Она мне

больше не чужая, она — моя! Моя-моя-моя. Боясь ее упустить, я снова взял в руки зубной зонд, якобы с целью еще раз убедиться, что все в порядке, а на самом деле — чтобы окончательно присвоить ценную мысль. Проникнуться ею насквозь. Люди, которым приходят в голову такие мысли, обычные нормальные люди, выгуливающие собак, обновляющие статусы в соцсетях и откладывающие визит к стоматологу, без труда закрывают глаза на неизбежное. Будь что будет! А некоторые из них, как тот руководитель коммерческой службы, не забивают себе голову даже тем, что уже нагрянуло. Если он пока не чувствует кариеса, значит, лечить его не надо. Если пациентка беременна, стоит отложить лечение до апреля. Если человек не хочет сегодня чистить зубы нитью, так и черт с ним, почистит в другой раз. Не желаешь слушать нотации врача о том, как ты запустил свое здоровье? Ну так не ходи к врачу, загляни в бар или посмотри кино. Погладь собаку. Роди ребенка и иди любуйся, как он сладко спит в колыбельке. Господи, подумал я. Так вот как они мыслят! Вот почему им так привольно живется! Как же все просто!

— Я отойду на минутку, хорошо? — сказал я пациентке и встал с намерением побежать

к Конни, но она уже стояла в дверях кабинета и смотрела прямо на меня.

— Что-то случилось? — спросил я.

— Нет.

— Что ты тогда здесь делаешь?

— Ничего.

— Просто стоишь и ничего не делаешь? Ну-ну.

— Обсудим это позже.

— «Это»? Значит, есть что обсуждать?

— Позже.

— Нет, сейчас!

— У тебя пациентка. Разговоры подождут.

— Я с ней закончил. Она здоровее и живее всех живых. Об этом я и хотел тебе сказать. Знаю, ты терпеть не можешь, когда я тащу тебя в кабинет и показываю пациентов, но на сей раз я хочу показать не болезнь, не старость и не смерть. Ты только взгляни на нее! Видела когда-нибудь такого здорового и счастливого человека?

Конни заглянула в кабинет.

— Я что-то упустила?

— Разве ты не видишь?

— Я вижу женщину на стоматологическом кресле.

— Она беременна! Разве не видно? Ладно, поверь мне на слово. Фишка в том, как она со-

бирается поступить со своими зубами. У нее намечается кариес, но она решила пролечить его уже после родов.

— Вроде бы так и положено.

— Для беременных — конечно. Но не для всех остальных.

— Не понимаю.

— Почему мы все не можем жить по тому же принципу? — спросил я. — Почему не можем плыть по течению? Выгуливать собак, писать в Твиттер, есть булочки с изюмом, кататься на велосипеде, любоваться закатом, скачивать фильмы и никогда ни о чем не волноваться! Я не знал, что это так просто! Не знал до этой самой минуты. Кто же не способен на такое? Разве что психически больной, а я — не психически больной!

Она взглянула на меня.

— Я не больной, — повторил я. — Слушай, окажи мне услугу. Сходи со мной в ресторан. В смысле, на свидание. Дай мне второй шанс. Нет, какой по счету? Шестой! Я изменился, я теперь другой человек. Ей-богу! А хочешь, не будет никаких свиданий? Давай сразу поженимся. Я готов. Честное слово, готов. Что это за взгляд? Что за взгляд, Конни? Я серьезно! Я хочу взять

тебя в жены! Нарожать детей. Знаю, раньше я не хотел иметь детей, но то было раньше. А сейчас я все понял. Я хочу, чтобы ты была такой же здоровой и счастливой, как эта девушка.

— Я увольняюсь, Пол, — сказала Конни.

— Что… что?

— Увольняюсь.

Наступила тишина.

— Увольняешься? Почему?

— Тебе обязательно знать?

— Но ты мой офис-менеджер! И я люблю тебя!

Она не ответила.

— Ушам своим не верю. А как же все, что я только что говорил? Ты не дашь мне шанса?

На ее губах мелькнула и исчезла улыбка — из тех, что выводят тебя из себя, когда вспоминаешь о них позже. Терпеть не могу такие улыбки, вот эти сочувственные взгляды и мягкие объятья.

— Давай все выясним и обсудим, — сказала она. — А потом я начну подыскивать себе замену.

Остаток дня я бродил по клинике как зомби. Уже через час после нашего разговора Конни разместила в Интернете объявление и к концу недели выбрала полдюжины кандидаток.

Отговорить ее было невозможно. Они с Беном переезжали в Филадельфию. Он преподавал там поэзию.

— Ты уверена, что поступаешь правильно?

— Уверена. Будешь смотреть резюме?

— Ты действительно этого хочешь? Жить с поэтом?

— Да.

— С электрической плиткой? И вшами?

— Какой еще плиткой? Ты о чем?

— Он хоть сможет платить за квартиру?

— Ты будешь читать резюме или нет?

Вечером я пошел домой и смотрел бейсбол. Я пропустил кучу матчей за август и половину сентября. Чтобы посмотреть все пропущенные и взяться за новые, я должен был целиком и полностью посвятить себя бейсболу. До середины ночи я пил, ел доставленную еду и один за другим смотрел матчи.

— У меня больше нет времени, Пол, — заявила она ближе к концу сентября. — Я уволилась. Мне пора уезжать. Ты будешь читать резюме — или мне самой заняться?

— Буду, — ответил я.

Но так ни одного и не прочитал.

Лето выдалось хорошее, весь июль и большую

часть августа «Ред Сокс» уверенно обходили «Янкиз». Мы видели героическое выступление Педроя и Эллсбери, и, несмотря на травмы, питчеры играли уверенно. В начале сентября никто не сомневался, что мы займем первое место в дивизионе и примем участие не в первой, не во второй, а в третьей мировой серии за семь лет. Но потом вступил в силу некий древний вселенский заговор.

Первого сентября мы обходили «Янкиз» на полигры. Второго сентября мы потеряли это преимущество навсегда. Но вайлдкард, дававший место в плей-офф, фактически оставался за нами, потому что на Третье сентября мы надежно занимали второе место в восточном дивизионе Американской Лиги, на девять игр опережая «Тампа бей рейз». От нас требовалось только одно — не выпускать вперед этих середнячков. Чтобы выпустить их вперед, за оставшиеся три недели чемпионата мы должны были выдать худшую концовку сезона в истории бейсбола.

Следя за бейсболом, ты словно наблюдаешь за медленным рождением чего-то прекрасного. На твоих глазах незначительные и случайные события понемногу накапливаются и вдруг превращаются в эпическое действо, напряженное

и захватывающее. Игра мучительно тянется почти до самого конца, а потом ты вдруг ловишь себя на том, что дивишься неожиданному и стремительному развитию событий и гадаешь, чем все закончится. Это сонное, неторопливое превращение скучного в неописуемо прекрасное.

К концу сентября мы начали играть так скверно, что в общем зачете нас обошли даже последние лохи — «Рейз». Перед последним туром мы с «Рейз» делили второе место. Я по-прежнему не знаю, как мне относиться к нашей игре в конце того сезона. Каждое новое поражение команды вызывало у меня физическую тошноту. Но то была не единственная моя реакция. Как же я радовался, что «Ред Сокс» вновь стали самими собой — проклятым и убогим народом. Я не хотел, чтобы моя команда проигрывала, но еще меньше мне хотелось, чтобы они принимали победу как должное. У нас уже есть одна такая команда, спасибо, достаточно. Как фанат «Ред Сокс» я чувствовал, что мой долг — не позволить любимой команде уподобиться «Нью-Йорк янкиз», причем для меня это был вопрос морали и человеческой порядочности. Нам — истинным фанатам бостонцев — не хватало этих дней неопределенности,

трясучки, хронического разочарования. Нашу любовь слишком давно не испытывали на прочность. Я хотел вновь стать фанатом «Ред Сокс», самым лучшим из фанатов, и единственным способом это сделать было отпраздновать — тихо и печально, — наше такое неянковское поражение в сентябре 2011-го.

В ту пору я каждый вечер навещал своего нового пациента. Мы с вами можем позволить себе не пользоваться зубной нитью каждый день — конечно, последствия будут, но зубов мы не лишимся. С Эдди было по-другому. Я не мог смотреть на него без слез: казалось, он вот-вот испустит дух, такой он был хлипкий, тонкий, искореженный, трясущийся, весь покрытый печеночными пятнами. Меня он встречал неизменной благодарной улыбкой. Думаю, я нравился ему почти так же, как его прежний стоматолог, доктор Раппопорт. Мы шли на кухню, где он присаживался на стремянку. Я вставал сзади, надевал перчатки, вытягивал из коробочки с нитью отрезок нужной длины и принимался за работу. После чистки он вставал и делал нам мартини. Все равно что заглянуть в бар и пропустить рюмочку на сон грядущий — только вместо чаевых бармену я удалял ему бактерии из десневых

карманов.

Теперь, спустя шесть недель ежедневных чисток зубной нитью, кровоточивость исчезла. Потеря костной ткани прекратилась. Десны стали крепкими.

Я понятия не имел, во что ввязываюсь, когда согласился на эти ежевечерние визиты, не оплачиваемые никакими страховыми службами. Последняя игра сезона должна была начаться через двадцать минут. Если я пропущу первый бросок, придется ждать конца игры, перематывать кассету и смотреть все с начала, а эта игра была очень важна, я никак не мог пропустить трансляцию! Из клиники я ушел поздно, поезда ходили медленно, и без десяти семь я все еще был в квартире Эдди в Нижнем Ист-Сайде.

Он вручил мне мартини.

— Ваше здоровье! — сказал он.

Мы выпили. Я наблюдал, как трясущейся рукой он пытается поднести стакан к нижней губе и сделать глоток.

— Я в некотором замешательстве, Эдди, — сказал я ему. — Видите ли, я фанат бейсбола и в частности… — я притронулся к козырьку своей бейсболки с логотипом «Ред Сокс», — вот этих самых ребят. Не знаю, смотрите ли вы бейсбол,

но если смотрите, то должны знать, что после удачного старта ни одна команда в истории спорта не проваливалась с таким треском за последний месяц сезона, как провалились «Бостон ред сокс» в этом году. Это поистине историческое событие. Они обыграли «Янкиз», а потом — в самый ответственный момент — позволили им перехватить первенство. В общем-то, это уже стало традицией, о чем вы наверняка знаете, если смотрите бейсбол. Это еще не конец света, и лично я не имею ничего против такого развития событий: люблю, когда мы вылезаем из болота и бьем «Янкиз» на глазах изумленной публики. К тому же мы были на девять игр впереди «Тампа бей рейз» — по-настоящему дерьмовой команды. За последний месяц сезона нам нужно было проиграть… в общем, единственной командой, которая потерпела примерно столько же поражений подряд, была «Чикаго кабс» в 1969 году. Почти с начала сезона они занимали первое место в общем зачете, иногда опережали соперников на девять игр. Никто не ожидал, что в сентябре 1969-го они проиграют семнадцать игр подряд — семнадцать игр, Эдди! — и окажутся на втором месте. Как вы несомненно знаете, если смотрите бейсбол, никто не играет хуже,

чем «Кабс». Перехожу к сути: мы догнали и перегнали «Кабс»: мы проиграли *девятнадцать* игр! Девятнадцать игр, Эдди! А говнокоманда «Рейз» выбралась из отстойника и делит с нами одно место. Мы делим одно место с говнокомандой «Рейз»! И сегодня мы играем последнюю игру регулярного сезона с занимающими последнее место «Ориолс» в Балтиморе, а «Рейз» проводят свою последнюю игру против занимающих первое место «Янкиз». Если мы победим, а «Рейз» проиграют, мы попадаем в плей-офф. Если мы проиграем, а «Рейз» победят, «Рейз» попадают в плей-офф. Вполне возможно, что сегодня мы играем последний матч сезона. Поезда в такой час ходят медленно, и я могу не успеть домой к началу игры — а я должен посмотреть ее с самого начала, есть у меня такая примета.

Несмотря на легкую дрожь в теле, Эдди смотрел на меня уверенно, широко открытыми — как у младенца — глазами.

— Поэтому я вынужден просить вас об услуге. У вас есть кабельное? Если да, то какой у вас пакет каналов? Могу ли я посмотреть оба матча здесь — матч «Ред Сокс» и матч «Янкиз»? Мне очень важно, чтобы вы не выгнали меня посреди игры, даже если случится пожар или вы

сочтете мое поведение подозрительным. Даже если назначат дополнительные иннинги и я просижу здесь до трех-четырех утра. Что скажете?

— У меня премиальный пакет, — продрожал Эдди, — и я буду очень рад компании.

— Несмотря ни на что?

— Несмотря ни на что.

— Хорошо. Тогда у нас есть двадцать минут на поиски курицы с рисом.

Пока я бегал за едой, он сделал нам еще мартини. Мы быстро поели. Перед самым началом игры Эдди уселся в кресло, а я занял место на полу, поближе к телевизору. Примерно в середине второго иннинга он развернул карамельку, сунул ее в рот и тут же заснул. Я не мог смотреть, как после нескольких недель ежедневных чисток его зубы купаются в сахаре. Зрелище меня угнетало. Во время следующей рекламы я надел перчатку, вытащил леденец и выбросил его — Эдди даже не шелохнулся.

Затем я сел обратно, взял незнакомый пульт и продолжил смотреть два матча одновременно, переключаясь между «Ред Сокс» и «Янкиз». Подумать только, я болел за «Янкиз»! Это убивало меня, но выбора не было: чтобы перейти в плей-офф, «Янкиз» дожны были одержать

победу над «Рейз», а «Ред Сокс» должны были оставить позади «Ориолс». В такой ситуации я, разумеется, желал бостонцам победы, и только победы. Их победа стала бы победой моего отца. Хотя что толку? Даже победа в Мировой серии 2004 года его не вернула. А ведь какое эпохальное событие! Мы совершили невозможное, стали чемпионами спустя 86 лет и… ничего не изменилось. Отца не было, он по-прежнему лежал в могиле. А на что я надеялся? Зачем столько лет болел за бостонцев?

В третьем иннинге «Ред Сокс» заработали очко, и я заорал. Эдди испуганно подскочил и уставился на меня недоуменным взглядом. Видимо, он пытался понять, кто я такой и что делаю у него дома. Несколько минут спустя счет был уже 2:1 в пользу «Ориолс». Я сидел на месте, слегка покачиваясь. Потом настал черед бостонцев. В четвертом иннинге Скутаро принес нам очко, затем Педроя ударом в левую дальнюю часть площадки заработал хоум-ран и вывел нас вперед: 3:2. Тем временем «Янкиз» размазывали по стенке «Рейз». Пока все шло хорошо.

Будь мой отец жив, он бы выписывал все очки на карточку. Он начал делать это еще в детстве, когда слушал трансляции с Джимом Бриттом

по радиоприемнику «Зенит Консольтоне». Во время матчей я иногда доставал его старые карточки и водил пальцами по карандашным меткам и цифрам, сделанным мальчишеской рукой — задолго до того, как у него начались проблемы со здоровьем. История бейсбола, записанная рукой мертвеца.

В конце пятого иннинга я подошел к Эдди. Он спал и что-то бубнил во сне. Я приблизил ухо к его губам. «Соня… Соня», — говорил он.

— Эдди, — сказал я. — Эдди, проснитесь.

Он открыл глаза и вновь с удивлением осмотрел мое лицо.

— Уже почти шестой иннинг. Я сейчас отойду в другую комнату. Никогда не смотрю шестой иннинг. Вы должны посмотреть его за меня и все потом рассказать. Сможете?

— Кто вы?

— Доктор О'Рурк, ваш новый стоматолог. Можете посмотреть шестой иннинг и все мне потом рассказать, Эдди? Очень вас прошу.

Несколько минут спустя я стоял на пороге его спальни.

— Не спите, Эдди?

— А?

— Не закрывайте глаза! Смотрите внимательно!

но, от начала и до конца!

Во время седьмого иннинга начался дождь, и матч приостановили. Я вновь сидел перед телевизором и слушал, как Эдди во сне зовет свою Соню. Когда я переключился на матч «Янкиз», меня ждало глубокое потрясение. Аяла поменял Логана, и «Рейз» понеслись вперед. Скоро счет уже был равный, а хоум-ран Эвана Лонгории принес «Рейз» победу. Теперь мы просто обязаны были победить — чтобы остаться в живых.

Я снова переключился на «Ред Сокс». Пэпелбон выбил Джонса, потом — Рейнольдса. На базу вышел Дэвис. Пэпелбон замер, считывая секретные сигналы своего кэтчера. Его глаза яростно сверкали под козырьком бейсболки. Это был конец девятого иннинга.

От победы нас отделял всего один шаг. В ожидании броска бита Дэвиса выписывала нервные дуги в воздухе. Весь стадион затаил дыхание.

Если Пэпилбон не выбьет Дэвиса, понял я, мы окончательно утвердим свое право на худший сентябрь в истории бейсбола. Это восстановит мировой порядок, поможет возместить ущерб, нанесенный неслыханными победами минувшего десятилетия. Но поражение — все равно поражение. Меня охватит горе, от этого никуда

не деться. Но если мы победим, мне станет еще хуже. Моральный коллапс, который непременно последует за победой, не позволит мне насладиться победой. И отец опять не вернется. Выходит, если мы проиграем, я в проигрыше, а если победим — опять-таки в проигрыше. Всю жизнь я связывал себя строгими фанатскими суевериями — и ради чего? Носил бейсболку, ел курицу, пропускал шестой иннинг, записывал все игры… ради чего? Ради права на страдание? Так жить нельзя. Так не годится. В жизни человека должна быть надежда, пусть самая крохотная. Нужна какая-то цель, какое-то стремление, не обреченное заведомо на крах. У меня ничего не осталось: ни Сантакроче, ни Плотцев, ни родителей, ни Конни. Мои пациенты упорно отказывались чистить зубы нитью, а некоторые — даже лечить кариесы. У меня осталась только… воля, больше ничего. Желание не уподобиться Мерсеру и отцу. Желание победить в себе ли́са.

Настал момент решающего броска. Пэпелбон начал выполнять «виндап». Я выключил телевизор и вышел из дома Эдди.

Эпилог

В следующем году я отправился на Сеир и провел двадцать один день в небольшом поселке на юге Израиля, стараясь открыть душу тому, что претило мне всю жизнь. Я прочел Кантаветиклы от корки до корки, узнал историю побега моей семьи из Польши и один раз даже готовил пищу для остальных возрожденных. Я спал на узкой койке. Побывал на Мертвом море. У меня взяли образец ДНК с внутренней поверхности щеки.

На рассвете и на закате я наблюдал за бедуинами: верхом на верблюдах они уходили в пустыню. Закутанные в несколько слоев темной одежды, движущиеся неумолимо и с патологическим безмолвием, они казались мне самыми одинокими людьми на планете.

Я никогда не был одинок и никогда больше не буду. В домиках с белеными стенами проходили занятия, а по вечерам все собирались за одним столом, ужинали и вели беседы. Остальные возвращенные отнюдь не производили впечатления фанатиков или сумасшедших, наоборот, это были люди с прогрессивными политическими

взглядами, в меру ухоженные и, как ни странно, по большей части молодые. Они дельно и увлеченно обсуждали свою новообретенную историю, теологические трудности, связанные с сомнением, угрозу полного вымирания. Многие могли посвятить таким разговорам всю ночь. К концу третьей недели такой образ жизни меня достал — совсем как обход европейских церквей с Конни. Я заскучал по эспрессо и кондиционерам. Мне захотелось домой.

Но почему-то через год я вернулся, и еще через год — тоже.

Наверное, мне было необходимо хоть иногда чувствовать себя уязвимым. Мне надоедали факты, голые факты, научные факты. Я как бы говорил миру: смотрите, я примкнул к какой-то сомнительной секте. Делаю какие-то немыслимые, несусветные глупости. Смотрите, я все-таки рискнул оказаться в дураках!

Туризм в Израиле очень развит. Можно взять гида, который съездит с тобой в знаменитый заповедник Эйн-Геди, в Кумран, где были обнаружены свитки Мертвого моря, и в Масаду, где восставшие зилоты несколько лет сдерживали осаду римских легионеров. А можно поехать на экскурсию вместе с Грантом Артуром на его

«Мазде CX-7» и побывать в местах, о которых никто никогда не слышал. Проезжая мимо перепутьев и ничем не примечательных точек пустыни, он поведает вам историю своего народа, которую вы можете выслушать с какой угодно долей скептицизма. Прямо за этим забором проходили великие сражения, скажет он. А вот у этой электрической подстанции случилось настоящее чудо. Есть люди, которые верят каждому его слову. Плевать они хотели на ваши научные факты. Смиритесь с этим.

Грант Артур так и не извинился передо мной за то, что перевернул мою жизнь вверх дном. «Ты бы не приехал, если бы тебе были нужны только извинения, — сказал он, когда мы встретились. — Ты здесь. Ты счастлив. За что я должен извиняться?» Я по-прежнему не считал, что должен все забыть и простить, но он постарался убедить меня, что таить обиду нет смысла — как нет смысла в вопросе «Почему я?» «Помни, я не сам вышел с тобой на связь. Ты первым мне написал». Если бы не мое письмо, утверждал он, дальше сайта моей клиники дело бы не пошло. «Весть слышат только те, для чьих ушей она предназначена, — говорил он. — Я не присвоил твою личность, Пол. Наоборот, я ее вернул». И еще:

«Если ты сомневаешься в моих словах, ты уже на верном пути». Одевался он всегда одинаково: штаны карго защитного цвета и бежевый жилет с кучей накладных карманов. Аккуратная бородка, безупречные белые зубы. «Большинство людей проводят всю свою жизнь в метаниях между надеждой и страхом, — говорил он. — Надеждой попасть в рай и страхом полного небытия. А теперь подумай, как это здорово — сомневаться. Видишь, сколько проблем решает сомнение — как для человека, так и для Бога?»

Интернет-присутствие ульмов продолжало расти. Я так суетился из-за своих незаконно присвоенных личных данных, что даже не замечал масштабов происходящего. Например, вышла книга «Частичная история обездоленных», автор Томас Стовер, заслуженный профессор Окленд-ского университета. Главы этой книги были посвящены евреям, маори, индейцам и другим, менее известным народам — акунси, чагосцах с острова Диего-Гарсия и, разумеется, ульмам. На странице обсуждения в Википедии появились доводы и статьи всевозможных историков, наконец-то направившие дискуссию в нужное русло. Она стала логичной и дельной, когда редакторы прекратили обсуждать истребление амалики-

тян и изральскую агрессию и заговорили о том, имеют ли люди право придумывать себе некое историческое наследие, выпускать о нем книги и утверждать, что их выдумка — не выдумка вовсе, а установленный факт. Именно это противоречие обеспечило статье долгую жизнь. Теперь это более-менее стабильная страница, большинство ее поборников и антагонистов взаимоуничтожились в результате коллапса абсолютов — как весьма часто бывает в Интернете. Но все же кто-то иногда дополняет и исправляет статью, призывая остальных вести себя прилично и прежде всего — действовать беспристрастно.

Начинается статья так: «Ульмизм — преобладающая религия ульмов, основоположником которой считается Грант Артур (1960–2022)».

Плотцы, наверное, до сих пор считают, что те твиты и сообщения оставлял я. Не знаю; после поездки в Бруклин к Мирав Мендельсон я ничего не слышал о дяде Стюарте. Признаться, я по нему скучаю. Он значил для меня куда больше, чем я когда-либо значил для него. Таких людей в жизни человека бывает немного. Том Билайл, Боб Сантакроче и Стюарт Плотц — каждый из них мог стать для меня отцом и образцом для подражания, сложись все немного иначе.

Конни иногда пишет мне электронные письма. Они с поэтом поженились и родили сына. Университет выпустил сборник ее стихов, который я перечитывал раз сто, тщетно пытаясь найти там хоть намек на свою персону, хоть маленькое упоминание. Утешаюсь я тем, что она и раньше не писала автобиографичных стихов. Сейчас она — школьный учитель в Кентукки. «У нас в Лексингтоне все прекрасно, — пишет она. — Как ты, как Бетси?»

Бетси каждый год с успехом вывозит меня в Непал с благотворительной миссией. Наш самолет приземляется в Катманду, и большую часть времени мы проводим в близлежащем Боднатхе, где лечим зубы бедным и голодным, которые в лучшем случае чистят зубы веточкой фикуса. Вы не представляете, сколько там обделенных людей, сколько голов, обритых наголо во имя Бога. Целыми днями они только и делают, что крутят молитвенные барабаны да месят сливочное масло из молока яков. Куда ни сунься, всюду на тебя смотрит всевидящий Будда, сидящий на золоченой верхушке ступы — счастливый свидетель страданий своего народа. Я говорю это миссис Конвой.

— Во-первых, Будда — не Бог, — отвечает она. —

Буддой может стать всякий. И потом, разве вы не видите, что эти глаза — нарисованы?

— Нарисованы?

— Силы небесные! Молодой человек, как вас легко одурачить!

После работы я хожу по горячим пыльным улицам Катманду, усыпанным нищими калеками и мусором, фотографирую на телефон козлиные головы с обугленными рогами и ухмылками. Они выставлены на продажу и красуются на столах уличных торговцев, словно головы казненных преступников. Я иду мимо семей, ютящихся на порогах домов, мимо альпинистов и туристов, мимо рикш и паршивых собак. Все постройки кажутся мне убогими и обреченными на скорую гибель, окна либо зияют чернотой, либо заколочены досками. Всюду рекламные щиты и вывески.

В 2014 году, в последний день нашего пребывания здесь, я отправился на очередную прогулку по городу и купил нечто необыкновенное, чего не покупал никогда в жизни. Я имею в виду не какой-нибудь экзотический сувенир из рога редкого животного, обитающего только на родине Будды, нет. Эта вещь прибыла сюда прямиком с Мейн-стрит, США, была произведена в Китае и продавалась по всему миру. Что-то вро-

де этого я уже покупал, и не раз, но именно эта вещичка оказалась в моих руках впервые. В тот миг, когда это произошло, когда я понял, что могу купить ее и надеть, я осознал свою внутреннюю свободу, одуряюще экзистенциональную свободу: если я способен на столь радикальный поступок, значит, меня больше не связывают оковы суеверий и фанатичной верности, этой извращенной врожденной преданности. Меня пробила дрожь. Вышеупомянутая вещь, выгоревшая на солнце бейсболка «Чикаго кабс», лежала за заляпанной витриной магазинчика, торгующего альпинистским снаряжением. Над козырьком красовалась алая буква «С» — символ бездарности и плохой игры. Уже сто пять лет «Кабс» не одерживали победу в Мировой серии. Это не только самая длинная полоса неудач в истории бейсбола, это самая длинная засуха в истории любого американского профессионального спорта. Подумать только! Можно снова молить Бога о хорошем сезоне, напряженно наблюдать за игрой, вновь испытывать опустошающее горе, которое может вызвать лишь крушение многолетней, мучительной надежды на торжество справедливости. Господи! Мир заиграл новыми красками! Можно снова о чем-то мечтать! Я вошел в лавку, а когда

вышел, на голове у меня сидела бейсболка «Чикаго кабс». Сидела она не очень хорошо, придется долго обминать ее под себя. Я пропустил грузовик «Тойота» с мешками риса и шагнул в толпу.

— Дядя, дядя!

Рядом со мной откуда ни возьмись появился мальчишка в грязных джинсах и футболке FILA. Я давно привык к этим беспризорникам, они часто обступают меня и клянчат мелочь.

— Хочешь бить?

— Что?

Он держал в руках какую-то деревянную планку и улыбался. Я посмотрел на него повнимательней и вдруг присел на корточки, схватив его за руки. Это был маленький темнокожий непалец с пухлыми щеками и тонкой цыплячьей шеей. Но в глаза бросалась его улыбка. Что называется — улыбка от Бога. Большие белые зубы, крепкие розовые десны.

— Кто лечит тебе зубы?

— Ты.

— Я?

— Ты зубной врач.

— Так это моих рук дело? Скажи «а-а-а». Открой широко-широко. Теперь сплюнь.

Он сплюнул на дорогу, и остальные дети за-

смеялись.

— Хорошая работа, — сказал я.

— Теперь бей! ОК?

До меня дошло, что планка у него в руке — это импровизированная крикетная бита. Я встал.

— Я не умею.

— Ничего! Я показать.

Он вручил мне биту. Ребятня разбежалась по местам. У меня за спиной маленький беспризорник выстроил три башни из помятых пивных банок. Калитки, или как там это называется. Никогда не разбирался в крикете.

Расталкивая зевак и расчищая питч, мальчишка побежал на свое место. Я был в бейсболке «Чикаго кабс»; от меня ждали чудес.

— Что я должен делать? — крикнул я мальчишке.

— Как в бейсболе. Просто бей.

— Просто бить?

— Бей, бей!

— Хорошо.

Я занял свое место.

— На старт, внимание, марш! — крикнул он.

И выполнил странный, отточенный и изящный «виндап». Его рука яростно вертелась, когда он рванул вперед. Мяч полетел стремительно

и низко над землей. «А, чем черт не шутит!» — подумал я. И взмахнул битой, не соображая, что делаю и зачем, без всякой надежды на успех, одним глазом следя за мячом, а вторым — сверля небо.